

Победоносцев К. П.
ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛИ ДУМОЮ ГРЯДУЩЕЕ

Долгие годы и даже десятилетия отечественный АГИТПРОП, на содержании и под контролем которого находились все отрасли гуманитарной науки, вбивал в голову каждого советского человека мысль, будто история нашего государства началась лишь с «семнадцатого года», а тому предшествовала долгая мрачная предыстория, изредка озаряемая стихийными восстаниями да бунтами, всегда обреченными на неудачу в силу отсутствия в стране коммунистической партии, вооруженной всепобеждающим оружием — марксизмом.

Что ж, Россия всегда была как-то уж слишком привержена ко всякому плюрализму, чтобы посчитать и эту концепцию, настоящую на стопроцентном историческом нигилизме, чем-то для себя непривычным, во всяком случае, к ее приятию нас добросовестно подготовил не очень-то дисциплинированный в своих мыслях XIX век, не раз отважно замахивавшийся на отечественную историю. Разве «варяжская теория» или деление Руси на *дику* допетровскую и *цивилизующуюся* петровскую и послепетровскую не отзываются той же «методологией»? Правда, в XIX веке существовали еще неудобные славянофилы, которые своими добросовестными научными исследованиями активно, хотя и не очень-то успешно противостояли нарождающемуся агрессивному АГИТПРОПУ.

В XX веке АГИТПРОП, заключив союз с современной цивилизацией, объявил амнистии невежеству и одержал блистательную победу над многовековой европейской культурой. У нас в России — стране крайностей — довели эту победу после «семнадцатого года» до полного абсурда. Так, например, чтобы получить научное звание, теперь прежде всего следовало продемонстрировать личное невежество, иначе тебе грозило отлучение от марксистско-ленинской методологии, хотя что это такое, никто никогда толком не звал. На страже ее стояла Академия наук, не менее бдительная, чем, скажем, ВЧК и ее последующие преемники.

Хомяков, Киреевские, Самарин, Аксаковы, Страхов?.. Тут следовало дать исчерпывающий и лаконичный ответ: «Монархисты, ретрограды, реакционеры, крепостники, в общем, контрреволюционеры». Любой шаг в сторону расценивался как побег от марксистско-ленинской методологии с неотвратимыми суровыми последствиями. Леонтьев, Розанов, Меньшиков, Бердяев?.. Тут следовало развести руками и на заданный вопрос ответить вопросом: «А кто это также?»

Чтобы стать ученым, нужно было как великий грех и непростительное легкомыслие преодолеть в себе соблазн перед знанием, публично засвидетельствовать свое личное невежество как принцип, и научная карьера была тебе обеспечена. Немудрено, что в науке стали доминировать не интересы самой науки, а противостоящие ей интересы научного мира, с его необузданным тщеславием и неприкрытым верноподданничеством. Научный мир уж больно вульгарно истолковал материализм, променяв свободу на благосклонность верховной власти.

Согласно той же марксистско-ленинской методологии, крупных государственных деятелей в царской России и быть-то не могло. Столыпин — «столыпинские галстуки» да «столыпинские вагоны» — отпетый контрреволюционер. Победоносцев — ретроград, пытавшийся «подморозить Россию» — контрреволюционер и оголтелый церковник. Большая эрудиция по данному вопросу считалась политически предосудительной. И на страже невежества долгие десятилетия стояли наши профессора и академики, всеобщее историческое незнание сохраняло им их псевдонаучный авторитет и отнюдь не только в

двадцатые и тридцатые годы, но вплоть до самой перестройки.

Гласность поколебала авторитет их «научных» трудов, но никак не поколебала их высоких званий и привилегий. И все-таки плотину прорвало, пусть порой здесь и доминировал коммерческий интерес над просветительским. Мало-помалу издали и «Окаянные дни» Бунина, и «Несвоевременные мысли» Горького, и труды многих ранее запрещенных русских философов, реабилитировали и даже подняли на щит самого Столыпина...

Думается, крупных государственных деятелей земля рождает не чаще, чем крупных писателей или крупных философов, поэтому, наверное, пора отдать должное и другому крупному государственному деятелю России конца XIX — начала XX столетия — Константину Петровичу Победоносцеву.

«Скончавшийся 10 марта сего года (1907 года. — *А. Л.*) член Государственного совета и бывший оберпрокурор св. синода Константин Петрович Победоносцев представляет собою в нашей столь небогатой выдающимися личностями жизни явление необычайного порядка. К его имени в течение слишком четверти века приковывалось внимание современников, оно не сходило со столбцов нашей печати, одни его ненавидели и проклинали, другие словословили, перед ним преклонялись и его благословляли: одни в нем видели ангела-спасителя России, другие — ее злого гения. Безразлично к нему никто не относился. Он был определенным историческим знаменем, которое рвали бури и непогоды, вокруг которого кипели страсти и борьба».

Так откликнулся на смерть Победоносцева «Исторический вестник», и трудно не согласиться с автором этой характеристики Б. Глинским. Действительно, одни перед Победоносцевым преклонялись, другие его проклинали, но все современники считали его крупнейшим государственным деятелем последних двух десятилетий прошлого века и начала нынешнего, о нем писала все, кто был или становился небезразличен к тогдашней политической и общественной жизни России. Он был для своего времени политическим паролем. Так, например, Лев Толстой не мог простить Константину Леонтьеву его близости к Победоносцеву. Проходили годы, но имя Победоносцева не предавалось забвению.

10 октября 1911 года, то есть спустя четыре с лишним года после смерти Победоносцева, набрасывая план поэмы «Возмездие», Блок сделал такую запись: «Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова. Рядом „злится“ Щедрин. Достоевский — обскурант.

Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бесшумно садится на трон, как сова».

Этот образ потом найдет свое поэтическое развитие во вступлении ко второй части поэмы:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна...

Эти блоковские строки чем-то напоминают пушкинского «Медного всадника». Хотя у Блока неприятие своего героя полное, однако это ему не помешало воссоздать подлинный масштаб последней грозной исторической личности России: так и видятся могучие бронзовые крыла загадочного колдуна, прикрывшего ими Россию...

Между прочим, весьма любопытна и такая косвенная характеристика Победоносцева, данная ему современником, укравшимся в журнале «Московские ведомости» под

псевдонимом «Поселянин», и то даже не характеристика, а скорее, образ: «В его громадном кабинете, в нижнем этаже на Литейном, с письменным столом колоссального размера и другими столами, сплошь покрытыми бесчисленными книгами и брошюрами, становилось страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой работы.

Он все читал, за всем следил, обо всем знал».

Нет, это обиталище не чиновника, не ученого и не философа. Это обиталище ученого государственного колдуна, всемогущего и бессильного одновременно.

Блок родился в 1880 году, в том самом, когда Победоносцев стал обер-прокурором св. Синода, а в следующем году злодейски убьют Александра II, престол займет его сын, в прошлом воспитанник Победоносцева, с которым он когда-то совершил путешествие по России. Теперь на плечи Победоносцева ляжет двойная тяжесть: с одной стороны — спекание молодого монарха, а с другой — тяжесть высокого государственного поста, возложенная на него убиенным монархом. История только пишется чернилами, а делается-то она кровью: не один Божий помазанник закончил свою жизнь насильственной смертью, но на Александра II было совершено несколько покушений и при полном попустительстве общественности. Вот и теперь, пройдет всего лишь две недели после убийства царя-освободителя, как из Ясной Поляны придет, переправленное через Страхова, письмо от известнейшего писателя, графа Льва Толстого: «Милостивый государь Константин Петрович!

Я знаю Вас за христианина и, не помяная всего того, что я знаю о Вас, мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к Вам с важной и трудной просьбой передать государю письмо, написанное мною по поводу страшных событий последнего времени...»

Толстой оросил Победоносцева передать Александру III письмо, в котором умолял молодого монарха не карать смертной казнью цареубийц. По долгу службы обер-прокурор св. Синода прежде ознакомился с содержанием адресованного государю послания. Как ни корил Лев Николаевич террористов, как ни зывал адресата последовать Христову милосердию, но не могли не вызвать резкого протеста его слова о том, что убили Александра II «не личные враги его, но враги существующего порядка вещей; убили во имя какого-то высшего блага всего человечества». По мнению Толстого получалось, что вина убийц состоит только в том, что они неправильно понимали «благо всего человечества», а пойми они это самое «благо» правильно, то и кровавое злодеяние подлежало бы нравственной амнистии.

Толстой, оставляя за собой монопольное право на истинное толкование учения Христа, по сути дела, отвергал и существующую российскую государственность, и православную церковь, когда называл убийц царя «врагами существующего порядка вещей», будто бы боровшихся «за высшее благо всего человечества». В страстном желании обрести веру он был обречен никогда ее не обрести, ибо искал аудиенции у самого Бога, приуготовливая себя к ней личным опрощением, забыв, что путь к Богу лежит через соборность, приобщиться к которой невозможно, минуя врата общего храма.

Победоносцев не стал прибегать ни к каким бюрократическим хитростям, он отклонил прошение Толстого и прямо написал ему: «Прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя церковная другая, и что наш Христос — не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере не мог исполнить Ваше поручение».

Позже Победоносцев в статье «Церковь» будет писать: «Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; — мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие

церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную».

Однако письмо Толстого все-таки достигло своего адресата: Страхов передал его через профессора истории К. Н. Бестужева-Рюмина великому князю Сергею Александровичу, а тот вручил его Александру III. По словам Софьи Андреевны Толстой, государь будто бы велел передать Льву Николаевичу такие слова: «Если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца не имеет права простить».

Нынче государства даже с разными политическими системами договариваются о совместной борьбе с терроризмом, а тогда законная власть и даже сам монарх должны были оправдываться перед обществом, если они вознамеривались строго покарать цареубийц. У нас совсем недавно даже в научных изданиях писалось, что царь или какой-нибудь государственный сановник не убит террористами, а казнен и тем самым оправдывались и убийцы, и убийства. И Победоносцев, естественно, должен был сразу же попасть в лидеры реакционеров и мракобесов, так как никогда не заигрывал с общественным мнением. Действительно, Победоносцев придерживался консервативных взглядов, однако это вовсе не означало, как представлялось, будто бы он был противником просвещения и науки. Так, к концу царствования Александра II и началу государственной деятельности Победоносцева (1880) в России насчитывалось 273 церковноприходских школы с 13 035 учащимися, а к концу его деятельности (1905) таких школ в стране уже насчитывалось 43 696 с 1 782 883 учащимися. Таким образом, благодаря усилиям и стараниям Победоносцева за четверть века миллионы крестьянских детей получили начальное образование, что в будущем открывало перспективу и для радикальной аграрной политики Столыпина, которая предполагала грамотное самостоятельное хозяйствование на земле и в довольно-таки сложной системе кооперации.

Это вам нынче кажется, будто смутное время наступило лишь в последние годы, однако если внимательно и непредвзято приглядеться к последним полутора столетиям, то всю эту эпоху иначе и не назовешь, как смутной.

Эпоха Великих реформ середины прошлого века — ломка всего уклада российской жизни, тотальный нигилизм, террор, убийство Александра II, воинствующий атеизм, рост пролетариата, капитализация общественных отношений, русско-японская война, революция 1905 года, убийство Столыпина, первая мировая война, две революции 1917 года, гражданская война, зверское убийство Николая II и его семьи, гонение на духовенство и интеллигенцию, голод, разрушение культуры, уничтожение крестьянства как класса, снова голод, террор, вторая мировая война... Подумать только, в течение полувека Европа дважды вела крестовые походы против самой себя и положила на смертный алтарь десятки миллионов своих единоверцев — на ней и по сей день висит проклятие. Россия злодейски убила своего монарха со всей его семьей, потом десятилетия корчилась в страшных мучениях, но так и не осознала своего великого греха. Молодая Америка со своим недавним плантаторским прошлым подтвердила свою приверженность к демократии и свободе двумя атомными факелами, которые потрясли мир, и не помышляет ни о каком покаянии. Кончина века... А не знаменует ли она кончину того, что вытеснило из человека Бога, любовь, совесть?

Сын профессора словесности Московского университета и внук священника Звенигородского уезда Константин Петрович Победоносцев родился в 1827 году, в 1846 году окончил училище правоведения, преподавал гражданское право, писал научные труды, стал членом консультации министерства юстиции, сенатором второго департамента, с 1861 года преподавал законоведение великим князьям, в том числе и будущему императору Александру III, однако царедворцем не стал, а за год до своей гибели император Александр II назначил его обер-прокурором св. Синода. Добросовестный ученый, добросовестный

чиновник, Победоносцев воспринял высокий государственный пост как крест, который христианину должно нести до конца.

Россия с каждым годом экономически крепла, увеличивалось народонаселение, победоносно закончилась Балканская война, но никто этого не замечал, вернее, не хотел замечать. «Все недовольны в наше время, — писал Победоносцев, — и от постоянного, хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? — против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, противу других людей, противу всех и всего, кроме себя самих» («Болезни нашего времени»).

И недовольны были не только бомбисты-террористы, недовольны были действительно «все». Толстой был недоволен и правительством, и порядками, и церковью, и даже самим собой, и возникала у него идея нравственного самоусовершенствования, однако, возведя ее в абсолют, он и не заметил, как впал в анархизм, пусть и христианского толка. Недоволен был и милейший Владимир Соловьев, он призвал русский народ к национальному самоотречению, а заодно и к отречению от православия, видя спасение в создании всеевропейского теократического государства (теперь нас тоже соблазняют общевропейским домом) под эгидою католического Рима. Идеи Толстого и Соловьева у русской интеллигенции поддержки не нашли, потому как идеи эти предполагали все-таки развитие религиозного сознания, недаром же Блок назовет Достоевского обскурантом. А за два десятилетия до этой вольности поэта Победоносцев констатировал: «Система „свободной церкви в свободном государстве“ основана, покуда, на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или подразумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной» («Церковь и государство»).

Итак, вера — «пройденный момент психического развития». А что взамен? Взамен тотальное неудовольствие всем и всеми, поиск соломинки, за которую можно было бы ухватиться. И вот Мережковский кличет на выручку «сильную личность», ни на минуту не задумываясь о последствиях. В тех же отношениях с исторической ответственностью и русские марксисты, намертво заразившиеся идеей мировой революции, бросившие от имени пролетариата абстрактный клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И вожденная революция!

А русскую буржуазию потянуло на конституцию, то есть ее все больше и больше стала соблазнять политическая власть. И она-таки добьется своего: свергнет царя, проведет, говоря современным уклончивым политическим языком, «бархатную революцию», но ее тут же сметет другая революция под пролетарским лозунгом и во главе с «сильной личностью», и такой оборот событий был закономерен, во всяком случае, Победоносцев еще в конце прошлого века напроорочил его.

«Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, — писал он, — а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве и быть управляема государством, это главная движущая идея социализма, а как эта мысль в ясном или неясном представлении угнездилась даже в самых крепких умах, то и самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам» («Церковь и государство»).

И еще очень важную мысль высказал Победоносцев в той же статье: «Личное верование не отделяет себя от верования церковного, так как существенная его потребность есть единение в вере, и этой потребности оно находит удовлетворение в Церкви».

Но о каком единении можно была говорить, когда шел бурный процесс классовой интернационализации, и следует помнить, что Российская империя развалилась не в период экономического кризиса или экономического упадка, а в период небывалого в истории экономического подъема. И сейчас, когда межнациональные кровавые конфликты увязывают напрямую с экономическим кризисом, люди, не будучи шаманами, просто безрезультатно

шаманят в единственной надежде на легендарный русский «авось»: «Будем хорошо работать — будем хорошо жить, а будем хорошо жить — исчезнут межнациональные конфликты». Не исчезнут. Не поможет тут штык, и доводы здравого разума не помогут. У нас сейчас возникает масса идей, но все они разъединяющие, ведь заклинание типа: «Вне Союза все мы пропадем» — ив только не идея, но даже не аргумент. За годы перестройки никто не выдвинул ни одной объединяющей идеи, более того, за какие-то полгода рассыпался, как карточный домик, весь социалистический лагерь, похоронив под своими обломками и Варшавский договор, и СЭВ. Но если мы оглянемся на сто лет назад, то обнаружим, что и тогда никаких объединяющих идей не существовало, все шло на разлом, потому-то в период гражданской войны, воспользовавшись случаем, так легко откололись от бывшей Российской империи Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. И если сегодня мы открыто и массированно проповедуем индивидуализм, материальную предприимчивость, конкуренцию, то каким же образом мы можем соблазнить народы жить в системе необозримого колхоза? К тому же сами колхозы мы постоянно ругаем и готовы их разогнать во имя очень призрачной индивидуальной предприимчивости. Уж коли мы надумали куда-то идти, то нужно выбрать какое-то определенное направление, невозможно же одновременно начинать движение в разные стороны.

Сто лет назад уже обозначились многие черты смутного времени, но почти никто не хотел этого замечать, и каждый с ненужным энтузиазмом тянул на себя одеяло, каждый претендовал на роль спасителя, а Россию нужно было в первую очередь спасать от ее многочисленных спасителей.

И там, в большом кабинете на Литейном, шла действительно большая и постоянная «мозговая работа»...

«Упорство догматического верования всегда было и, кажется, будет уделом бедного, ограниченного человечества, и люди широкой, глубокой мысли, широкого кругозора всегда будут в нем исключением. Одни верования уступают место другим — меняются догматы, меняются предметы фанатизма. В наше время умами владеет, в так называемой интеллигенции, вера в общие начала, в логическое построение жизни и общества по общим началам...

Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего века. Заблуждение состоит именно в том, что мы веруем в них догматически, безусловно, забывая о жизни со всеми ее условиями и требованиями, не различая ни времени, ни места, ни индивидуальных особенностей, ни особенностей истории...

Жизнь — не наука и не философия; она живет сама по себе, живым организмом. Ни наука, ни философия не господствуют над жизнью, как нечто внешнее: они черпают свое содержание из жизни, собирая, разлагая и обобщая явления жизни; но странно было бы думать, что они могут обнять и исчерпать жизнь со всем ее бесконечным разнообразием, дать ей содержание, создать для нее новую конструкцию. В применении к жизни всякое положение науки и философии имеет значение *вероятного* предположения, гипотезы, которую необходимо всякий раз поверить здравым смыслом и искусным разумом, по тем явлениям и фактам, к которым требуется приложить ее: иное применение общего начала было бы насилием и ложью в жизни. Одно то уже должно смутить нас, что в науке и философии очень мало бесспорных положений: почти все составляют предмет пререканий между школами и партиями, почти все колеблется новыми опытами, новыми учениями...»

Это из статьи Победоносцева «Болезни нашего времени», а создается впечатление, что это писано сегодня о болезнях *нашего* времени.

Нет, не Россию хотел подморозить Победоносцев, а те язвы на ее организме, которые обещали разрастись в страшную болезнь. Он никогда не был врагом истинной науки и подлинных научных поисков, но он был против фетишизации тех или других новоиспеченных теорий, под которые хотели подогнать вечно развивающуюся жизнь. В ту пору марксизм как раз становился модой, теперь стало модой обвинять его во всех смертных грехах. Но виноват-то вовсе не марксизм (и он дал что-то для познания общественной жизни

и общественных отношений), виноваты были те полуобразованные люди, которые хотели вбить на практике и вбивали все жизненное многообразие в прокрустово ложе марксистской теории. Ленин — Каутский, Сталин — Троцкий, Мао Цзэдун — Тито... И у каждого из них свой марксизм. А какой же из этих марксизмов истинный? Разумеется, никакой, потому что любой предполагал тотальное насилие над жизнью, над чувствами и мыслями человека.

Кажется, совсем недавно слово «социализм» в нашей стране было священным, прошло всего несколько лет, и теперь за уважительное отношение к этому слову производят в консерваторы, а что завтра будут делать с консерваторами, пока никто не знает. А ведь никакого обмена мыслями не произошло, просто АГИТПРОП произвел манипуляцию со словами «социализм» и «капитализм», и как говорил Победоносцев: «Одни верования уступают место другим, меняются догматы, меняются предметы фанатизма». Ну, хорошо тем, кто всю жизнь (политикам, ученым) кормился обслуживанием догматов, а каково тем, кто всю жизнь честно трудился и просто честно жил, веря ученым людям? Нет, слово «капитализм» пока у нас священным не стало, но зато таковым у нас стало слово «рынок». Сейчас даже самый отважный депутат не рискнет прямо заявить, что он против рынка, зная, что бдительный АГИТПРОП моментально сотрет его в порошок. Сейчас можно и даже доходно выражать недоверие правительству, в определенной ситуации можно выразить недоверие даже президенту, но рынок — это святыня, возведенная в ранг религиозной неприкосновенности. И как сейчас не хватает государственного деятеля, который мог бы прямо сказать: «Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и вследствие того мертвым. К предмету подходят и вопросы решают с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в них» («Народное просвещение»).

И тут Победоносцев имел в виду не простые досужие рассуждения, а те, что закладываются в основу законов и решений, касающихся жизни всего общества и влияющих на судьбу государства.

Мы сейчас живем в пору, когда свирепствует законодательная горячка. Законодатели постоянно сетуют: законы вроде бы принимаются нужные, но они почему-то не действуют. Впрочем, это и не удивительно, потому как в основу их, как правило, закладываются «общие положения в начала», а не явления «живой жизни».

Следует заметить, закон — это не постановление или приказ, которые всегда можно подправить или вовсе отменить. Закон должен учитывать не только реалии, «живой жизни», но и тенденции ее развития, ибо он рассчитан не на сиюминутный успех, а на долгосрочное созидательное действие, и то вовсе не закон, который можно без конца и в любое время корректировать хотя бы и на законодательном уровне. Закон по своей природе, конечно, должен исходить из современных реалий, однако он всегда должен преследовать и какие-то отдаленные цели государственного общественного устройства. И в периоды активного законотворчества одним из главнейших законов всегда следует считать закон о воспитании и просвещении, и исходить здесь нужно не из «остаточного принципа» как по части финансовых затрат, так и по части общественного внимания.

Нельзя говорить о личности или ее воспитании, если унифицировать, особенно в многонациональном государстве, народное образование и воспитание. Вот против такой унификации всю жизнь и боролся Победоносцев.

«Плохо дело, — говорил он, — когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания — упражнением с юных лет и примером, приобретая бессознательное искусство и вкус к работе... Понятие народное о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке *совесть* и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и

соблазнами мысли»

И в своих рассуждениях Победоносцев исходил не из «общих положений и начал», а из явлений «самой жизни», из ее насущных потребностей и задач на будущее. Потому-то его и считали реакционером, что он утверждал вечные ценности — Бог, Отечество, родители — и тем самым хотел укрепить человека, сделать его независимым от всех *земных кумиров*, от всех соблазнов чужого разума, возводимых *толпой* в ранг религиозных догм. «Но никогда еще, кажется, — писал Победоносцев в статье „Печать“, — отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время». Благодаря этой лжи и начали потом формировать с малолетства «строителей коммунизма» или «строителей капитализма», то есть различного рода «винтиков», лишенных нравственного самодержавия, которое возможно обрести лишь в устойчивом чувстве равенства и ответственности перед Богом. Стремление же к равенству кошельков или, напротив, стремление добиться их неравенства ведет к революциям (или контрреволюциям), стремление к политическому равенству ведет к всеобъемлющему обману и самообману, то есть к узаконению лжи, и лишь только бессомнительное чувство равенства перед Богом ведет к единению и дает возможность жить по правде и любви.

Как известно, Толстой враждебно относился к Победоносцеву и на то у него были свои причины, но вспомните его личные педагогические усилия, его отношение к прессе, которую он отождествлял с проституцией, его отношение к прогрессу, к современной ему семейной жизни и ко многим другим вопросам, и вы обнаружите, что анархизирующий великий писатель не так уж и развился в своих взглядах с грозным оберпрокурором св. Синода. Откровенно близки Победоносцеву были Достоевский и Леонтьев. Достоевского Толстой назвал нравственной опорой, а Блок назвал Достоевского обскурантом. Вспомним и другого Блока, с его проклятьем в адрес Белинского за хулу гоголевской «Переписки...», или Блока, который на исходе своей жизни отчаянно ругал и цивилизацию, и интеллигенцию, но не протянул руку через десятилетия ни Достоевскому, ни Победоносцеву...

Но сколько ни говори о реакционности Достоевского, Толстого, Леонтьева, Победоносцева, в толпу их все равно не собьешь, даже при общих взглядах на какие-то важные явления жизни они все равно оставались несовместимыми. Толпа, партия (та же толпа, но только организованная) комплектуется совсем из другого материала. Любая толпа живет чужими мнениями и чужими мыслями, но непременно собственными интересами, хотя и не всегда своекорыстными, толпа откликается не на зов, а на клич, поэтому она всегда агрессивна.

Самостоятельная мысль одного человека в своем развитии никогда не может во всем совпадать с самостоятельной мыслью другого человека, малейшее расхождение — и уже болезненный разрыв. Самостоятельно мыслящий человек не может иметь при себе и толпы, потому что толпа в какой-то момент способна принять мысль, но она просто не в состоянии поспевать за ее развитием, это толпу обижает, но толпа не только обидчива, она еще и мстительна. Толпе нужен лозунг, но не мысль, поэтому самостоятельно мыслящий человек всегда обречен на пожизненное одиночество, когда народ начинает жить не по нравственным заветам и обычаям, а по случайной прихоти, которая его вдруг чем-то соблазнила.

«Старые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом заветов предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее избавиться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух» («Духовная жизнь»).

Эти слова написаны были Победоносцевым задолго до революции 1905 года. Когда же настал ее срок, то стало ясно, что царствующий монарх (Николай II) во имя сохранения гражданского мира склоняется пожертвовать именно «старыми учреждениями». Победоносцев был неотъемлемой и непременной частью этих «учреждений», и он в 1905 году выходит в отставку с поста обер-прокурора св. Синода. Дальнейшие события

развивались так, что стали отторгаться и «старые предания», и «старые обычаи», и новая жизнь отторгла от себя самого верного и строгого апостола старой России — Константин Петрович Победоносцев умер в 1907 году. Духовно безнадзорной России и царствующему роду Романовых история отведет на агонию еще десять лет, агонию, опошленную «духовным» наставничеством антихристовующего Григория Распутина.

Так закончится первый этап эпохи великой смуты в России, не оставивший ей ничего, кроме надежды на возрождение в будущем.

У Блока, как великого поэта, не возникало в поэзии ни ложных образов, ни случайных слов. Поэму «Возмездие» он не закончит, но появятся у него статьи, в которых зазвучат горькие упреки в адрес отечественной интеллигенции, он станет отрицать прогресс и ополчится против «цивилизованного одичания», а затем вдруг примет революцию и в январе 1918 года напишет знаменитую поэму «Двенадцать».

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом...
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Некоторые современники после написания Блоком «Двенадцати» обвинили его в том, что он продался большевикам. Блок никогда и никому не продавался, он безоглядно отдавался своим прозрениям, прозрениям порой удивительным, и оказывался в таких случаях прав. «Двенадцать» нельзя понять, если не памятовать написанное в том же январе 1918 года стихотворение «Скифы», и этим двум произведениям можно было бы дать общее название — «Возмездие». Поэт всем своим существом ощущал, как рушится великая Россия, а с нею и великая христианская культура, и как ликует по этому поводу близорукая Европа, и с гордой болью бросал ей гневные пророческие слова:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами...

Сквозь кошмар и ужас холодной январской поры восемнадцатого года Блоку мнились ужасы планетарного масштаба:

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

И почти обреченный призыв:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Но отзвука нет, и возникает образ Христа с кровавым флагом, символизирующим искупительную жертву, впереди — Голгофа, на которую, вслед за державно шагающими матросами, предстоит взойти русскому народу во имя возрождения великой России и спасения Европы от «цивилизованного одичания».

Поначалу наш молодой АГИТПРОП, выросший на терроризме всесильного общественного мнения предреволюционной эпохи, попытался разом покончить со всем, что являлось русской культурой, и выпустил на поле боя оголтелый и беспощадный Пролеткульт. Атака с ходу не удалась. Тогда началось планомерное и методичное искажение целостной культуры. Легче всего было разделаться с Победоносцевым и Столыпиным, так как они являлись прежде всего крупными государственными деятелями царской России, читай, контрреволюционерами Им приклеили зловещие ярлыки, а их труды навеки изъяли из читаемого оборота. Поскольку марксизм-ленинизм был провозглашен как последняя инстанция истинности, то не составляло большого труда списать всю русскую философию от славянофилов и Леонтьева до Бердяева и Флоренского в мертвый архив, не имеющий никакой научной ценности. Не обошли вниманием и литературу. Гоголя разделили на две части: на больного (реакционное) и здорового (обличительное). Толстого тоже: на глупого (философия) и здорового (художественность). Блок спасся благодаря «Двенадцати», где неожиданно узрели гимн революции, — не убоились даже образа Христа в белом венчике. А позже, чтобы поднять цену советской поэзии, обойму советских поэтов начали открывать именем Блока. На весь XIX век выделили только четыре штатные единицы по ведомству литературной критики и философии и утвердили на эти должности тоже порядком обструганных Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Даже родоначальника советской литературы и социалистического реализма Горького и то подавали в несколько «обкусанном» виде.

АГИТПРОП приспособил всю русскую литературу к своим нуждам, причем на века, во всяком случае, так ему хотелось. Но живая культура пробивалась даже сквозь, казалось бы, непробиваемый идеологический асфальт, плодоносила и делала свое великое дело. Сейчас идет спешная перенастройка, благодаря чему и произошел прорыв культуры сквозь руины старой лжи и не затерялся еще под завалом новой.

Воспользуемся моментом.

Смутное время — это болезнь общественного сознания, которая имеет альтернативный исход: выздоровление или смерть. И предполагать здесь можно любой из них — все зависит от субъективного восприятия жизни, оптимистического или пессимистического, шансы угадать равны, шансы же предвидеть нулевые. Прошлого не оспоришь и не отменишь, грядущего не предотвратишь ни думою, ни молитвой. Но дума просветляет разум, молитва же успокаивает душу, и только добрый союз просветленного разума и успокоенной души превращает жизнь в созидательное творчество, то есть в то богоугодное дело, которое лишь и оправдывает присутствие человека в нерукотворном Храме Природы.

В заключение хотелось бы вспомнить и о другом великом гражданине России, гениальном ученом, изобретателе, педагоге, внесшем весомый вклад в развитие науки, экономики и промышленности страны, — Дмитрию Ивановиче Менделееве, писавшем в конце прошлого века следующее: «Всероссийская выставка 1895 г. назначена быть „смотром“ результатов прошлых 14 лет (время царствования Александра III. — *А. Л.*) и дает указание на то, чего достигнет Россия, когда все ее просвещение встанет в надлежащее

соответствие с задачами предстоящего широкого нашего промышленного развития, которое немислимо без мировой торговли и без прочной постановки всех отраслей народного образования... Счастливы уж тем, что дожил до Нижегородской ярмарки, и верю в то, что наши дети увидят всероссийскую выставку, которая будет иметь значение всемирной, где русский гений реально встанет не в уровень, а впереди своего века... Руководимые самодержавным единством и православною терпимостью, мы можем и должны выполнить многое из того бесконечного, что предстоит еще миру совершить, чтобы приблизиться к идеалу общего блага. Это нам доступнее, чем кому-нибудь, в чем убеждает и „Московский сборник“ К. П. Победоносцева, в котором высказалась одна сторона русского современного самосознания; другую же выставляет нижегородский „смотры“. На этих фундаментах видно, что надо и можно строить».

Гениальный аналитик Менделеев, умевший уловить взаимосвязь между различными явлениями там, где другие ничего не могли обнаружить и установить — в не только в фундаментальной науке — установил связь между «Московским сборником» Победоносцева и будущим экономическим расцветом России. Загадка? Да, загадка. Но куда продуктивнее разгадывать подобные загадки, чем до бесконечности пережевывать агитпроповскую жвачку.

Пунктуация и орфография в основном даются по источникам. Встречающиеся в тексте разночтения устранены редактором.

Анатолий Ланищиков

Статьи

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I

То, что основано на лжи, не может быть право. Учреждение, основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков и поколений.

Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции *идея*, что всякая власть исходит от *народа* и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром.

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый народ или группируются в разноразличные под одним государственным знаменем, наконец разрастается без конца государственная территория: непосредственное народоправление при таких условиях немислимо. Итак, народ должен переносить свое право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственной автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число доверенных лиц, — министров, коим предоставляется

изготовление и применение законов, раскладка и собирание податей, назначение подчиненных должностных лиц, распоряжение военною силой.

Механизм — в идее своей стройный; но, для того чтобы он действовал, необходимы некоторые существенные условия. Машинное производство имеет в основании своем расчет на непрерывно действующие и совершенно ровные, следовательно, безличные силы. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей *личности*; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Вот, при таких условиях действительно машина работала бы исправно и достигала бы цели. Закон действительно выражал бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, и каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в правлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма — он не удовлетворяет *ни одному* из вышепоказанных условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикою противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее — могущественное личное влияние или влияние сильной партии. Они располагают всеми силами и достатками нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счет народа, — и притом не боятся никакого порицания, если располагают большинством в парламенте, а большинство поддерживают — раздачей всякой благодетельности с обильной трапезы, которую государство отдало им в распоряжение. В действительности министры столь же безответственны, как и народные представители. Ошибки, злоупотребления, произвольные действия — ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы о серьезной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный — сравнительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть *учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей*. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластия в единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, которое живет под ним, — люди разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на форму правления и представили себе, что с переменою этой формы на форму народовластия или представительного правления — общество избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что *mutato nomine* все осталось в сущности по-прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую форму все прежние свои привычки и склонности. Как прежде, правит ими личная воля и интерес привилегированных лиц; только эта личная воля осуществляется уже не в лице монарха, а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронте этого здания красуется надпись: «Все для общественного блага». Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему я. По смыслу парламентской фикции,

представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей; а в действительности избиратели — в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат, в своей программе и в речах своих, ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. И все это — слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти куда нужно и потом сбросить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом — для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы, — одним в угоду, в угрозу другим: длинная, нескончаемая цепь однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание... Жалкое человечество! Поистине можно сказать: *mundus vult decipi — decipiatur*.

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и старается всячески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин их доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага; это — натуры идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы свои в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленников, но не пойдет искать популярности на шумном рынке. Такие люди, если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и чести противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистические натуры, желающие достигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен быть скромным, — ибо при скромности его не заметят, не станут говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую берет на себя, — он *вынуждается* лицемерить и лгать с людьми, которые противны ему, он поневоле должен сходиться, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, — должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите ее в романе: читателю противно станет; но тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому артисту в той же самой роли.

Выборы — дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует *комитет*, самочинное учреждение, коего главной силой служит — *нахальство*. Искатель представительства, если не имеет еще сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и не крепких разумом обывателей, и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе — руководителями общественного мнения. Всегда находится

достаточно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удочку, — и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявления привлекающее массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами. Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами — это своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманном искусством: в нем одни служат действующею силой — люди энергические, преследующие во что бы ни стало — материальную или тенденциозную цель; другие — наивные и легкомысленные статисты — составляют балласт. Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот, кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нанизывать фразы, производит всегда впечатление на массу, получает известность, награждается кандидатом для будущих выборов, или, при благоприятных условиях, сам выступает кандидатом, сталкивая того, за кого пришел вначале работать языком своим. Фраза — и не что иное, как фраза — господствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.

В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать по одиночке. Большинство, т. е. масса избирателей, дает свой голос стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много наслышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета. Ему остается — или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, — все-таки выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленный меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и потому бессильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суется вперед. Казалось бы, для кандидата существенно требуется — образование, опытность, добросовестность в работе: а в действительности все эти качества могут быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе, тут важнее всего — смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и даже с некоторой пошлостью, нередко действующей на массу. Скрамность, соединенная с тонкостью чувства и мысли, — для этого никуда не годится.

Так нарождается народный представитель, так приобретает его полномочие. Как он употребляет его, как им пользуется? Если натура у него энергическая, он захочет действовать и принимается образовывать партию; если он заурядной природы, то сам примыкает к той или другой партии. Для предводителя партии требуется прежде всего сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силе, и потому не предполагает непременно нравственные качества. При крайней ограниченности ума, при безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности побуждений, человек с сильной волей может стать предводителем партии и становится тогда руководящим, господствующим, главою кружка или собрания, хотя бы к нему принадлежали люди, далеко превосходящие его умственными и нравственными качествами. Вот какова, по свойству своему, бывает руководящая сила в парламенте. К ней присоединяется еще другая решительная сила — красноречие. Это — тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственного характера, ни высокого духовного развития. Можно быть глубоким мыслителем, поэтом, искусным полководцем, тонким юристом, опытным законодателем — и в то же время быть лишенным действенного слова; и наоборот: можно, при самых заурядных умственных способностях и знаниях, обладать особливим даром

красноречия. Соединение этого дара с полнотою духовных сил — есть редкое и исключительное явление в парламентской жизни. Самые блестящие импровизации, прославившие ораторов и соединенные с важными решениями, кажутся бледными и жалкими в чтении, подобно описанию сцен, разыгранных в прежнее время знаменитыми актерами и певцами. Опыт свидетельствует непрерываемо, что в больших собраниях решительное действие принадлежит не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего действительнее на массу — не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящиеся в существе дела, но громкие слова и фразы, искусно подобранные, усиленно натверженные и рассчитанные на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящиеся в массе. Масса легко увлекается пустым вдохновением декламации и, под влиянием порыва, часто бессознательного, способна приходить к внезапным решениям, о коих приходится сожалеть при хладнокровном обсуждении дела.

Итак, когда предводитель партии с сильною волей соединяет еще и дар красноречия, — он выступает в своей первой роли на открытую сцену перед целым светом. Если же у него нет этого дара, он стоит, подобно режиссеру, за кулисами и направляет оттуда весь ход парламентского представления, распределяя роли, выпуская ораторов, которые *говорят* за него, употребляя в дело по усмотрению — более тонкие, но нерешительные умы своей партии: — они за него *думают*.

Что такое парламентская партия? По теории, это союз людей одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для совокупного осуществления своих воззрений в законодательстве и в направлении государственной жизни. Но таковы бывают разве только мелкие кружки: большая, значительная в парламенте партия образуется лишь под влиянием личного честолюбия, группируясь около одного господствующего лица. Люди, по природе, делятся на две категории: одни — не терпят над собою никакой власти, и потому необходимо стремятся господствовать сами; другие, по характеру своему, страшась нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли: эти последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно «ищут вождя» и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе — и, нередко, к добыче. — Итак, все существенные действия парламентаризма отправляются вождями партий: они ставят решения, они ведут борьбу и празднуют победу. Публичные заседания суть не что иное, как представление для публики. Произносятся речи для того, чтобы поддержать фикцию парламентаризма: редкая речь вызывает, сама по себе, парламентское решение в важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к возвышению популярности, к составлению карьеры, — но в редких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть большинство, — это решается обыкновенно вне заседания.

Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ великой политической лжи, господствующей в наше время. По теории парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладевают властью. По теории, убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике — оно не зависит несколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По теории, народные представители имеют в виду единственно народное благо; на практике — они, под предлогом народного блага и на счет его, имеют в виду преимущественно личное благо свое и друзей своих. По теории — они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на практике — это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории — избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его и доверяет ему; на практике — избиратель дает голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором натвержено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории —

делами в парламенте управляют и двигают — опытный разум и бескорыстное чувство; на практике — главные движущие силы здесь — решительная воля, эгоизм и красноречие.

Вот каково в сущности это учреждение, выставляемое — целью и венцом государственного устройства. Больно и горько думать, что в земле Русской были и есть люди, мечтающие о водворении этой лжи у нас; что профессора наши еще проповедуют своим юным слушателям о представительном правлении, как об идеале государственного учреждения; что наши газеты и журналы твердят об нем в передовых статьях и фельетонах, под знаменем правового порядка; твердят — не давая себе труда взглянуться ближе, без предубеждения, в действие парламентской машины. Но уже и там, где она издавна действует, — ослабевает вера в нее; славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы, — но дети наши и внуки несомненно дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться...

II

Много зла наделали человечеству философы школы Ж. Ж. Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы, и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала общественного устройства, которые эта философия проповедовала.

На том же ложном основании стоит и господствующее ныне учение о совершенствах демократии и демократического правления. Эти совершенства предполагают — совершенную способность массы уразуметь тонкие черты политического учения, явственно и раздельно присущие сознанию его проповедников. Эта ясность сознания доступна лишь немногим умам, составляющим аристократию интеллигенции; а масса, как всегда и повсюду, состояла и состоит из толпы — «vulgus», и ее представления по необходимости будут «вульгарные».

Демократическая форма правления самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина — почему эта форма повсюду была преходящим явлением и, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам. И неудивительно. Государственная власть призвана действовать и распоряжаться; действия ее суть проявления единой воли, — без этого немыслимо никакое правительство. Но в каком смысле множество людей или собрание народное может проявлять единую волю? Демократическая фразеология не останавливается на решении этого вопроса, отвечая на него известными фразами и поговорками вроде таких, например: «воля народная», «общественное мнение», «верховное решение нации», «глас народа — глас Божий» и т. п. Все эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество людей, по великому множеству вопросов, может прийти к одинаковому заключению и постановить сообразно с ним одинаковое решение. Пожалуй, это и бывает возможно, но лишь по самым простым вопросам. Но когда с вопросом соединено хотя малейшее усложнение, решение его в многочисленном собрании возможно лишь при посредстве людей, способных обсудить его во всей сложности, и затем убедить массу к принятию решения. К числу самых сложных принадлежат, например, политические вопросы, требующие крайнего напряжения умственных сил у самых способных и опытных мужей государственных: в таких вопросах, очевидно, нет ни малейшей возможности рассчитывать на объединение мысли и воли в многолюдном народном собрании: — решения массы в таких вопросах могут быть только губительные для государства. Энтузиасты демократии уверяют себя, что народ может проявлять свою волю в делах государственных: это пустая теория, — на деле же мы видим, что народное собрание способно только принимать — по увлечению — мнение, выраженное одним человеком или некоторым числом людей; например, мнение известного предводителя партии, известного местного деятеля, или организованной ассоциации, или, наконец, — безразличное мнение того или другого влиятельного органа печати, таким образом,

процедура решения превращается в игру, совершающуюся на громадной арене множества голов и голосов; чем их более принимается в счет, тем более эта игра запутывается, тем более зависит от случайных и беспорядочных побуждений.

К избежанию и обходу всех этих затруднений изобретено средство — править посредством *представительства* — средство, организованное прежде всего, и оправдавшее себя успехом, в Англии. Отсюда, по установившейся моде, перешло оно и в другие страны Европы, но привилось с успехом, по прямому преданию и праву, лишь в Американских Соединенных Штатах. Однако и на родине своей, в Англии, представительные учреждения вступают в критическую эпоху своей истории. Самая сущность идеи этого представительства подверглась уже здесь изменению, извращающему первоначальное его значение. Дело в том, что с самого начала собрание избирателей, тесно ограниченное, присылало от себя в парламент известное число лиц, долженствовавших представлять мнение страны в собрании, но не связанных никакой определенной инструкцией от массы своих избирателей. Предполагалось, что избраны люди, разумеющие истинные нужды страны своей и способные дать верное направление государственной политике. Задача разрешалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможного предела трудность народного правления, ограничив малым числом способных людей — собрание, призванное к решению государственных вопросов. Люди эти являлись в качестве свободных представителей народа, а не того или другого мнения, той или другой партии, не связанные никакою инструкцией. Но, с течением времени, мало-помалу эта система изменилась, под влиянием того же рокового предрассудка о великом значении общественного мнения, просвещаемого, будто бы, периодической печатью и дающего массе народной способность иметь прямое участие в решении политических вопросов. Понятие о представительстве совершенно изменило свой вид, превратившись в понятие о *мандате*, или определенном поручении. В этом смысле каждый избранный в той или другой местности почитается уже представителем *мнения*, в той местности господствующего, или партии, под знаменем этого мнения одержавшей победу на выборах, — это уже не представитель от страны или народа, но *депутат*, связанный инструкцией от своей партии. Это изменение в самом существе идеи представительства послужило началом язвы, разъедающей всю систему представительного правления. Выборы, с раздроблением партий, приняли характер личной борьбы местных интересов и мнений, отрешенной от основной идеи о пользе государственной. При крайнем умножении числа членов собрания большинство их, помимо интереса борьбы и партии, заражается равнодушием к общественному делу и теряет привычку присутствовать во всех заседаниях и участвовать непосредственно в обсуждении всех дел. Таким образом, дело законодательства и общего направления политики, самое важное для государства, — превращается в игру, состоящую из условных формальностей, сделок и фикций. Система представительства сама себя оболживила на деле.

Эти плачевные результаты всего явственнее обнаруживаются там, где население государственной территории не имеет цельного состава, но заключает в себе разнородные национальности. Национализм в наше время можно назвать пробным камнем, на котором обнаруживается лживость и непрактичность парламентского правления. Примечательно, что начало национальности выступило вперед и стало движущей и раздражающей силой в ходе событий именно с того времени, как пришло в соприкосновение с новейшими формами демократии. Довольно трудно определить существо этой новой силы и тех целей, к каким она стремится; но несомненно, что в ней — источник великой и сложной борьбы, которая предстоит еще в истории человечества и неведомо к какому приведет исходу. Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление, со своею, нередко мнимую, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую жизнь и культуру, — но и с теми, которые никогда не жили особой

политической жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы, — и не одной только силой, но и уравниванием прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей — не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти — и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление — очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия, при ее разнородном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар — всероссийского парламента! Да не будет.

III

Величайшее зло конституционного порядка состоит в образовании министерства на парламентских или партийных началах. Каждая политическая партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную власть, и к ней пробирается. Глава государства уступает политической партии, составляющей большинство в парламенте; в таком случае министерство образуется из членов этой партии и, ради удержания власти, начинает борьбу с оппозицией, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его место. Но если глава государства склоняется не к большинству, а к меньшинству, и из него избирает свое министерство, в таком случае новое правительство распускает парламент и употребляет все усилия к тому, чтобы составить себе большинство при новых выборах и с помощью его вести борьбу с оппозицией. Сторонники министерской партии подают голос всегда за правительство; им приходится во всяком случае стоять за него — не ради поддержания власти, не из-за внутреннего согласия в мнениях, но потому, что это правительство само держит членов своей партии во власти и во всех сопряженных со властью преимуществах, выгодах и прибылях. Вообще — существенный мотив каждой партии — стоять за своих во что бы то ни стало, или из-за взаимного интереса, или просто в силу того стадного инстинкта, который побуждает людей разделяться на дружины и лезть в бой стена на стену. Очевидно, что согласие в мнениях имеет в этом случае очень слабое значение, а забота об общественном благе служит прикрытием вовсе чуждых ему побуждений и инстинктов. И это называется идеалом парламентского правления. Люди обманывают себя, думая, что оно служит обеспечением свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с той разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли; а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством; но как скоро при большинстве, составляемом под влиянием игры в партию, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля целого парламента: тем еще менее можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимает никакого участия в игре партий и даже уклоняется от нее. Напротив того, именно нездоровая часть населения мало-помалу вводится в эту игру и ею развращается; ибо главный мотив этой игры есть стремление к власти и к наживе. Политическая свобода становится фикцией, поддерживаемою на бумаге, параграфами и фразами конституции; начало монархической власти совсем пропадает; торжествует либеральная демократия, водворяя беспорядок и насилие в обществе, вместе с началами безверия и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство — там, где нет уже места ни свободе, ни равенству. Такое состояние ведет неотразимо к анархии, от которой общество спасается одной лишь диктатурой, т. е. восстановлением единой воли и единой власти в правлении.

Первый образец народного, представительного правления явила новейшей Европе Англия. С половины прошлого столетия французские философы стали прославлять английские учреждения и выставлять их примером для всеобщего подражания. Но в ту пору не столько политическая свобода привлекала французские умы, сколько привлекали начала

религиозной терпимости, или лучше сказать, начала безверия, бывшие тогда в моде в Англии и пущенные в обращение английскими философами того времени. Вслед за Францией, которая давала тон и нравам и литературе во всей западной интеллигенции, мода на английские учреждения распространилась по всему Европейскому материку. Между тем произошли два великих события, из коих одно утверждало эту веру, а другое — чуть было совсем не поколебало ее. Возникла республика Американских Соединенных Штатов, и ее учреждения, скопированные с английских (кроме королевской власти и аристократии), принялись на новой почве прочно и плодотворно. Это произвело восторг в умах, и прежде всего во Франции. С другой стороны — явилась Французская республика, и скоро явила миру все гнусности, беспорядки и насилия революционного правительства. Повсюду произошел взрыв негодования и отвращения против французских и, стало быть, вообще против демократических учреждений. Ненависть к революции отразилась даже на внутренней политике самого британского правительства. Чувство это начало ослабевать к 1815 году, под влиянием политических событий того времени — в умах проснулось желание, со свежей надеждой, соединить политическую свободу с гражданским порядком в формах, подходящих к английской конституции: вошла в моду опять политическая англomania. Затем последовал ряд попыток осуществить британский идеал, сначала во Франции, потом в Испании и Португалии, потом в Голландии и Бельгии, наконец, в последнее время, в Германии, в Италии и в Австрии. Слабый отголосок этого движения отразился и у нас в 1825 году, в безумной попытке аристократов-мечтателей, не знавших ни своего народа, ни своей истории.

Любопытно проследить историю новых демократических учреждений: долговечны ли оказались они, каждое на своей почве, в сравнении с монархическими учреждениями, коих продолжение история считает рядом столетий.

Во Франции, со времени введения политической свободы, правительство, во всей силе государственной своей власти, было *три раза* ниспровергнуто парижской уличной толпой: в 1792 г., в 1830 и в 1848 году. *Три раза* было ниспровергнуто армией, или военной силой: в 1797 году 4 сентября (18 Фруктидора), когда большинством членов директории, при содействии военной силы, были уничтожены выборы, состоявшиеся в 48 департаментах, и отправлены в ссылку 56 членов законодательных собраний. В другой раз, в 1797 году 9 ноября (18 Брюмера) правительство ниспровергнуто Бонапартом, и наконец в 1851 г., 2 декабря, другим Бонапартом, младшим. Три раза правительство было ниспровергнуто внешним нашествием неприятеля: в 1814, в 1815 и в 1870. В общем счете, с начала своих политических экспериментов по 1870 год, Франция имела 44 года свободы и 37 годов сурового диктаторства. При том еще стоит приметить странное явление: монархи старшей Бурбонской линии, оставляя много места действию политической свободы, никогда не опирались на чистом начале новейшей демократии; напротив того, оба Наполеона, провозгласив безусловно эти начала, управляли Францией деспотически.

В Испании народное правление провозглашено было в эпоху окончательного падения Наполеона. Чрезвычайное собрание кортесов утвердило в Кадиксе конституцию, провозгласив в первой статье оной, что верховенство власти принадлежит нации. Фердинанд VII, вступив в Испанию через Францию, отменил эту конституцию и стал править самовластно. Через 6 лет генерал Риго, во главе военного восстания, принудил короля восстановить конституцию. В 1823 году французская армия, под внушением Священного союза, вступила в Испанию и восстановила Фердинанда в самовластии. Вдова его, в качестве регентши, для охранения прав дочери своей Изабеллы против Дон-Карлоса, вновь приняла конституцию. Затем начинается для Испании последовательный ряд мятежей и восстаний, изредка прерываемых краткими промежутками относительного спокойствия. Достаточно указать, что с 1816 года до вступления на престол Альфонса было в Испании до 40 серьезных военных восстаний, с участием народной толпы. Говоря об Испании, нельзя не упомянуть о том чудовищном и поучительном зрелище, которое представляют многочисленные республики Южной Америки, республики испанского происхождения и

испанских нравов. Вся их история представляет непрестанную смену ожесточенной резни между народной толпой и войсками, — прерываемую правлением деспотов, напоминающих Коммода или Калигулу. Довольно привести в пример хотя Боливию, где из числа 14 президентов республики тринадцать кончили свое правление насильственной смертью или ссылкой.

Начало народного или представительного правления в Германии и в Австрии не ранее 1848 года. Правда, начиная с 1815 года, поднимается глухой ропот молодой интеллигенции на Германских владетельных князей за неисполнение обещаний, данных народу в эпоху великой войны за освобождение. За немногими, мелкими исключениями, в Германии не было представительных учреждений до 1847 года, когда Прусский король учредил у себя особенную форму конституционного правления; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартию и низложить конституционного короля, как поднялось и в Германии уличное движение, с участием войск. В Берлине, в Вене, во Франкфурте устроились национальные собрания, по французскому шаблону. Едва прошел год, как правительство разогнало их военной силой. Новейшие германские и австрийские конституции все исходят от монархической власти и еще ждут суда своего от истории.

НОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

то такое *свобода*, из-за которой так волнуются умы в наше время, столько совершается безумных дел, столько говорится безумных речей, и народ так бедствует? Свобода, в смысле демократическом, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать в правлении государством. Это стремление всех и каждого к участию в правлении не находит себе до сих пор верного исхода и твердых границ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древним поэтом про водяную болезнь: «*crescit indulgens sibi*». Расширяя свое основание, новейшая демократия ставит ближайшею себе целью всеобщую подачу голосов — вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоинством каждого гражданина становится *бесконечно малая* доля этого права. Что он с нею сделает, куда употребит ее? В результате несомненно оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила свою священную формулу *свободы*, нераздельно соединенной с *равенством*. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением *свободы* между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства, или сущее *неравенство*. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит: относительное значение может иметь только некоторое число, или группа голосов. Происходит явление, подобное тому, что бывает в собрании безыменных или акционерных обществ. Единицы сами по себе бессильны; но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, следовательно, господином правления и решителем воли. В чем же, спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится господином правления: в одном случае — счастливый и решительный генерал, а в другом — монарх или администратор — с умением, ловкостью, с ясным планом действия, с непреклонною волей. При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов, с своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с громкими речами о равенстве, но в сущности любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении *господства к* гражданам, составляющим народ. Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы; по демократической теории выходит,

что чем большее множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что *все* воспользуются этим правом в интересах общего блага для *всех*, и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили — от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей; что расширение это — в больших государствах — или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или само собою приводило к диктатуре. Во Франции всеобщая подача голосов отменена была в конце прошлого столетия с прекращением террора; а после того восстанавлиема была дважды для того, чтобы утвердить на ней — самовластие двух Наполеонов. В Германии введение общей подачи голосов имело несомненную целью — утвердить центральную власть знаменитого правителя, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики... Что будет после него, одному Богу известно.

Игра в собрание голосов под знаменем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех почти европейских государствах — и перед всеми, кажется, обнаружилась ложь ее; однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчастный народ несет тяготу; а газеты — глашатаи мнимого общественного мнения — заглушают вопль народный своим кликом: «велика Артемида Ефесская!» Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра не что иное, как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса, — сами по себе ничтожные единицы, — получают цену в руках ловких агентов. Ценность их реализуется разными способами, и прежде всего подкупом — в самых разнообразных видах — от мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, финансовом управлении и в администрации. Образуется мало-помалу целый контингент избирателей, привыкших жить продажей голосов своих или своей агентуры. Доходит даже до того, — как, например, во Франции, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, в громадном количестве вовсе уклоняются от выборов, чувствуя совершенную невозможность бороться с шайкою политических агентов. Наряду с подкупом пускаются в ход насилия и угрозы, организуется выборный террор, посредством коего шайка проводит насильно своего кандидата: — известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ход оружие, и на поле битвы остаются убитые и раненые.

Организация партий и подкуп — вот два могучих средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, имеющими голос в политической жизни. Средства эти не новые. Еще Фукидид описывает резкими чертами действие этих средств в древних греческих республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные примеры подкупа, составлявшего обычное орудие партий на выборах. Но в наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений. Это средство, которое можно приравнять к политическому передергиванию, состоит в искусстве быстрого и ловкого обобщения идей, составления фраз и формул, бросаемых в публику с крайнею самоуверенностью горячего убеждения, как последнее слово науки, как догмат политического учения, как характеристику событий, лиц и учреждений. Считалось некогда, что уметь анализировать факты и выводить из них общее начало — свойственно немногим просвещенным умам и высоким мыслителям: ныне оно считается общим достоянием, и общие фразы политического содержания, под именем убеждений, стали как бы ходячею монетою, которую фабрикуют газеты и политические ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы, под именем убеждений, распространилась в массе и стала заразительною, особливо между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этою наклонностью массы пользуются с успехом политические деятели, пробивающиеся к

власти: искусство делать обобщения служит для них самым подручным орудием. Всякое обобщение происходит путем *отвлечения*: из множества фактов — одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, подходящие, группируются, и из них выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т. е. правдивость и верность этой формулы, зависит от того, насколько имеют решительной важности те факты, из коих она извлечена, и насколько ничтожны те факты, кои притом устранены как неподходящие. Быстрота и легкость, с которою делаются в наше время общие выводы, — объясняется крайнею бесцеремонностью в этом процессе подбора подходящих фактов и их обобщения. Отсюда громадный успех политических ораторов и поразительное действие на массу общих фраз, в нее бросаемых. Толпа быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы, общими выводами и положениями, не помышляя о проверке их, которая для нее недоступна: так образуется единодушие в мнениях, единодушие мнимое, призрачное, но тем не менее дающее решительные результаты. Это называется — глас народа, с прибавкою — глас Божий. Печальное и жалкое заблуждение! Легкость увлечения общими местами — ведет повсюду к крайней деморализации общественной мысли, к ослаблению политического смысла целой нации. Нынешняя Франция представляет наглядный пример этого ослабления, — но тою же болезнью заражается уже и Англия...

БОЛЕЗНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

I

се недовольны в наше время, и от постоянного, хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? — против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, против других людей, против всех и всего, кроме себя самих.

Мы все бываем недовольны, когда обманываемся в ожиданиях: это недовольство разочарования, приносимое жизнью на поворотах, сглаживается обыкновенно на других поворотах той же жизнью. Это — временная, преходящая болезнь, не то, что нынешнее недовольство — болезнь повальная, эпидемическая, которой заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и чрезмерных, искусственно образовавшихся потребностей. Прежде было больше довольных и спокойных людей, потому что люди не столько ожидали от жизни, довольствовались малой, средней мерой, не спешили расширять судьбу свою и ее горизонты. Их сдерживало свое место, свое дело и сознание долга, соединенного с местом и делом. Глядя на других, широко живущих в свое удовольствие, маленькие люди думали: где нам? и на этой возможности успокаивались. Ныне эта невозможность стала возможностью, доступной воображению каждого. Всякий рядовой мечтает попасть в генералы фортуны, попасть не трудом, не службой, не исполнением долга и действительным отличием, — но попасть случаем и внезапной наживой. Всякий успех в жизни стал казаться делом случая и удачи, — и этой мыслью все возбуждены более или менее, точно азартной игрою и надеждой на выигрыш.

В экономической сфере преобладает система кредита. Кредит в наше время стал могущественным орудием для создания новых ценностей; — но это средство сделалось доступно каждому, и, при относительной легкости его употребления, далеко не все создаваемые ценности получают действительное значение и служат для производительных целей: большей частью создаются ценности мнимые, дутые, для удовлетворения случайных и временных интересов, с расчетом на внезапное обогащение. Вследствие того успех каждого предприятия не в той мере, как бывало прежде, зависит от личной деятельности, от способности, энергии и знания предпринимателя: в общественной и экономической среде, около каждого дела, образовалось великое множество невидимых течений, неуловимых

случайностей, которых нельзя предвидеть и обойти. Каждому деятелю приходится вступать в борьбу не с тем или другим определенным затруднением, но с целой сетью затруднений, которыми дело со всех сторон обставлено. Расчеты путаются, потому что данные, с которыми необходимо считаться, ускользают от расчета. Отсюда — состояние неуверенности, тревоги и истомы, от которого все более или менее страдают. Всякая деятельность парализуется таким душевным состоянием, в котором деятель чувствует, что не в силах справиться с обстоятельствами, что воля его и разум бессильны перед окружающими его препятствиями. Энергия ослабевает, человек дела становится фаталистом и привыкает рассчитывать в успехе не на силу распоряжения и предвидения, но на слепой случай, на удачу. Вот одна из причин того пессимизма, которым заражены столь многие в наше время, и отчасти причина другой, общей болезни — практического материализма, — потребности чувственных наслаждений. Чувственные инстинкты возбуждаются с особенной силой в жизни, основанной на неверном и случайном, в тревожной и лихорадочной деятельности.

Те же явления заметны и в других сферах общественной деятельности. Повсюду ее орудием становится тот же кредит, повсюду создаются с удивительной быстротою и легкостью мнимые, дутые ценности, которые иным, — при благоприятных случайностях, приносят фортуна, у других — рассыпаются в прах от столкновения с действительностью жизни. Примечательно, с какой легкостью ныне создаются репутации, проходится, или, лучше сказать, обходится воспитательная дисциплина школы, получаются важные общественные должности, сопряженные со властью, раздаются знатные награды. Невежественный журнальный писака вдруг становится известным литератором и публицистом; посредственный стряпчий получает значение пресловутого оратора; шарлатан науки является ученым профессором; недоучившийся, неопытный юноша становится прокурором, судьей, правителем, составителем законодательных проектов; былинка, вчера только поднявшаяся из земли, становится на место крепкого дерева... Все это — мнимые, дутые ценности, а они возникают у нас ежедневно во множестве на житейском рынке, и владельцы их носятся с ними точь-в-точь как биржевики с своими раздутыми акциями. Многие проживут с этими ценностями весь свой век, оставаясь в сущности пустыми, мелкими, бессильными, непроизводительными людьми. Но у многих эти ценности вскоре рассыпаются в прах, и владельцы оказываются несостоятельными. Между тем самолюбие успело раздуться до неестественных размеров, претензии и потребности разрослись не в меру, желания раздражены, — а в решительные минуты, когда надобно действовать, не оказывается силы, нет ни разума, ни характера, ни знания. Отсюда множество нравственных банкротств, которые происходят в своем роде от тех же причин, как и банкротства в сфере экономической. Трудно исчислить, сколько гибнет сил в наше время от неправильного, уродливого, случайного их распределения, от неправильного обращения всяческих капиталов на нашем рынке. В результате являются — люди молодые, но уже надломленные, искалеченные, разбитые жизнью. Иные не выносят тяготы своей и, подобно сосуду неравномерно нагретому, лопаются: в нетерпении, они оканчивают жизнь самоубийством, которое, по-видимому, недорого стоит человеку, когда он привык себя одного ставить центром своего бытия, мерить его материальной мерой и чувствовать, что мера эта ускользает от него, и расчеты его спутались. Другие бродят по свету, умножая собою число недовольных, раздраженных, возмущенных против жизни и общества: беда, если их накопится слишком много, и откроются им случаи выместить свою злобу и удовлетворить свою похоть...

II

Древние ставили, говорят, скелет или мертвую голову посреди роскошных пиров своих, для напоминания пирующим о смерти. Мы не имеем этого обычая: мы, веселясь и пируя, желаем далече от себя отбросить мысль о смерти. Тем не менее она сама, смерть, за

плечами у каждого, и грозный образ ее готов ежеминутно воспрянуть перед очами.

Каждый день приносит нам известия о самоубийствах, то тут, то там случившихся, необъяснимых, неразгаданных, грозящих превратиться в какое-то обыденное, привычное явление нашей общественной жизни... Страшно и подумать, — неужели мы уже привыкли к этому явлению? Когда у нас бывало что-либо подобное, когда ценилась так дешево душа человеческая, и когда бывало такое общественное равнодушие к судьбе живой души, по образу Божию созданной, кровью Христовой искупленной? Богатый и бедный, ученый и безграмотный, дряхлый и старец, и юноша, едва начинающий жить, и ребенок, едва стоящий на ногах своих, — все лишают себя жизни с непонятной, безумной легкостью — один просто, другой драпируя в последний час себя и свое самоубийство.

Отчего это? — Оттого, что жизнь наша стала до невероятности уродлива, безумна и лжива; оттого, что исчез всякий порядок, пропала всякая последовательность в нашем развитии; оттого, что расслабла посреди нас всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности. В общественной и в семейной жизни попортились и расстроились все простые отношения органические, на место их протеснились и стали *учреждения* или *отвлеченные начала*, большей частью ложные или лживо приложенные к жизни и действительности. Простые потребности духовной и телесной природы уступили место множеству искусственных потребностей, и простые ощущения заменились сложными, искусственными, обольщающими и раздражающими душу. Самолюбия, выраставшие прежде ровным ростом, в соответствии с обстановкой и условиями жизни, стали разом возникать, разом подниматься во всю безумную величину человеческого «я», не сдерживаемого никакой дисциплиной, разом вступать в безмерную претензию отдельного «я» на жизнь, на свободу, на счастье, на господство над судьбой и обстоятельствами. Умы — крепкие и слабые, высокие и низкие, большие и мелкие — все одинаково, утратив способность познавать невежество свое, способность учиться, т. е. *покоряться законам жизни*, — разом поднялись на мнимую высоту, с которой каждый большой и малый считает себя судьей жизни и вселенной.

Так накопилась в нашем обществе необъятная масса лжи, проникшей во все отношения, заразившей саму атмосферу, которою мы дышим, среду, в которой движемся и действуем, мысль, которою мы направляем свою волю, и слово, которым выражаем мысль свою. Посреди этой лжи, что может быть, кроме хилого возрастания, хилого существования и хилого действия? Самые представления о жизни и о целях ее становятся лживыми, отношения спутываются, и жизнь лишается той *равномерности*, которая необходима для спокойного развития и для нормальной деятельности. Мудрено ли, что многие не выдерживают такой жизни и теряют окончательно равновесие нравственных и умственных сил, необходимое для жизни? Хрустальный сосуд, равномерно нагреваемый, может выдержать высокую степень жара; нагретый неравномерно и внезапно — он лопается. Не то же ли происходит у нас и с теми несчастными самоубийцами, о коих мы ежедневно слышим? Одни погибают от внутренней лжи своих представлений о жизни, когда, при встрече с действительностью, представления эти и мечты рассыпаются в прах: несчастный человек, не зная кроме своего «я» никакой другой опоры в жизни, не имея вне своего «я» никакого нравственного начала для борьбы с жизнью, бежит от борьбы и разбивает себя. Другие — погибают оттого, что не в силах примирить свой, может быть возвышенный, идеал жизни и деятельности с ложью окружающей их среды, с ложью людей и учреждений; разуверясь в том, во что обманчиво веровали, и не имея в себе другой истинной веры, — они теряют равновесие и малодушно бегут вон из жизни... А сколько таких, коих погубило внезапное и неравномерное возвышение, погубила *власть*, к которой они легкомысленно стремились, которую взяли на себя — не по силам? Наше время — есть время мнимых, фиктивных, искусственных величин и ценностей, которыми люди взаимно прельщают друг друга; дошло до того, что действительному достоинству становится иногда трудно явить и оправдать себя, ибо на рынке людского тщеславия имеет ход только дутая блестящая монета. В такую эпоху люди легко берутся за все, воображая себя в силах со всем справиться, — и успевают при

некотором искусстве проникать, без больших усилий, на властное место. Властное звание соблазнительно для людского тщеславия; с ним соединяется представление о почете, о льготном положении, о праве раздавать честь и создавать из ничего иные власти. Но каково бы ни было людское представление, нравственное начало власти одно, непреложное: «Кто хочет быть первым, тот должен быть всем слугой». Если бы все об этом думали, — кто пожелал бы брать на себя невыносимое бремя? Однако, все готовы с охотой идти во власть, и это *бремя власти* — многих погубило и раздавило, ибо в наше время задача власти — усложнилась и запуталась чрезвычайно, особенно у нас. И так много есть людей, перед коими власть, легкомысленно взятая, легкомысленно возложенная, становится роковым сфинксом и ставит свою загадку. Кто не сумел разгадать ее, — тот погибает.

III

Для того чтоб уразуметь, необходимо подойти к предмету и стать на верную точку зрения: все зависит от этого, и все человеческие заблуждения происходят от того, что точка зрения неверная. Мы привыкли доверяться своему впечатлению, а впечатление получаем скользя по поверхности предмета, — что мы умеем делать с ловкостью и быстротой. Довольствуясь впечатлением, мы спешим обнаружить его перед всеми, по свойственному нам нетерпению; высказавшись, соединяем с ним свое самолюбие. Затем лень, совокупно с самолюбием, не допускает нас взглянуть ближе в сущность предмета и поверить свою точку зрения. Итак, по передаче впечатлений между восприимчивыми натурами, образуется, развивается и растет заблуждение, объемлющее целые массы и нередко принимаемое в смысле общественного мнения.

Это верно и в малом и в большом. Целые системы мировоззрения господствовали в течение веков, составляя неоспоримое убеждение, доколе не открывалось наконец, что они ложны, ибо исходят из неверной точки зрения. Такова была Птолемея астрономическая система. Люди в течение веков упорно смотрели на вселенную сбоку, искоса, потому что утвердили на земле свою центральную точку зрения, потому что земля казалась им так безусловно необъятна: иного центра не могли они себе и представить. Система была исполнена путаницы и противоречий, для соглашения коих изобретались наукой искусственные циклы, эпициклы и т. п. Века проходили так, пока явился Коперник и вынул фальшивый центр из этой системы. Все стало ясно, как скоро обнаружилось, что вселенная не обращается около земли, что земля совсем не имеет господственного значения, что она не что иное, как одна из множества планет и зависит от сил, бесконечно превышающих ее мощью и значением.

Птолемея система давно отжила свой век; но вот — как понять, что в наше время восстанавливается господство ее в ином круге идей и понятий? Разве не впадает в подобную же путаницу новейшая философия, опять от той же грубой ошибки, что *человека* принимает она за центр вселенной и заставляет всю жизнь обращаться около него, подобно тому, как в ту пору наука заставляла солнце обращаться около земли. Видно, ничто не ново под луной. Это *старье* выдается за новост, за последнее слово науки, в коей следуют, одно за другим, противоречия, отречения от прежних положений, новые категорически высказываемые положения, опровержения на них, с той же авторитетностью высказываемые, поразительные открытия, о коих вскоре открывается, что лучше и не поминать об них. Все это называется прогрессом, движением науки вперед. Но, по правде, разве это не те же самые циклы и эпициклы Птолемея системы? И когда явится новый Коперник, который снимет очарование и покажет въявь, что центр не в человеке, а вне его, и бесконечно выше и человека, и земли, и целой вселенной?

И разве не то же самое мы видим, например, в истории всех сект, начиная с гностиков или ариан, и кончая пашковцами, сютяевцами, толстовцами и нигилистами? Вся причина в том, что человек, следуя впечатлению, становится на ложную точку зрения; в своем я утверждает он эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него движется, — и он

ищет правды во всем и всюду, на все и всех негодует, все обличает, исключая себя, с теми же грехами и страстями... Какое странное, какое роковое заблуждение!

IV

Упорство догматического верования всегда было и, кажется, будет уделом бедного, ограниченного человечества, и люди широкой, глубокой мысли, широкого кругозора, всегда будут в нем исключением. Одни верования уступают место другим — меняются догматы, меняются предметы фанатизма. В наше время умами владеет, в так называемой интеллигенции, вера в общие начала, в логическое построение жизни и общества по общим началам. Вот новейшие фетиши, заменившие для нас старых идолов, но, в сущности, и мы, так же как прапрадеды наши, творим себе кумира и ему поклоняемся. Разве не кумиры для нас такие понятия и слова, как, например, *свобода, равенство, братство*, со всеми своими применениями и разветвлениями? Разве не кумиры для нас общие положения, добытые учеными и возведенные в догмат, например, происхождение видов, борьба за существование и т. п.?..

Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего века. Заблуждение состоит именно в том, что мы веруем в них догматически, безусловно, забывая о жизни со всеми ее условиями и требованиями, не различая ни времени, ни места, ни индивидуальных особенностей, ни особенностей истории.

Жизнь — не наука и не философия; она живет сама по себе, живым организмом. Ни наука, ни философия не господствуют над жизнью, как нечто внешнее: они черпают свое содержание из жизни, собирая, разлагая и обобщая явления жизни; но странно было бы думать, что они могут обнять и исчерпать жизнь со всем ее бесконечным разнообразием, дать ей содержание, создать для нее новую конструкцию. В применении к жизни всякое положение науки и философии имеет значение *вероятного* предположения, гипотезы, которую необходимо всякий раз поверить здравым смыслом и искусным разумом, по тем явлениям и фактам, к которым требуется приложить ее: иное применение общего начала было бы насилием и ложью в жизни. Одно то уже должно смутить нас, что в науке и философии очень мало бесспорных положений: почти все составляют предмет пререканий между школами и партиями, почти все колеблется новыми опытами, новыми учениями. Нет ни одной *прикладной к жизни* науки, которая представляла бы цельную одежду: всякая сшита из лоскутков, более или менее искусно, с изменением покроя по моде, — а иногда куски эти висят в клочках, разодранные школьной полемикой различных учений. Между тем представители каждой школы в науке веруют в положения свои догматически и требуют безусловного применения их к жизни. Стоит привести в пример хоть политическую экономию: экономисты составили себе репутацию величайших педантов и догматиков потому, что хотят непременно вторгнуться в жизнь, в законодательство, в промышленность непререкаемой властью, со своими общими законами производства и распределения сил и капиталов; но при этом все более или менее забывают о живых силах и явлениях, которые в каждом данном случае составляют элемент, *противодействующий* закону, возмущающий его операцию. Они вывели формулу из великого множества фактов и явлений, но не могли исчерпать всего бесконечного их разнообразия, всего ряда комбинаций, которые в каждом данном случае представляются. И эти формулы были великим благодеянием для науки, которая, благодаря им, уяснилась и двинулась вперед, но ни одна из них не составляет неподвижного, безусловного закона для жизни: каждая служит только указанием для исследования, каждая выражает только известное движение, направление силы, которая в данном случае непременно возмущается или уравнивается другими силами, действующими в противоположных направлениях. Исчислить математически действие этих сил невозможно, их можно распознать только верным чутьем практического смысла, и потому общие заключения и выводы политической экономии, хотя и сделанные из бесспорных фактов, имеют только предположительное, гипотетическое значение, а не

значение решительного, безусловного закона. Так и будет разуметь их всегда истинный ученый, не зараженный педантизмом книжной науки. Но таковы далеко не все ученые. Что же сказать о массе, о тех поверхностных читателях, законодателях, юристах, администраторах, которые большей частью *слышали звон, да не знают, где он*, которые почерпают изредка все свое знание из нескольких страниц руководства, из современной журнальной статьи, и любят, без дальних исследований, находить в минуту для каждой задачи готовое решение в статье указателя за номером и печатью? Для них каждое общее положение служит непререкаемым «авторитетом науки», дешевым средством для готового решения важнейших вопросов жизни и удобным оружием, которым отражаются все аргументы здравого смысла, опровергаются зараз все факты истории и практики. Благодаря этим-то общим положениям и началам, ныне так легко стало самому пустому и поверхностному уму, самому бездельному и равнодушному пролазу, с помощью фразы, прослыть за глубокого философа, политика, администратора и одержать дешевую победу над здравым смыслом и опытом. Такой ученый может вспрыгнуть разом на «высоту науки и современной мысли». На этой высоте кто в силах ему противиться?

Масса *не может* принять общего положения в истинном, условном его значении: разумению массы доступно всякое правило, всякое явление, только в живом, конкретном образе и представлении. Великая ошибка нашего века состоит в том, что мы, воспринимая сами с чужого голоса фальшивую веру в общие отвлеченные положения, обращаемся с ними к народу. Это — новая игра в общие понятия, пущенные в ход идеалистами народного просвещения в наше время, игра — слишком опасная потому, что она ведет к развращению народного сознания. В эту игру играет, к сожалению, слишком часто, с народом — наша школа; но прежде всего в нее начали играть народные правительства, и многие уже дорого за нее поплатились, — поплатились *правдою нравственного отношения* к народу. Одна ложь производит другую; когда в народе образуется ложное представление, ложное чаяние, ложное верование; правительству, которое само заражено этой ложью, трудно вырвать ее из народного понятия; ему приходится считаться с нею, играть с нею вновь и поддерживать свою силу в народе искусственно, новым сплетением лжи в учреждениях, в речах, в действиях, — сплетением, неизбежно порожденным первой ложью.

Это можно видеть всего явственнее на примере Франции. В прошлом столетии фантазия идеалистов-философов издала новое евангелие для человечества, — евангелие, которое все составилось из идеализации и отвлеченных обобщений. Школа Руссо показала человечеству в розовом свете натурального человека и провозгласила всеобщее довольство и счастье на земле по природе; она раскрыла перед всеми вновь разгаданные, будто бы, тайны общественной и государственной жизни, и вывела из нее мнимый закон контракта между народом и правительством. Появилась знаменитая *схема* народного счастья, издан рецепт мира, согласия и довольства для народов и правительств. Этот рецепт построен был на чудовищном обобщении, совершенно отрешенном от жизни, и на самой дикой, самой надутой фантазии; тем не менее, эта ложь, которая, казалось, должна была рассыпаться при малейшем прикосновении с действительностью, заразила умы страстным желанием применить ее к действительности и создать, на основании рецепта, новое общество, новое правительство. Еще шаг — и из теории Руссо вырождается знаменитая формула: *свобода, равенство, братство*. Эти понятия заключают в себе вечную истину нравственного, идеального закона, *в нераздельной связи с вечной идеей долга и жертвы*, на которой держится, как живое тело на костях, весь организм нравственного миросозерцания. Но когда эту формулу захотели обратить в обязательный закон для общественного быта, когда из нее захотели сделать *формальное право*, связующее народ между собой и с правительством во внешних отношениях, когда ее возвели в какую-то новую религию для народов и правителей, — она оказалась роковой ложью, и идеальный закон любви, мира и терпимости, сведенный на почву внешней законности, явился законом насилия, раздора и фанатизма. Общие положения эти брошены были в массу народную не как евангельская проповедь любви, не как воззвание к долгу, во имя нравственного идеала, но как слово завета между

правительством и народом, как объявление новой эры естественного блаженства, как торжественное обетование счастья. *Иначе не мог народ ни принять, ни понять это слово.* Масса не в состоянии философствовать; и свободу, и равенство, и братство она приняла *как право свое*, как состояние, ей присвоенное. Как ей, после того, помириться со всем, что составляет бедствие жалкого бытия человеческого — с идеей бедности, низкого состояния, лишения, нужды, самоограничения, повиновения? Терпеть невозможно, масса ропщет, негодует, протестует, волнуется, ниспровергает учреждения и правительства, не сдержавшие слов, не осуществившие ожиданий, возбужденных фантастическим представлением, созидает новые учреждения и вновь разрушает их, бросается к новым властителям, от которых слышала то же льстивое слово, и — низвергает их, когда и они не в состоянии удовлетворить ее. И править этой массой стало уже невозможно прямым отношением власти, без льстивых слов, без льстивых учреждений; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкий и ужасный вид хаоса в общественном учреждении: с шумом мечутся во все стороны волны страстей, успокаиваясь на минуту, под волшебные звуки слов: свобода, равенство, публичность, верховенство народное... и кто умеет искусно и вовремя играть этими словами, тот становится народным властителем...

V

В древнем Риме расселась однажды земля: открылась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь город. Как ни трудились, как ни старались поправить беду, — ничто не удавалось. Тогда обратились к оракулу; оракул ответил, что пропасть закроется, когда Рим принесет ей в жертву первую свою драгоценность. Известно, что за тем последовало. Курций, первый гражданин Рима, доблестный из доблестных, бросился в пропасть, и она закрылась.

И у нас, в новом мире, открывается страшная бездонная пропасть, — пропасть пауперизма, отделяющая бедного от богатого непроходимой бездной. Чего мы не ввергаем в нее для того, чтобы ее наполнить! целыми возами деньги и всяческие капиталы, массу проповедей и назидательных книг, потоки энтузиазма, сотни и тысячи придуманных нами общественных учреждений — и все пропадает в ней, и бездна зияет перед нами по-прежнему. Нет ли и у нас оракула, который возвестил бы нам верное средство? Слово этого оракула давно сказано и всем нам знакомо: «заповедь новую даю вам — да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы друг друга любите». Если б умели мы углубиться в это слово и взойти на высоту его, если б решились мы бросить в бездну то, что всего для нас драгоценнее — наши теории, наши предрассудки, наши привычки, связанные с исключительностью житейского положения, в котором каждый утвердил себя, — мы принесли бы себя самих в жертву бездне, — и она навсегда бы закрылась.

VI

Самое правое чувство в душе человеческой остается истинным чувством лишь дотол, пока держится в *свободе* и охраняется *простотою*: что просто, только то право. Но камень преткновения для всякого простого чувства — это отражение в самосознании человека — это рефлексия. Чувство приобретает особенную силу, когда укрепляется в душе сознанием, объединяется с идеей; но тут же оно подвергается опасности пережить себя в идее, поколебаться в простоте своей. Случается, что чувство, опираясь на идею и обобщаясь в ней, разрешается в формулу сознания — и в ней выдыхается. Форма, как и буква, может убить дух животворный. Форма обманывает, потому что под формой незаметно развивается лицемерие, самообольщение человеческого я. Что светлее, что драгоценнее, что плодотворнее простого чувства любви в душе человеческой! Но с той минуты, как оно соединилось с идеей, — ему предстоит опасность от той же рефлексии. И оно может создать для себя форму, разбиться на виды, пути, категории, порядки, учения. Так приходит,

наконец, такая минута, что не чувство простое и цельное наполняет душу и оживляет ее, — а бедное я человеческое начинает воображать, что оно владеет чувством, или идеей чувства, служит его *носителем* и деятелем. Здесь конец простоте, здесь начинается разложение чувства и легко может перейти в лицемерие. Умножится, может быть, количество дел любви, установятся в них порядки, но простоты чувства уже нет, — благоухание его пропало.

Приходят в голову эти мысли, когда смотришь на деятельность наших организованных благотворительных учреждений и обществ, с их уставами, собраниями, почетными членами, почетными наградами и проч. Все учреждение по идее посвящено любви и благотворительности, но при виде происходящих в нем явлений, нередко спрашиваешь: где же обретается тут место простому чувству любви сострадательной и деятельной? Видишь собрание, на коем произносятся речи, видишь мужские и дамские комитеты, куда съезжаются со скукой и равнодушием лица, вовсе незнакомые с делом, обсуждать какие-то правила и параграфы, видишь бумаги, составленные секретарем, коему выпрашиваются за то награды и пособия; слышишь напыщенные рассуждения самозванных педагогов о школьных системах и методах преподавания; видишь — о, верх общественного лицемерия! — благотворительные базары, на коих иная продавщица-дама, ничего от себя не жертвующая, носит на себе костюм, стоящий иной раз не менее того, что выручается от целой продажи, — и это называется делом любви христианской!..

Это любовь, в виде общественного учреждения. Но вот еще — *правда*, правда, на которой мир стоит и держится, правда, без которой жизнь становится каким-то маревом дикого воображения, — чем она является в новейшей, искусственной, выглаженной и выстроганной по европейской моде — форме судебного учреждения. Мы видим машину для *искусственного делания* правды, но самой правды не видно в торжественной суеде машинного производства, не слышно в шуме колес громадного механизма. Вы ищете нравственной силы — увы! едва ли не вся сила, какая есть в действии машины, уходит на *трение* колес, совершающих непрерывное движение, — едва ли не все нравственные усилия деятелей уходят на *смазку* этих колес и проводников к ним. Заседают судьи, в величавом сознании своего жреческого достоинства, и, подобно древним авгурам, слушают, сколько вместит внимание; ораторствуют адвокаты, проводя величавые слова и громкие фразы по узеньким коридорам и трубочкам хитросплетенного мышления и заранее взвешивая на звонкую монету каждый из длинных своих периодов; тянутся длинные, томительные часы словесной пытки, а между тем главная жертва этой пытки, злосчастная *правда*, должна переходить в обетованный рай по тонкому волоску Магометова моста: горе тому, кто положится при этом переходе на свою собственную силу. Прав только тот, кто, изучив прежде в совершенстве искусство акробата, сумеет не оступиться и не упасть на дороге...

VII

Вся жизнь человеческая — искание счастья. Неутолимая жажда счастья вселяет ся в человека с той минуты, как он начинает себя чувствовать, и не истощается, не умирает, до последнего издыхания. Надежда на счастье не имеет конца, не знает предела и меры: она безгранична, как вселенная, и нет ей конечной цели, потому что начало ее и конец — в бесконечном. Это бесконечное стремление к счастью одна монгольская сказка олицетворяет в виде матери, потерявшей любимую дочь, единственное дитя свое. Грубая фантазия степного жителя представляет эту мать в виде старой женщины с одним глазом на самой макушке. С воплем ходит она по свету, отыскивая потерянное дитя свое, и подходит по временам то к тому, то к другому предмету — туда, где ей чудится, не дитя ли свое она встретила. Она хватает руками свою находку, уносит ее и потом высоко поднимает над головою, чтобы удостовериться, точно ли нашла свое сокровище. Но лишь только вглядывается в нее единственным глазом, как видит, что ошиблась, и с отчаянием бросает на землю и разбивает находку свою, и опять идет по свету на поиск. Счастье, которого ищет

человек, определяет судьбу его, отзывается в ней *несчастьем*. Несчастье человека, — сказано у Карлейля, — происходит от его величия: оттого он несчастен, что в нем самом — бесконечное, и это бесконечное — человек, при всем своем искусстве, при всем старании, не в силах совершенно заключить и закопать в конечном.

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно необъятно. Но отчего же вместе с сознанием этой необъятной цели в душе человеческой так живо сознание возможности счастья? Отчего человек, и отрицаясь от настоящего, и отворачиваясь с отчаянием от будущего, обращается к прошедшему и находит эту возможность там? У редкого человека нет в прошедшем такой поры, про которую говорит дума его: «а счастье было так возможно, так близко!»

Счастье отлетело от человека с той минуты, как он захотел *овладеть* бесконечным, сделать его своим, познать его. «Будете знать добро и зло, будете как боги». Этого знания не получил он, но в нем произошло *раздвоение*, и с тех пор одна половина его ищет Другую для того, чтобы восстановить единство и целостность сознания и жизни.

Если есть где что-либо подходящее к званию счастья, так есть разве у иных, немногих, в той поре простого бытия и простого сознания, когда душа ощущает жизнь в себе и покоится в чувстве жизни, не стремясь знать, но отражая в себе бесконечное, как капля чистой воды на ветке отражает в себе солнечный луч. Если есть у кого такая пора, дай только Боже, чтоб она длилась дольше, чтоб сам человек по своей воле не стремился из судьбы своей в новые пределы. Дверь такого счастья *не внутрь отворяется*: нажимая ее *изнутри*, ее не удержишь на месте. Она *отворяется изнутри*, и кто хочет, чтоб она держалась, *не должен трогать ее*.

Прошедшее свое мы осудили, осудили за то, что не распознаем в нем тех *принципов*, которые составляют для нас мерило истины и благополучия. По кодексу этих принципов, из коих главный есть *равенство*, — хотим мы переделать жизнь, отвести в другую сторону старые ключи ее, которыми питались прежние поколения, расположить ее вновь по сочиненному нами плану — и составляем и пересоставляем этот план по правилам науки, причем нередко обличаем в себе глубокое невежество в той самой науке, по которой планы составляются. Не беда! — говорим мы смело: — жизнь исправит ошибки нашего плана, и противоречим себе сами, ссылаясь на жизнь, которой знать не хотели, когда принимались за план свой. Жизнь на каждом шагу обличает нас следами неправды, вместо той правды, которую мы обещали внести в нее; явлениями эгоизма, корыстолюбия, насилия, — вместо любви и мира; язвами бедности и оскудения, вместо богатства и умножения силы; жалобами и воплями недовольства — вместо того довольства, которое мы пророчили. Не беда! — повторяем мы громче и громче, стараясь заглушить все вопросы, сомнения и возражения — лишь бы *принципы* нашего века были сохранены и поддержаны. Что нужды, если страдает современное поколение; что за беда, если вместо крепких людей являются отовсюду дрянные людишки; пусть будет сегодня плохо: завтра, послезавтра будет лучше. Новые поколения процветут на развалинах старого, — и наши принципы оправдают себя блистательно в новом мире, в потомстве, в будущем... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и деятельность, осуществляются же когда-нибудь после... Увы! разве осуществляются они в таком смысле, как случилось со Свифтом: в молодости он *устроил дом сумасшедших*, и под старость нашел себе приют *в этом самом доме*.

VIII

Как редко общественные отношения наши бывают просты и непосредственны! Как редко приходится, встречая людей, вести и продолжать беседу с ними простым и естественным обменом мысли! Когда живешь в так называемом обществе, приходится ежеминутно вступать в отношения с людьми, с которыми у тебя нет ничего общего, кроме человечества. Некогда останавливаться, некогда высматривать и выжидать молча, в спокойном состоянии: если бы я захотел поступить так, другой, кто ко мне подошел, кого

познакомили со мной, не допустил бы до этого. Надобно в ту же минуту завязывать сношение, и приличие требует, чтобы оно казалось естественным. Надобно говорить, и разговор вступает немедленно на дряблую почву легкой пошлости, на обмен фраз о предметах (как в свидетельстве сумасшедшего) «до обыкновенной жизни касающихся». Люди подходят друг к другу со стороны «пошлости», которой довольно у каждого, — и нередко случается, что при всех дальнейших встречах случайная, их беседа не сходит с этой почвы, на которую оба сразу ступили. Но бывает и еще хуже: люди с первого шага начинают кривляться и ломаться друг перед другом. Это случается всего чаще при *неравных* встречах, т. е. когда один представляя себе в другом нечто особенное или знаменитое, со своей точки зрения, желает поставить себя вровень с ним на социальной почве, не ударить лицом в грязь, выказаться. С другой стороны, кто же не воображает в себе самом какой-нибудь особенности или знаменитости? Так начинается дуэль двух маленьких, иногда очень маленьких я, и у каждого все помышления направлены к тому, чтобы выказать себя, не уступить другому, возбудить о себе в другом, по возможности, блестящее представление. Блестеть предполагается обыкновенно умом, — а кто не признает в себе ума, или остроумия, или житейской опытности, заменяющей, а иногда и превосходящей ум? Какая обширная практика, какое нескончаемое поприще для пошлости мелкого *самолюбия*!

К ней присоединяется еще пошлость *любезности*. Всякая добродетель общественной жизни имеет оборотную сторону пошлости, и эта сторона выказывается там, где добродетель принимает вид общественного приличия, общественного обычая, размениваясь на мелкую монету известного чекана. Сколько выпущено у нас в обращение такой разменной монеты, и как уже вся она перетерлась, какая стала слепая, переходя ежеминутно из рук в руки — и через какие руки! Лучшие слова потеряли свое первоначальное значение, перестав быть правым выражением мысли; самые глубокие истины опошлились, являясь в рубище ходячего слова; драгоценнейшие чувства износились и истрепались на людях, выставляясь напоказ встречному и поперечному.

Надо быть умным, надо быть любезным — вот два главные мотива, возбуждающие нашу деятельность в беседной встрече. И мы привыкли явную пошлость первого мотива оправдывать видимою уважительностью последнего. Совесть шепчет: сколько говорил ты вздору! как ты рисовался! сколько притворного напускал на себя! как играл словами! — У нас готово возражение: я старался быть *любезным*; надобно было оживить речь в собрании, пособить хозяину или хозяйке устроить, чтобы не скучно было.

Однако, совесть права, и пошлость напрасно стала бы прикрывать и оправдывать себя любезностью. Из-за одной любезности, — без побуждений мелкого самолюбия, — не стал бы человек, уважающий себя и слово свое, в течение целых часов играть в пошлую игру фразами, настраивать себя, по мере надобности, на тон любви и негодования, ходить на ходулях, раскрашивать придуманные рассказы и сочиненные ощущения и давать волю насмешке и остроумному злословию там, где открывались виды на слабости и грешки ближнего.

IX

Девятнадцатый век справедливо гордится тем, что он век преобразований. Но преобразовательное движение, во многих отношениях благотворное, составляет в других отношениях и язву нашего времени. Ускоренное обращение анализирующей и преобразующей мысли в наших жилах дожило, кажется, до лихорадочного состояния, от которого едва ли не пора уже нам лечиться успокоением и диетой; а покуда продолжают еще пароксизмы возбужденной мысли, трудно поверить, чтобы деятельность ее была здоровая и плодотворная. Жизнь пошла так быстро, что многие с ужасом спрашивают: куда мы несемся и где мы успокоимся? Если мы летим вверх, то уже скоро захватит у нас дыхание; если вниз — то не падаем ли мы в бездну?

С идеей преобразования происходит то же, что со всякой, новой, в существе глубокою

и истинною, идеей, когда она *пошла в ход*. В начале она является достоянием немногих, глубоких умов, горящих огнем мысли, проживших и прочувствовавших глубоко то, что проповедуют и к осуществлению чего стремятся. Потом, когда, распространяясь дальше и дальше, идея становится достоянием массы и переходит в то состояние, в котором слово принимается на веру, лишь только произнесено, идея переходит на рынок и на этом рынке опошливается, мельчает. В минуту сильного возбуждения великие поборники движения поднимают *знамя*, и когда они несут его, знамя это служит подлинно символом великого дела, скликающим на служение делу; но когда знамя это переходит на людской рынок и мальчишки начинают с ним прогуливаться в пору и не в пору, составляя игру с бессмысленными криками, тогда знамя теряет свой смысл, и люди серьезные, люди дела начинают сторониться оттуда, где это знамя показывается.

Есть эпохи, когда преобразование является назревшим плодом общественного развития, выражением потребности, всеми ощущаемой, развязкою узлов, веками сплетенных в общественных отношениях; преобразователь является пророком, изрекающим слово общественной совести, и осуществляет мысль, которую все в себе носят.

Слова его и дела его властвуют над всеми, потому что свидетельствуют об истине, и все, кто от истины, отзываются на это слово. Но когда дело его совершилось, — является иногда вслед его полчище лживых пророков. Все хотят быть пророками, от мала до велика, у всех на устах новое слово, не выношенное в душе, непрогоревшее в жизни, дешевое и потому гнилое, схваченное на людском рынке и потому опошленное. Всякий, кто не делал никакого дела и кому лень делать дело, к которому приставлен, сочиняет проект нового закона, или строит себе маленькую кафедру, с которой проповедует преобразование, требуя, чтобы дело, которого он не делал и потому не знает, было поставлено в новой форме и на новом основании. Таковы *малые*: что же сказать о *великих*, страдающих наравне с малыми преобразовательной горячкой?

Общая и господствующая болезнь у всех так называемых государственных людей — честолюбие или желание прославиться. Жизнь течет в наше время с непомерной быстротою, государственные деятели часто меняются, и потому каждый, покуда у места, горит нетерпением прославиться поскорее, пока еще есть время и пока в руках кормило. Скучно поднимать нить на том месте, на котором покинул ее предшественник, скучно заниматься мелкой работой организации и улучшения текущих дел и существующих учреждений. И всякому хочется переделать все свое дело заново, поставить его на новом основании, очистить себе ровное поле, *tabula rasa*, и на этом поле творить, ибо всякий предполагает в себе творческую силу. Из чего творить, какие есть под рукой материалы, — в этом редко кто дает себе явственный отчет с практическим разумением дела. Нравится именно высший прием творчества — *творить из ничего*, и возбужденное воображение подсказывает на все возражения известные ответы: «учреждение само поддержит себя, учреждение создаст людей, люди явятся», и т. п. Замечательно, что этот прием тем соблазнительнее, тем сильнее увлекает мысль государственного деятеля, чем менее он приговорен знанием и опытом к своему званию. Этот прием соблазнителен еще и тем, что, прикрывая действительное знание, он дает широкое поле действию политического *шарлатанства* и помогает прославиться самым дешевым способом. Где требуется деятельное управление делом, знание дела, направление и усовершенствование существующего, там опытного и знающего не трудно распознать от невежды и пустозвона; но где начинают с осуждения и отрицания существующего и где требуется организовать дело вновь, по расхваленному чертежу, на прославленных началах — там чертеж и начало на первом плане, там можно без прямого знания дела аргументировать общими фразами, внешним совершенством конструкции, указанием на образцы существующие где-то за морем и за горами; на этом поле не легко бывает отличить умелого от незнающего и шарлатана от дельного человека; на этом поле всякий *великий* человек может, ничего не смысля в деле и не давая себе большого труда, защищать какой бы то ни было проект преобразования, составленный в подначальных канцеляриях кем-нибудь из *малых* преобразователей, подстрекаемых тоже желанием

дешево прославиться...

Это удивительное явление следует причислить, поистине, к знамениям нашего времени, — а оно заметно повсюду, хотя не всюду в одинаковой мере и степени: в любом правлении, в любом совещательном собрании или комитете. Разумеется, всего явственнее выражается оно там, где менее заложено в прошедшей истории твердых учреждений, где нет старинной, веками утвердившейся школы и дисциплины, где жизнь общественная в историческом своем развитии не выработала определенных разрядов, стенок и клеточек, полагающих преграду вольному устройству быта и порыву мысли и желания. Где шире и вольнее историческое и экономическое поле, там есть где разгуляться каким угодно преобразовательным фантазиям, — там нет иногда и борьбы, нет и затруднительного расчета с утвердившимися идеями, интересами и партиями, но полная свобода широкому размаху руки, натиску груди, быстрому налету первого наездника...

А наряду с этим явлением, происходящим на вершинах, совершается другое подобное же движение из долин, ущелий и пропастей земных. Оно также преобразовательное, но в ином, совсем уже безусловном смысле. Масса людей, недовольных своим положением, недовольных тем или другим состоянием общественным, и ослепленных или диким инстинктом животной природы, или идеалом, созданным фантазией узкой мысли, — отрицая всю существующую, выработанную историей экономию общественных учреждений, отрицая и Церковь и государство, и семью и собственность, — стремится к осуществлению дикого своего идеала на земле. И эти люди требуют, чтобы проповедуемое ими преобразование началось с начала, т. е. на ровном поле, *tabula rasa*, которое хотят они прежде всего расчистить на обломках существующих учреждений.

Это враги цивилизации, — вопиют по всей Европе государственные люди, и во имя цивилизации вооружаются против массы непризванных преобразователей. Но не время ли им самим, защитникам существующего порядка, подумать о том, что сами они первые стремятся иногда слишком легкомысленно налагать смелую руку на существующее, разрушать старые здания и строить на месте их новые, сами они слишком беззаботно и самоуверенно спешат осуждать утвердившиеся порядки и разрушать предания и обычаи, созданные народным духом и историей; сами они, строя громаду новых законов, которые прошли мимо жизни и с которыми жизнь не может справиться, — насилуют в сущности те самые условия действительной жизни, которые отрицает решительно масса отъявленных врагов цивилизации. Борьба с ними может быть успешна лишь во имя жизненных начал и на почве здоровой действительности...

Слово *преобразование* так часто повторяется в наше время, что его уже привыкли смешивать со словом — *улучшение*. Итак, в ходячем мнении поборник преобразования есть поборник улучшения, или, как говорят, *прогресса*, и, наоборот, кто возражает против необходимости и пользы преобразования, какого бы то ни было, на новых началах, тот враг прогресса, враг улучшения, чуть ли не враг добра, правды и цивилизации. В этом мнении, пущенном в оборот на рынке нашей публичности, заключается великое заблуждение и обольщение. В силу этого мнения здравому смыслу, здравому взгляду на предмет, становится трудно проложить себе дорогу и пробиться сквозь предрассудок, — и конкретное, реальное здоровое воззрение уступает место воззрению отвлеченному от жизни и фантастическому; люди дела и подлинного знания принуждены сторониться от дела и теряют кредит пред людьми отвлеченной идеи, окутанной фразою. Напротив того, кредитом пользуется с первого слова тот, кто выставляет себя представителем новых начал, поборником преобразований и ходит с чертежами в руках для возведения новых зданий. Поприще государственной деятельности наполняется все *архитекторами*, и всякий, кто хочет быть работником, или хозяином, или жильцом — должен выставить себя архитектором. Очевидно, что при таком направлении мысли и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатанству, всякой ловкости лицемерия и бойкости невежества. С другой стороны, деятельность положительная, практическая, затрудняется чрезмерно, когда она совершается посреди общего настроения к анализу и критике, к

поверке всякого дела общими началами, общими фразами, преобладающими в общественной среде. Тому, кому следовало бы сосредоточить все внимание и все силы на своем деле и на том, как лучше и совершеннее исполнять его, — приходится беспрерывно считаться с мнением о деле, думать о том, как оно *покажется*, какое произведет впечатление и в обществе, и в начальстве, если это начальство пробует все на том же камне новой идеи, нового направления. Так отвлекается попусту на критику и на борьбу с критикою, по большей части пустой, масса великих сил, которые могли бы совершить великое дело; так много времени уходит у деятелей на это механическое трение, на эту бесплодную борьбу с возбужденной мыслью, что немного уже остается его для действительной, сосредоточенной деятельности. Человек окружен со всех сторон призраками и образами дела, которые тревожат его, но истинное, реальное дело исчезает у него под руками — и не делается. Такого положения не могут вытерпеть лучшие, правдивые деятели. Они чувствуют в себе силу, когда имеют дело с *реальностями* жизни, с фактами и живыми силами; тогда они *веруют* в дело, и эта *вера* дает им возможность *творить чудеса* в мире реальностей. Но они теряют дух, когда приходится им орудовать с образами, призраками, формами и фразами; теряют дух, потому что не чувствуют веры, а без веры — мертва всякая деятельность. Мудрено ли, что лучшие деятели отходят, или, что еще хуже и что слишком часто случается, — не покидая места, становятся равнодушны к делу и стерегут только вид его и форму, ради своего прибытка и благосостояния...

Вот каковы бывают иногда плоды преобразовательной горячки, когда она свыше меры длится. Какой врач вылечит от нее современное общество, современных деятелей? Какой богатырь направит силы наши на действительные *улучшения*, в которых мы так много и со всех сторон нуждаемся и которых жаждет жизнь действительная. Нам говорят: подождите еще немного: вот поднимутся таинственные покровы преобразований — и явится из-под них новая, действенная жизнь в полноте красоты и силы, и засияет новая заря, и откроется страна, медом и млеком текущая. И мы ждем давно, но все не шевелятся покровы, новый мир не является, наша «незнакомка спит глубоким сном», и к прежним покровам прибавляются только новые.

Между тем стоит только пройти по улицам большого или малого города, по большой или малой деревне, чтоб увидеть разом и на каждом шагу, в какой бездне улучшений мы нуждаемся и какая повсюду лежит безобразная масса покинутых дел, пренебреженных учреждений, рассыпанных храмин. Вот школы, в которых учитель, покинув детей, составляет рефераты о методах преподавания и фразистые речи для публичных заседаний; вот учебные заведения, где, под видом и формой преподавания, обучение не производится, и бестолковые учителя сами не знают, чему учить и чего требовать в смешении понятий, приказаний и инструкций; вот больница, в которую боится идти народ потому, что там холод, голод, беспорядок и равнодушие своекорыстного управления; вот общественное хозяйство, в котором деньги собираются большие и никто ни за чем не смотрит, кроме своего прибытка или тщеславия; вот библиотека, в которой все разрознено, растеряно и распущено, и нельзя найти толку ни в употреблении сумм, ни в пользовании книгами; вот улица, по которой пройти нельзя без ужаса и омерзения от нечистот, заражающих воздух, и от скопления домов разврата и пьянства; вот присутственное место, призванное к важнейшему государственному отправлению, в котором водворился хаос неурядицы и неправды, за неспособностью чиновников, туда назначаемых; вот департамент, в который, когда ни придешь за делом, не находишь нужных для дела лиц, обязанных там присутствовать; вот храмы — светильники народные, оставленные посреди сел и деревень запертыми, без службы и пения, и вот другие, из коих, за крайним бесчинием службы, не выносит народ ничего, кроме хаоса, неведения и раздражения... Велик этот свиток, и сколько в нем написано у нас *рыданий, и жалости, и горя*.

Вот жатва, на которую требуются делатели, куда надобно направить личные силы мысли, любви и негодования, где потребны не законодательные приемы преобразования, отвлекающие только силу, а приемы правителя и хозяина, — собирающие силу к одному

месту для возделывания и улучшения. Вот истинная потребность нашего времени и нашего места — и ею-то пренебрегает наш век из-за общих вопросов, из-за громких слов, звенящих в воздухе. «Не расширяй судьбы своей — было вещание древнего оракула: — не стремись брать на себя больше, чем на тебя положено». Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни — в сосредоточении мысли и силы, все зло — в ее рассеянии. Делать — значит не теряться во множестве общих мыслей и стремлений, но выбрать себе дело и место в меру свою, и на нем копать, и сажать, и возделывать, к нему собирать потоки своей жизненной силы, в нем восходить от работы к знанию, от знания к совершению и от силы в силу.

X

Богатство приводит в движение множество низких побуждений человеческой природы. Богатство налагает на человека тяжелые повинности, связывает его свободу во многом. Одна из самых ощутительных невзгод для богача — то, что он становится предметом эксплуатации, около него образуется сплетение лжи всякого рода. Если бы не притуплялось в нем чувство, — он чувствовал бы ежеминутно, что отношения его к людям переменились, что многие — даже из самых близких к нему лиц — подходят к нему не просто; и что для великого множества людей, входящих с ним в отношения, личность его совсем исчезает, а место ее занимают внешние черты его, черты принадлежащего ему капитала. Для чувствительной души такое положение несносно, и потребна большая простота души богатому человеку для того, чтобы он сумел сохранить в себе ясное и благовольтельное отношение к людям и не обезумел бы, не опошлится бы сам от всей той пошлости, которая вокруг него поднимается и выказывается под влиянием представления об его богатстве.

Подобной же участи подвергается и другая сила человеческая — ум, особенно ум из ряда выходящий, господственный. Когда умный человек приобретает авторитет, входит в славу между людьми, — поднимаются около него пошлые побуждения человеческой природы. Сближение с ним ставят себе в честь; люди начинают подходить к нему не просто, а с задней мыслью — показаться перед ним умными людьми и возбудить его внимание. Когда умный человек входит в моду, нет такой пошлости, которая не пыталась бы надевать на себя перед ним маску умного человека и кривляться перед ним со всей аффектацией, на которую способна пошлость. Это ощущение лжи и аффектации для умного человека было бы нестерпимо, и заставило бы его бежать от людей, когда бы сам он не подвергался действию той же пошлости. Оттого мы встречаем нередко умных людей, которые, привыкая к аффектации, рисуются перед окружающей их пошлостью мелких умов, и охотнее вступают в общение с ними, нежели с равными себе. Немногие умы свободны от этой слабости тщеславия.

Жена Карлейля в одном из своих остроумных писем к мужу говорит: «Вчера была у меня мистрис N. Мы долго с ней беседовали, и наша беседа показалась бы очень интересной даже тебе, если бы ты мог тут же быть невидимкой, — но непременно невидимкой, в волшебном плаще. — Кого считают „мудрецом и глубочайшим мыслителем нашего века“, тому приходится жить одному, в тяжком, можно сказать, царственном уединении. Он осужден — ни от кого не слышать простого слова, в простоте сказанного, — всякая речь подходит к нему украшенная, в наряде. Вот от чего Артур Гельпс (известный писатель) и многие другие говорят со мной очень просто, очень умно и занимательно, — а с тобой начнут говорить — и приводят тебя в томительную тоску. Со мной они не боятся становиться на скромную почву своей собственной личности, какова она есть. А с тобой — они представляют из себя Талиони и принимаются балансировать, поднимаясь на носке умственного или нравственного величия».

XI

В темные эпохи истории бывало такое состояние общества, в котором над всеми

гражданами тяготело чувство взаимного недоверия и подозрения. Современники с ужасом рассказывают о своей эпохе или о своем городе, что люди боятся прямо смотреть в глаза друг другу, боятся сказать вслух близким и домашним свободное, нелицемерное слово, или отдаться вольному душевному движению, чтобы оно не было подхвачено, перетолковано, и не послужило поводом к жестокому преследованию, во имя государства или начала общественной безопасности. Из темных углов и из последних слоев общества поднимается и сама собою образуется в корпорацию прибыльная профессия доносчиков, — тайная сила, пред которой все преклоняются, все молчат в страхе или, когда молчать невозможно, одевают мысль свою в лживые, льстивые и лицемерные формы.

Читая такие рассказы из времен нашей Бироновщины или из эпохи французского террора, мы радуемся, что живем в иную пору и что события той эпохи составляют для нас предание. Но всмотримся ближе в совершающиеся около нас явления — и принуждены будем сознаться, что и наше время изобилует признаками подобного же состояния. Больше того: между нами взаимное недоверие пустило, может быть, корни еще глубже во внутреннюю жизнь общества, нежели в ту пору. Всего более поражает в состоянии нашего общества, за последние годы, отсутствие той простоты и искренности в отношениях, которая составляет главный интерес общественной жизни, оживляет ее веянием свежести и служит признаком здоровья. Как редко случается видеть, что люди сходятся просто; а как отрудно было бы сойтись с человеком просто, без задней мысли, без искусственного заднего плана, на котором рисуются смутные тени, мешающие свободному общению! Таких теней образовалось в последнее время бесчисленное множество, — точно множество темных духов, рассевающих смуту в воздухе. Откуда взялись они? хорошо, когда б их порождала идея определенная, сознательная; тогда б еще возможно было устранить их тоже посредством идеи. Но нет, их порождают, по большей части, бессознательные представления и впечатления, всосанные и схваченные случайно, из воздуха, как подхватываются и всасываются атомы испорченной материи, при развитии всякой эпидемии. В воздухе кишат теперь атомы умственных и нравственных эпидемий всякого рода: имя им легион, и иное название трудно для них придумать.

Посмотрите, как сходятся люди в нашем обществе — знакомые и незнакомые, — для дела и без дела. Едва взглянули в глаза друг другу, едва успели обменяться словом, как уже стала между ними тень. С первого слова, которое сказал, с первого приема речи, который употребил один — у другого возникла уже задняя мысль: а, — вот какого он мнения, вот какой он школы, вот какого он *убеждения* (любимый из новейших терминов, и один из самых обманчивых). Он *либерал*, он *клерикал*, он *крепостник*, он *социалист*, он *анархист*, он *фритредер*, он *протекционист*, он поклонник *«Московских Ведомостей»*, он сторонник *«Недели»*, *«Вестника Европы»*, и так далее, и так далее. Присмотритесь, прислушайтесь, как, вслед за этим первым впечатлением, разгорается все сильнее взаимное *подозрение*, как оно потом переходит в *раздражение*, как, затем, всякий спокойный обмен мыслей становится невозможен, как отрывистые и резкие фразы сменяются в принужденной беседе столь же резкими паузами, и как, наконец, люди расходятся, не узнав друг друга и осудив уже друг друга с первой встречи. Каждый сразу поставил друг друга в известную категорию, в известную клеточку, с которой, как он давно уже решил, нет у него ничего общего. Из-за чего весь этот бессмысленный раздор? Из-за убеждений? Можно сказать наверное, в большинстве случаев, что с той и с другой стороны нет никакого осмысленного убеждения, нет организованной партии, а есть только нечто вчера услышанное, вчера вычитанное в газетах, вчера привившееся из разговора с таким же точно гражданином, только что покушавшим точно такой же детской каши...

Сколько сил тратится даром или лежит в бесплодии из-за этой бессмысленной игры во впечатления и в призраки убеждений? Люди, в сущности, честные, добрые, способные, вместо того, чтобы делать, сколько можно каждому, практическое, насущное дело жизни, на них положенное, складывают руки, теряют энергию, истощаются в бесплодном раздражении и негодовании, — решая, что на таких принципах, с такой теорией, с такими взглядами —

деятельность невозможна. Они еще руки не приложили к своему делу, а оно им уже опротивело, они изверились в нем потому, что оно не соответствует воображаемой теории дела. Куда ни посмотришь, всюду тот же порок, не имеющий смысла. Педагоги, в ожесточенной брани о принципах, системах и способах преподавания, забыли школу, в которой несчастные дети преданы в жертву тупым, бестолковым или ленивым учителям, а каждый из этих учителей готов в каждую минуту спорить об общих началах того самого дела, которого он не делает и не понимает. Суды наши плачут по юристам, по опытным практикам, преданным делу из-за самого дела; университеты ваши плачут по юристам-профессорам, облюбившим свое дело, как дело жизни; а юристы наши — ученые и практики — едва сойдутся, — глядишь, скоро уже готовы разорвать друг друга из-за подозрения в ретроградности, в клерикализме, в радикализме, из-за идеи наказания, из-за идеи суда присяжных, из-за гражданского брака, из-за тюремного устройства той или другой системы. Войдите в заседание одной из многочисленных комиссий для рассмотрения того или другого *проекта*; прислушайтесь к речам, которыми в таком диком беспорядке перебивают друг друга, с концов зеленого стола, члены, насланные из разных ведомств; всмотритесь во взгляды, которые они мечут друг в друга: какое недоверие, какая подозрительность! какая аффектация в приемах речи! какое пустозвонство фраз! Из-за чего все это? Из-за дела, которым редко кто занимался в действительности? Нет, все из-за какой-то идейки, которую схватил где-то случайно оратор и которую понес с собой, или, лучше сказать, на которой понес себя — *ad astra*; все из-за какой-то теории, да еще из-за теории, в редких случаях хорошо вычитанной из хорошей книги! В любой гостиной, едва разговор выйдет из колеи обычных фраз и новостей, повторяется в ином виде то же явление. Происходит смешение языков с такой путаницей понятий, с такими иногда резкими, внутренними противоречиями мысли, что останавливаешься в изумлении и в ужасе. Не редкость встречать людей, которые своими речами и образом действий своих точно протестуют с гордостью против своего же имени, против звания, которое носят, против дела, которому наружно служат и которым живут и содержатся. Случается слышать, как воспитатель, управляющий заведением, презрительно отзывается о педагогах, отстаивающих строгость дисциплины в воспитании; как военный офицер с негодованием громит отсталых людей, доказывающих необходимость дисциплины для армии; как священник с высшей точки зрения осуждает обычай ходить по праздникам к обедне; как судья и ученый юрист обзывает невеждами людей, требующих наказания вору, утверждающих, что прислуга должна повиноваться хозяевам... Все пошло врознь, всем стало трудно соединяться для деятельности, потому что все с первых же шагов расходятся в мыслях о деле, или, вернее сказать, во фразах, облакающих неясные мысли.

Отчего происходит все это? Кажется, главную причину надо бы искать в непомерном уродливом развитии *самолюбия* у всех и каждого. Это то же самое дешевое, жиденькое самолюбие, в силу которого молодой, не выдавший еще света человек, входя в незнакомое ему общество, сразу относится к нему враждебно, теряет спокойное самосознание, становится резок, отрывист и дерзок. Он приносит в незнакомую среду единственный капитал — высокое о себе мнение, и одна мысль, что его разумеют ниже, чем он сам себя разумеет, приводит уже его в раздражение, отнимает у него простоту, ставит его на ходули, облакает его в протест, не имеющий смысла... Представим себе целую компанию, составленную из таких болезненно, не в меру самолюбивых людей; это сопоставление довольно комично, взятое само по себе; но, как ни смешно, оно служит образом того состояния, в котором находится у нас так часто компания людей, случайно сошедшихся вместе или соединившихся для общей деятельности...

ХII

Есть термины, износившиеся до пошлости, оттого что их беспрерывно употребляют без определительной мысли, оттого что их слышишь во всяком углу от всякого, и, произнося их,

глупый готов почитать себя умным, невежда воображает себя стоящим на высоте знания. До того может износиться ходячее на рынке слово, что серьезному человеку становится уже совестно употреблять его: он чувствует, что это слово, прозвучав в воздухе, принимает отражение всех пустых и пошлых представлений, с которыми ежеминутно произносится оно на рынке ходячей фразы. Тогда наступает пора сдать такой термин в кладовую мысли: надо ему вылежаться в покое, надо ему очиститься в глубоком горниле самоиспытующей мысли, пока может оно снова явиться на свет ясным и определительным ее выражением.

Такая судьба угрожает, кажется, одному из любимых наших терминов: *развивать, развитие*. В книгах, в брошюрах, в руководящих статьях и фельетонах, в застольных речах, в проповедях, в салонных разговорах, в официальных бумагах, на лекциях, в уроках гимназии и народной школы, — всюду, всюду прожужжало слух это ходячее слово, и уже тоска нападает на душу, когда оно произносится. Пора бы, кажется, приняться за серьезную проверку понятия, которое в этом слове заключается; пора бы вспомнить, что этот термин: *развитие* не имеет определительного смысла без связи с другим термином: *сосредоточение*. Пора бы обратиться за разъяснением понятий к общей матери и учительнице — природе. От нее не трудно научиться, что всякое развитие происходит из центра и без центра немислимо, — что ни один цветок не распустится из почки, и ни в одном цветке не завяжется плод, если иссохнет центр зиждительной силы образования и обращения соков. Но о природе мы, как будто на беду, забыли и, не справляясь с нею, составляем свои детские рецепты развития; в цветочной почке мы хотим механически раскрыть и расправить лепестки грубой рукой прежде, нежели настала им пора раскрыться внутренним действием природной силы, — и радуемся, и называем это развитием: мы только уродуем почку, и раскрытые нами лепестки засыхают, без здорового цветения, без надежды на плод здоровый! Не безумное ли это дело? и не похоже ли оно на фантазию того ребенка в басне, который думал чашкой вычерпать море?

А сколько является отовсюду таких безумных ребят, таких непризванных развивателей и учителей! Страсть их к *развиванию* доходит до фанатизма, и нет такого глупца и невежды, который не считал бы себя способным развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни носились с своей неразумной страстью: всего поразительнее то, что вместе с ними, иногда вслед за ними, и люди, по-видимому, разумные, люди серьезной мысли, точно околдованные волшебным словом, ходячей монетой рынка, принимаются повторять его, поддакивать ему, и на этом слове, и на смутном понятии, с ним соединяемом, строят целые системы образовательной и педагогической деятельности.

И все эти фантазии разыгрываются, все эти планы сочиняются для того, чтобы оперировать, точно *in anima vili*, на массе так называемых темных людей, на массе народной. На нее готовится поход: но ни полководцы, ни воины, никто не дает себе труда слиться с нею, пожить в ней, исследовать ее психическую природу, ее *душу*, потому что у народа есть душа, к которой надобно приобщиться для того, чтобы уразуметь ее! Нет, преобразователи ее и просветители видят в ней только известную величину, известную данную умственной силы, над которой требуется производить опыты. И притом, какая удивительная смелость и самоуверенность! — Требуется во имя какой-то высшей и безусловной цели производить эти опыты *обязательно* и *принудительной*. Как производить их — в этом сами учителя несогласны: сколько голов, столько систем и приемов. В одном только сходятся — в твердом намерении действовать на *мысль* и *развивать, развивать ее!* Напрасно возражают им слабые голоса, что у простого человека не один ум, что у него *душа* есть, такая же, как у всякого другого, что в сердце у него та крепость, на которой надо ему строить всю жизнь свою, и на которой до сих пор стоит у него *церковное строение*... Нет, — они обращаются все к мысли и хотят вызвать ее к *праздной*, в сущности, деятельности, на вопросах, давно уже, легко и дешево решенных самими просветителями. Какое заблуждение! Если бы потрудились они, без самоуверенности и без высокомерной мысли о своем разуме, войти в темную массу и приобщиться к ней, они увидели бы, что темный человек сам ищет и просит света и жаждет просвещения, но открывает вход ему только с той стороны, с которой оно

может взаправду просветить его, не смутив души его, не разорив его жизни. Он чувствует, что всего дороже ему духовная его природа, и чрез *сердце* хочет пролить свет в нее. Когда с этой стороны прильет ему свет разума, — он не ослепит его, не разорит его жизни, не перевысит центра тяжести, на котором утверждено его основание. Но когда операция развивания направлена исключительно на мысль его, когда его хотят начинить, так называемыми, знаниями и фактами учебников и общими выводами теорий, с ним произойдет то же, что происходит с конусом, когда хотят утвердить конус на острой вершине.

ХІІІ

Жизнь — движение. Кажется, никогда еще не было столь усиленного, как ныне, движения жизни, но это движение порывистое, лихорадочное, — болезненное; не естественная смена ощущений, но какая-то погоня за ощущениями, не последовательное стремление к одной цели, но цепь многообразных стремлений, колеблемых ветрами отовсюду.

Жизнь ли это? спрашиваешь себя, когда видишь толпу людей, поглощающих жизнь и поглощаемых жизнью, думающих и тоскующих о жизни.

«Самое высшее, — говорит Гёте, — что прияли мы от Бога и от природы, — это жизнь, круговращательное около себя движение монады, движение, не знающее остановки и покоя: всякому дано прирожденное побуждение поддерживать и воспитывать эту жизнь, хотя существо ее остается тайной для каждого и всех живущих». Жить — казалось бы, какое простое дело! *Quel est mon mestier?* спрашивал себя Монтень, — и отвечал: *mon mestier c'est vivre*. (Дело мое — жить.)

Но — какое не простое, какое сложное дело сотворили себе из жизни люди, особенно люди нового мира, когда стали крепче и глубже вдумываться в жизнь свою и в цель своей жизни, и на этой думе останавливаться беспокойною мыслью. Жить *без мысли* — значило бы жить подобно животному; но эта мысль должна быть живая, мысль *для жизни*. А в наше время кажется иногда, что люди *живут для мысли*, и вся жизнь, простой и драгоценный дар Божий, поглощается у них в *мысли*. Жизнь — это свободное движение всех сил и стремлений, вложенных в природу человеческую; — цель ее — в ней самой, в этом *движении* заключается, и потому ставить целью жизни — движение одного ума, — одного сердца, — одного страстного влечения — значит суживать жизнь и уродовать ее. Она изуродована — изуродована искусственно — *мыслью о жизни!* Тот же Гёте, в свое время, уже восклицал с болезненным чувством: «Бедный, бедный человек нашего времени — у него все ушло в одну голову!» (*Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist*). Живем ли мы? — продолжает он — мы выворотили себя из жизни анализом жизни (*herausstudirt aus dem Leben*) и должны делать усилия, чтобы снова войти в жизнь. Гёте говорит это, глядя на профессоров, на ученых и молодых студентов своего времени. Но с тех пор какие успехи сделал анализ жизни и как стала жизнь им разделена! В ту пору, во 2-й половине 18 столетия мыслителя-мудреца поражал усилившийся в умах *разлад* между *мыслью* и *жизнью*, удивляла обратившаяся в моду для молодого поколения *тоска по жизни* (*Weltschmerz*). Ныне такая тоска, в этой ее форме, вышла уже из моды, но место ее заняла, и господственно овладевает умами в систему приведенная, отчаянная, неутолимая — новая теория жизни — теория *пессимизма*. Это уже не простая тоска от противоречия между действительностью здешнего мира и высшими идеалами духа — это решительное отрицание всего этого мира, в котором жизнь движется; не простая тоска по жизни, возбужденная борьбою со злом в человечестве, — но разрушительное, злобное, безотрадное отрицание самой жизни в существе ее, отрицание, доходящее до того, что единственным исходом из этой бездны отчаяния предлагается «искоренение в душе самого *желания жить*».

Итак, вот до какого извращения жизни мы дожили. Мы думали, что мысль служит к направлению жизни, к упорядочению ее движения, что она пособляет жить, — но вот дошло до того, что жизнь вовсе упраздняется мыслью — и не остается ни жизни, ни мысли. Такова

нынче модная теория жизни, жадно воспринимаемая читателями и почитателями талантливого ее проповедника, — теория, успевшая еще более оболживить жизнь, довольно и без того оболживленную; ибо самые проповедники и последователи этой теории продолжают жить по воле всех своих животных побуждений — осуществляя в себе до бесстыдной лжи доходящее противоречие между жизнью и искусственно созданной теорией жизни, теорией, в коей нет места ни вере, ни правде, ни энергии воли, стремящейся воплотить себя — в деятельности. Что же остается? Остается — наглость, не из жизни, но из книг вычитанное отрицание веры, — остается мертвая схема правды, взятая тоже из книг, мертвый образ природы в виде химической формулы — и дряблая воля, склонная к отрицанию материально не удавшейся жизни...

ЗНАНИЕ И ДЕЛО

того времени, как проснулась и пришла в движение мысль в нашем обществе, стали нам твердить на все лады о необходимости *знания*; столько твердили, что самое понятие о *просвещении* отождествилось в умах нашей интеллигенции с *количеством знаний*. Отсюда — расширение программ и высшего, и среднего, и даже начального обучения, отсюда — полки наскоро набранных бестолковых учителей, приставленных к каждой науке для того, чтобы пустоты не было, отсюда — формализм экзаменов и испытательных комиссий, отсюда расположение журналов, трактующих *de omni re scibili et quibusdam aliis*, и наполняющих головы читателей на рынке интеллигенции массою отрывочных, перепутанных между собою мыслей и сведений. Результат всего этого жалкий — расхождение мнимой интеллигенции, воображающей себя знающею, но лишенной того, к чему должно вести всякое знание — то есть *умения* — взяться за дело, делать его добросовестно и искусно и поставить его интересом своей жизни.

Всякий человек призван к делу и должен выбрать себе известное дело; а для того, чтобы уметь делать его, необходимо собраться в себя, сосредоточиться. «Не расширяя судьбы твоей — было слово древнего оракула — старайся не гулять за пределами твоего дела». Рассеяние в разные стороны развлекает мысль, расслабляет волю и мешает сосредоточиться на деле. Развлекаясь во все стороны — разнообразными движениями любознательности и любопытства, человек не может скопить в себе и сосредоточить такой запас жизненной силы, какой необходим для решительного перехода от *знания* к деланию. Сколько бы ни поглотил в себя образов и сведений дилетантизм любознательности и вкуса, все останется бесплодно, если не может он собрать все свое существо в себе и двинуть его — к делу.

Знание, само по себе, не воспитывает ни умения, ни воли. Мы видим ежедневные тому примеры. Много видим людей умных, острых памятью и воображением, образованных, ученых — и бессильных в решительную минуту, когда требуется решение для дела или твердое слово в совете. Но жизнь наша — и частная, и общественная, при усложнении отношений, при смешении понятий и вкусов, — требует непрестанно скорого и твердого решения. И мы видим, когда оно требуется, люди идут к нему не твердыми ногами, а окольными путями, оглядываясь на все стороны. В эту пору человек, имеющий ясное сознание и волю, способный в минуту сообразить все, что знает в связи с предметом решения, — стоит для дела дороже множества умов неверных и колеблющихся.

Отсюда формализм и бесплодность многих происходящих у нас советов и совещаний: люди говорят, не умея сосредоточиться на предмете рассуждения. Но лучший оратор не тот, кто изыскивает лишь способы уловить и запутать противника мелким оружием казуистики или потоком пышных угроз, но тот, кто приходит в совет с твердым и ясным мнением о деле и высказывает его ясно и твердо; не тот, кто, смешивая цвета и оттенки, способен доказывать, что в черном есть белое и в белом черное, но тот, кто прямо и сознательно называет белое белым и черное черным. Не тот истинный судья, кто, разлагая по волоску

каждое требование и возражение, творит формальный суд по формальным признакам правды, но тот, кто, заботясь о существенной правде, умеет ясною мыслию проникнуть в существо отношений между сторонами. Не тот годный на дело военачальник, кто изучил до подробности всю историю походов и битв и все приемы военной тактики, но тот, кто может в решительную минуту острым взглядом сообразить в уме своем положение местности и военных сил, — и решительным действием воли определить судьбу сражения.

ПЕЧАТЬ

I

тех пор как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях и учреждениях. Но никогда, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду *лживых* речей о *правде*. По мере того как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание, на фронтоне коего написано: «*Здесь истина*».

Входишь, и ничего не видишь кроме лжи. Выходишь, и когда пытаешься рассказывать о лжи, которую душа возмущалась, — люди негодуют, и велят верить и проповедовать, что то истина, вне всякого сомнения.

Так нам велят верить, что голос журналов и газет — или так называемая *пресса*, есть выражение общественного мнения... Увы! Это великая ложь, и пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени.

Кто станет спорить против силы *мнения*, которое люди имеют о человеке или учреждении? Такова уже натура человеческая, что всякий из нас, — что ни говорит, что ни делает, оглядывается, как это кажется и что люди думают. Не было и нет человека, кто бы мог считать себя свободным от действия этой силы.

Эта сила в наше время принимает организованный вид и называется общественным мнением. Органом его и представителем считается печать. И подлинно, значение печати громадное и служит самым характерным признаком нашего времени, более характерным, нежели все изумительные открытия и изобретения в области техники. Нот правительства, нет закона, нет обычая, которые могли бы противостоять разрушительному действию печати в государстве, когда все газетные листы его изо дня в день, в течение годов повторяют и распространяют в массе одну и ту же мысль, направленную против того или другого учреждения.

Что же придает печати такую силу? Совсем не интерес новостей, известий и сведений, которыми листки наполняются, — но известная тенденция журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается в статьях его, в подборе и расположении известий и слухов, и в освещении подбираемых фактов и слухов. Печать ставит себя в положение судящего наблюдателя ежедневных явлений; она обсуждает не только действия и слова людские, но испытует даже невысказанные мысли, намерения и предположения, по произволу клеймит их или восхваляет, возбуждает одних, другим угрожает, одних выставляет на позор, других ставит предметом восторга и примером подражания. Во имя общественного мнения, она раздает награды одним, другим готовит казнь, подобную средневековому отлучению...

Сам собою возникает вопрос: кто же представители этой страшной власти, именующей себя общественным мнением? Кто дал им право и полномочие — во имя целого общества — править, ниспровергать существующие учреждения, выставлять новые идеалы нравственного и положительного закона?

Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до

истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства. Кто не вопиет об этом и у нас в несчастной, оболганной и оболживленной чужеземною ложью России? Вопиют в удивительной непоследовательности и так называемые славянофилы, мнящие восстановить и водворить историческую правду учреждений в земле Русской. И они, присоединяясь в этом к хору либералов, совокупленных с поборниками начал революций, говорят, совершенно по-западному: «общественное мнение, то есть, соединенная мысль, с чувством и юридическим сознанием всех и каждого, служит окончательным решением в делах общественного быта; итак, всякое стеснение свободы слова не должно быть допускаемо, ибо в стеснении сего рода выражается насилие меньшинства над всеобщей волею».

Таково ходячее положение новейшего либерализма. Оно принимается на веру многими, и мало кто, вдумываясь в него, примечает, сколько в нем лжи и легкомысленного самообольщения.

Оно противоречит первым началам логики, ибо основано на вполне ложном предположении, будто общественное мнение тождественно с печатью.

Чтобы удостовериться в этой лживости, стоит только представить себе, что такое газета, как она возникает и кто ее делает.

Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи, — и штаб у него готов, и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый вид учредительства и грюндерства, и притом самого дешевого свойства. Разумеется, новая газета тогда только приобретает силу, когда пошла в ход на рынке, т. е. распространена в публике. Для этого требуются таланты, требуется содержание привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тут есть некоторая гарантия нравственной солидности предприятия: талантливые люди пойдут ли в службу к ничтожному или презренному издателю и редактору? Читатели станут ли брать такую газету, которая не будет верным отголоском общественного мнения? Но это гарантия только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опыт показывает, что тот же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке — и таланты пишут, что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди — какой-нибудь бывший ростовщик, жид фактор, газетный разносчик, участник банды червонных валетов, разорившийся содержатель рулетки — могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников, и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения. Нельзя положиться и на здравый вкус публики. В массе читателей — большею частью праздных — господствуют, наряду с некоторыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякого рода. Мы видим у себя ежедневные тому примеры, и в нашей столице недалеко ходить за ними: стоит только присмотреться к спросу и предложению у газетных разносчиков возле людных мест и на станциях железных дорог. Всем известен недостаток серьезности в нашей общественной беседе: в уездном городе, в губернии, в столице — известно, чем она пробавляется — картами и сплетней всякого рода — и анекдотом, во всех возможных его формах. Самая беседа о так называемых вопросах общественных и политических является большею частью в форме *пересуда* и отрывочной фразы, пересыпаемой тою же сплетней и анекдотом. Вот почва необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника, и на ней-то рождаются, подобно ядовитым грибам, и эфемерные, и успевшие стать на ноги, органы общественной сплетни, нахально выдающие себя за органы общественного мнения. Ту же самую гнусную роль, которую посреди праздной жизни какого-нибудь губернского города играют безымянные письма и пасквили, к сожалению,

столь распространенные у нас, — ту же самую роль играют в такой газете *корреспонденции*, присылаемые из разных углов и сочиняемые в редакции. Не говорим уже о массе слухов и известий, сочиняемых невежественными репортерами, не говорим уже о гнусном промысле *шантажа*, орудием коего нередко становится подобная газета. И она может процветать, может считаться органом общественного мнения и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, — не в силах будет состязаться с нею.

Стоит всмотреться в это явление: мы распознаем в нем одно из безобразнейших логических противоречий новейшей культуры, и всего безобразнее является оно именно там, где утвердились начала новейшего либерализма, — именно там, где требуется для каждого учреждения санкция выбора, авторитет всенародной воли, где правление сосредоточивается в руках лиц, опирающихся на мнение большинства в собрании представителей народных. От одного только журналиста, власть коего практически на все простирается, — не требуется никакой санкции. Никто не выбирает его и никто не утверждает. Газета становится авторитетом в государстве, и для этого единственного авторитета не требуется никакого признания. Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого авторитета, — и притом вполне *безответственным*, как никакая иная власть в мире. Это так, без преувеличения: примеры живые налицо. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготавливались революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду: но журналист выходит сух из воды, из всей заведенной им смуты, из всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имея право карать нашу честь, лишать нас имущества и свободы, приемлет его от государства и должен продолжительным трудом и испытанием готовиться к своему званию. Он связан строгим законом; всякие ошибки его и увлечения подлежат контролю высшей власти, и приговор его может быть изменен и исправлен. А журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднить своими нападками или сделать невозможным для меня пребывание в известном месте. Но эту судебскую власть надо мною сам он себе присвоил: ни от какого высшего авторитета, он не принял этого звания, не доказал никаким испытанием, что он к нему приготовлен, ничем не удостоверил личных качеств благонадежности и беспристрастия, в суде своем надо мною не связан никакими формами процесса, и не подлежит никакой апелляции в своем приговоре. Правда, защитники печати утверждают, будто она сама излечивает наносимые ею раны; но ведь всякому разумному понятно, что это одно лишь праздное слово. Нападки печати на частное лицо могут причинить ему, вред неисправимый. Все возможные опровержения и объяснения не могут дать ему полного удовлетворения. Не всякий из читателей, кому попалась на глаза первая поносительная статья, прочтет другую оправдательную или объяснительную, а при легкомыслии массы читателей — позорящее внушение или надругательство оставляют во всяком случае яд в мнении и расположении массы. Судебное преследование за клевету, как известно, — дает плохую защиту, и процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования.

Итак — можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова? И не странно ли, не дико ли и безумно, что о поддержании и охранении именно этого деспотизма хлопочут всего более — ожесточенные поборники *свободы*, вопиющие с озлоблением против всякого насилия, против всяких законных ограничений, против всякого стеснительного распоряжения

установленной власти? Невольно приходит на мысль вековечное слово об умниках, которые совсем обезумели от того, что возомнили себя мудрыми!

II

В нашем веке распространения изобретений всего удивительнее быстрое распространение газетной литературы, ставшей в короткое время страшно действительною общественною силой. Значение газеты возросло в первый раз после Июльской революции 1830 года, усугубилось еще после революции 1848 года и затем стало возрастать не годами только, но днями. Ныне с этою силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себе не только общественную, но и частную жизнь без газеты, и прекращение выхода газет, если б возможно было бы представить его себе, было бы однозначительно с прекращением всякого действия железных дорог.

Газета несомненно служит для человечества важнейшим орудием культуры. Но, признавая все удобство и пользу от распространения массы сведений и от обмена мыслей и мнений путем газеты, нельзя не видеть и того вреда, который происходит для общества от безграничного распространения газеты, нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством.

Каждый день, поутру, газета приносит нам кучу разнообразных новостей. В этом множестве — многое ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательного развития? Многое ли способно поддерживать в душе нашей священный огонь одушевления на добро? И напротив — сколько здесь такого, что льстит самым низменным нашим склонностям и побуждениям! Могут сказать, что нам дают то, что требуется вкусом читателей, что отвечает на спрос. Но это возражение можно обернуть: спрос был бы не такой, если б не так ретиво было предложение.

Но пускай бы еще предлагались одни новости: нет, они предлагаются в особливой форме, окрашенные особливым мнением, соединенные с безымянным, но очень решительным суждением. Есть, конечно, серьезные умы, руководящие газетой: таких немного; а газет великое множество, и всякое утро некто, совсем незнаемый мною, и может быть такой, какого я и знать не хотел бы, навязывает мне свое суждение, выдавая его авторитетно за голос общественного мнения. Но всего важнее то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не к известному кругу людей, но ко всему люду, умеющему лишь разбирать печатное, предлагает каждому готовые суждения обо всем, и таким образом, мало-помалу, силою привычки, отучает своих читателей от желания и от всякого старания иметь свое собственное мнение: иной не имеет возможности сам себе составить его и воспринимает механически мнение своей газеты; иной и мог бы сам рассудить основательно, но ему некогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думает газета. Очевидно, какой происходит от этого вред, именно в наше время, когда повсюду действуют сильные течения тенденциозной мысли, и стремятся уравнивать всякие углы и отличия индивидуального мышления и свести их к единообразному уровню так называемого *общественного* мнения: в этих условиях газета служит сильнейшим орудием такого уравнивания, ослабляющего всякое самостоятельное развитие мысли, воли и характера. А притом, для какого множества людей газета служит почти единственным источником образования, жалкого, мнимого образования, — когда масса разных сведений и известий, приносимая газетой, принимается читателем за *действительное знание*, которым он с самоуверенностью вооружает себя. Вот одна из причин, почему наше время так бедно *цельными* людьми, характерными деятелями. Новейшая печать похожа на сказочного богатыря, который, написав на челе своем таинственные буквы — символ божественной истины, поражал всех своих противников, дотоле, пока не явился бесстрашный боец, который стер с чела его таинственные буквы. — На челе нашей печати написаны доселе знамена общественного мнения, действующие неотразимо.

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

I

Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и, вследствие того, мертвым. К предмету подходят и вопросы решают с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в явления действительной жизни, — даже отказываясь всматриваться в них. Таких общих начал и положений расплодилось у нас множество, особенно с конца прошлого столетия — они заполнили нашу жизнь, совсем отрезали от жизни наше законодательство, и самую науку ставят нередко, в противоположность с жизнью и ее явлениями. Вслед за доктринерами науки, доходящими до фанатизма в своем доктринерстве, и за школьными адептами натверженных учений — идет стадным обычаем толпа интеллигенции. Общие положения приобретают значение непререкаемой аксиомы, борьба с коею становится крайне тягостна, иногда совсем невозможна. Трудно исчислить и взвесить, сколько ломки произвели эти аксиомы в законодательстве, как опутали они по рукам и по ногам живой организм народного быта искусственными, силою навязанными формами! Впереди этого движения пошла Франция: она ввела в моду нивелировку быта народного посредством общих начал, выведенных из отвлеченной теории. За нею потянулись все — даже государства, соединяющие в себе бесконечное разнообразие условий быта, племенного состава, пространства и климата. Сколько пострадало от того и наше отечество — не перечтешь.

Вот, например, слова — натверженные до пресыщения у нас и повсюду: даровое обучение, обязательное обучение, ограничение работы малолетних обязательным школьным возрастом... Нет спора, что ученье свет, а неученье — тьма; но в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом, а главное — не насиловать ту самую свободу, о которой столько твердят и которую так решительно нарушают наши законодатели. Повторяя на все лады пошлое изречение, что школьный учитель победил под Садовою, мы разводим по казенному лекалу школу и школьного учителя, пригибая под него потребности быта детей и родителей, и самую природу и климат. Мы знать не хотим, что школа (как показывает опыт) становится одной обманчивой формой, если не выросла самыми корнями своими в народ, не соответствует его потребностям, не сходится с экономией его быта. Только та школа прочна в народе, которая любя ему, которой просветительное значение видит он и ощущает; противна ему та школа, в которую пихают его насилием, под угрозой еще наказания, устраивая самую школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазии доктринеров школ. Тогда дело становится механическим: школа уподобляется канцелярии, со всею тяготой канцелярского производства. Законодатель доволен, когда заведено и расположено по намеченным пунктам известное число однообразных помещений с надписью: *школа*. И на эти заведения собираются деньги — и уже грозят загонять в них под страхом штрафа; и учреждаются с великими издержками наблюдатели за тем, чтобы родители, и бедные, и рабочие люди, высылали детей своих в школу со школьного возраста... Но, кажется, все государства далеко перешли уже черту, за которою школьное ученье показывает в народном быте оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счет той действительной, воспитательной школы, которою должна служить для каждого сама жизнь в обстановке семейного, профессионального и общественного быта.

Сколько наделало вреда смешение понятия о *знании* с понятием об *умении*! Увлечшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму *знаний*, предположив, что она приобретается прохождением школьной

программы, искусственно скомпонованной кабинетными педагогами. Устроив таким образом школу, мы отрезали ее от жизни и задумали насильственно загонять в нее детей для того, чтобы подвергать их процессу умственного развития, по нашей программе. Но мы забыли или не хотели сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма голых знаний, коими программы наши напичканы, а *умение* делать известное дело, и что от этого умения мы можем отбить их искусственно, на воображаемом знании, построенною школой. Таковы и бывают последствия школы, мудрено устроенной, и вот причина, почему народ не любит такой школы, не видя в ней толку.

Понятие народное о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке *совесть* и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли.

Плохо дело, когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания — упражнением с юных лет и примером, приобретая бессознательно искусство и вкус в работе. Кто готовится быть кандидатом или магистром, тому необходимо начинать учение в известный срок и проходить последовательно известный ряд наук; но масса детей готовится к труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовление физическое с раннего возраста. Закрывать путь к этому приготовлению, чтобы не потерять времени для школьных целей, значит — затруднять способы к жизни массе людей, бьющихся в жизни из-за насущного хлеба, и стеснять посреди семьи естественное развитие экономических сил ее, составляющих в совокупности капитал общественного благосостояния. Моряк воспитывается для морского дела, с детства вырастая на воде; рудокоп привыкает к своему делу и приучает к нему свои легкие — не иначе как опускаясь с юных лет в подземные мины. Тем более земледelec — привыкает к своему труду и получает любовь к нему, когда с детства живет, не отрываясь от природы, возле домашней скотины, возле сохи и плуга, возле поля и луга.

А мы все препираемся о курсе для народной школы, о курсе обязательном, с коим будто бы соединяется полное развитие. Иной хочет вместить в него энциклопедию знаний под диким названием Родиноведения; иной настаивает на необходимости поселянину знать физику, химию, сельское хозяйство, медицину; иной требует энциклопедию политических наук и правоведение... Но мало кто думает, что, отрывая детей от домашнего очага на школьную скамью с такими мудреными целями, мы лишаем родителей и семью рабочей силы, которая *необходима* для поддержания домашнего хозяйства, а детей развращаем, наводя на них мираж мнимого или фальшивого и отрешенного от жизни знания, подвергая их соблазну мелькающих перед глазами образов суеты и тщеславия.

II

Новейшая школа народных просветителей предлагает одно средство, один рецепт для блага человечества: войну с предрассудками и невежеством массы народной. Все бедствия человечества, по мнению писателей этой школы, происходили оттого, что в массе народной держались слишком упорно в течение веков некоторые безотчетные ощущения и мнения, которые необходимо во чтобы то ни стало разрушить, вырвать с корнем. К таким вредным ощущениям и мнениям они относят все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы, — так рассуждают эти философы, — все люди могли привести в движение свою умственную силу, развить свое мышление и им руководствовались бы, — вместо того, чтобы думать, чувствовать и жить по мнениям, принятым на веру, — тогда начался бы золотой век для человечества. В одно поколение человечество подвинулось бы так, как доньше не

подвигалось и в течение нескольких столетий. Когда бы хоть на один градус поднялся уровень мыслительной силы в массе, от этого произошли бы последствия неисчислимы. У всех почти есть какой-нибудь один силлогизм, который слагается в голове по непосредственному впечатлению с первых лет юности. Если бы к этому запасу прибавился у всех еще другой силлогизм, и мысль у каждого стала бы способна связать оба в одну цепь мышления, от этого одного изменился бы вид вселенной, преобразовалась бы судьба всего человечества. Вот цель, к которой хотят вести нас, вот задача просвещения и прогресса, которую ставят новые философы 19-го столетия.

Кажется, — как спорить против этого? А между тем у предлагаемой задачи есть и другая сторона, обратная и темная, которую обыкновенно упускают из виду.

Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, — и сила эта столь необходимая, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, — безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишить общество той *устойчивости*, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса.

Что такое предрассудок? Предрассудок, говорят, есть мнение, не имеющее разумного основания, не допускающее логической аргументации; все такие мнения предполагается искоренить, каким способом? — возбудить в каждом человеке мыслительную деятельность и поставить мнение у каждого человека в зависимость от *логического вывода*. Прекрасно, но прекрасно лишь в отвлеченной теории. В действительной жизни мы видим, что в большей части случаев невозможно довериться действию одной *способности логического мышления* в человеке; что во всяком деле жизни действительной мы более полагаемся на человека, который держится упорно и безотчетно мнений, непосредственно принятых и удовлетворяющих инстинктам и потребностям природы, нежели на того, кто способен изменять свои мнения по выводам своей логики, которые в данную минуту представляются ему неоспоримым гласом разума. В таком расположении человеку легко сделаться послушным рабом *всякого рассуждения, на которое он не умеет* в данную минуту ответить, сдаваться безусловно, со всем своим мировоззрением, на всякий новый прием логической аргументации по какому угодно предмету. Он становится беззащитен против всякой теории, против всякого вывода, если не обладает сам таким арсеналом логического оружия, каким располагает в данную минуту противник его. Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мерилom истины, — и жизнь действительная попадет в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукой формального рассуждения. Можно себе представить, что стало бы с массою, если б удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью коего общество успевало до сих пор держаться на твердом основании.

Притом, справедливо ли признать, что упорство в мнении, на веру принятом, состоит необходимо и всегда в противоречии с логикой, что так называемый предрассудок означает всегда тупость или недейтельность мышления? Нет, несправедливо. Если человек склонен сдаться со своим мнением и верованием на доказательную аргументацию логики, это совсем еще не означает, что он логичнее, последовательнее того, кто, не уступая аргументации, упорно держится в своем мнении. Напротив того, приверженность простого человека к принятому на веру мнению происходит, хотя большей частью и бессознательно для него самого, от инстинктивного, но *в высшей степени логического побуждения*. Простой человек инстинктивно чувствует, что с переменою одного мнения об одном предмете, которую хотят

произвести в нем посредством неотразимой, по-видимому, аргументации, соединяется перемена в целой цепи воззрений его на мир и на жизнь, в которых он не отдает себе отчета, но которые неразрывно связаны со всем его мышлением и бытом, и составляют духовную жизнь его. Эту-то цепь и стремится разорвать по звеньям лукавая диалектика современных просветителей и, к несчастью, легко иногда успевает. Но простой человек со здравым смыслом чувствует, что, уступив беззащитно в одном — первому нападению логической аргументации, — он поступился бы всем, а целым миром своего духовного представления он не может поступиться из-за того только, что не в состоянии логически опровергнуть аргументацию, направленную против одного из фактов этого мира. Напрасно лукавый совопросник стал бы стыдить такого простого человека и уличать его в глупости: в этом простой человек совсем не глуп, а разумнее своего противника: он не умеет еще осмыслить во всей совокупности явления и факты своего духовного мира, и не располагает диалектическим искусством своего противника, но, упираясь на свое, тем самым показывает, что дорожит своим мнением, бережет его и ценит истину убеждения — не в форме рассудочного выражения, а во всей ее целости.

А так хотят нынче просвещать простого человека. Про все подобные приемы просвещения можно сказать, что они — от *лукавого*. Ночью, когда люди спят или впробовках бессильны, приходит лукавый и потихоньку, под видом доброго и благонамеренного человека, сеет своей плевелы. И совсем не нужно для этого быть ни умным, ни ученым человеком — нужно быть только *лукавым*. Требуется ли много ума, например, чтобы подойти в удобную минуту к простому человеку и пустить в него смуту: «Что ты молишься своему Николе? Разве видал когда-нибудь, чтобы Никола помогал тому, кто ему молится?» Или подольститься к девушке в простой семье такой речью: «Кто тебе докажет, что доля твоя всегда зависит от других и быть рабою мужчины? Разум говорит тебе, что ты равна ему во всем и на все решительно одинаково с ним имеешь право». Или — прокрасться между родителями и юношею-сыном с такой речью: «По какой логике обязан ты повиноваться родителям? Кто тебе велел уважать их, когда они по твоему разумению того не стоят? Что, как не случайное явление природы, связь твоя с ними и разве ты не свободный человек, прежде всего равный всем и каждому?» С такими речами и множеством подобных бродит уже *лукавый* между *простыми* и *малыми* в близких и дальних местах земли нашей, отбивает от стада овец и велит звать себя *учителем*, и уводит и выгоняет в пустыню...

ЗАКОН

сколько стародавних понятий помрачилось и запуталось в наше время! Сколько стародавних имен, изменивших или, на глазах у нас, изменяющих свое значение!

Изменяется — и не к добру изменяется — понятие о *законе*. Закон — с одной стороны *правило*, с другой стороны — *заповедь*, и на этом понятии о заповеди утверждается нравственное сознание о законе. Основным типом закона остается десятословие: «чти отца твоего... не убий... не укради... не завидуй». Независимо от того, что зовется на новом языке *санкцией*, независимо от кары за нарушение, заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между *светом* и *тьмою*, между *правдою* и *неправдою*. И вот где, — а не в материальной каре за нарушение, — основная, непререкаемая санкция закона — в том, что нарушение заповеди немедленно обличается в душе у нарушителя — его совестью. От кары материальной можно избежать, кара материальная может пасть иногда, без меры, или свыше меры, на невинного, по несовершенству человеческого правосудия, — а от этой внутренней кары никто не избавлен.

Об этом высоком и глубоком значении закона совсем забывает новое учение и новая политика законодательства. На виду поставлено одно лишь значение закона, как правила для внешней деятельности, как механического уравнилителя всех разнообразных отправления

человеческой деятельности в юридическом отношении. Все внимание обращено на анализ и на технику в созидании законных правил. Бесспорно, что техника и анализ имеют в этом деле великое значение; но совершенствуя то и другое, разумно ли забывать основное значение законного правила. А оно не только забыто, но доходит уже до отрицания его.

И вот, мы громоздим, без числа и без меры, необъятное здание законодательства, упражняемся непрестанно в изобретении правил, форм и формул всякого рода. Строим все это во имя свободы и прав человечества, а до того уже дошло, что человеку двинуться некуда от сплетения всех этих правил и форм, отовсюду связывающих, отовсюду угрожающих, во имя гарантий свободы. Пытаемся все определить, все вымерить и взвесить человеческими — следовательно, увы! неполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. Хотим освободить *лицо*, — но всюду расставляем ему ловушки, в которые чаще попадается правый, а не виноватый. Посреди бесконечного множества постановлений и правил, в коем путается мысль и составителей, и исполнителей, — известная фикция, что неведением закона никто отговориться не может, — получает чудовищное значение. Простому человеку становится уже невозможно ни знать закон, ни просить о защите своего права, ни обороняться от нападения и обвинения: он попадает роковым образом в руки стряпчих, присяжных механиков при машине правосудия, — и должен оплачивать каждый шаг свой, каждое движение своего дела на арене суда и расправы... А между тем громадная сеть закона продолжает плестись и сплетается в паутину, сжимая и совершенствуя свои клеточки. Недаром еще в 16-м столетии знаменитый Бэкон применял к этой сети древнее пророческое слово: «Сети спадут на них, говорит пророк, и нет сетей гибельнее, чем сети законов: когда число их умножилось, и течение времени сделало их бесполезными, — закон уже перестает быть светильником, освещающим путь наш, но становится сетью, в которой путаются наши ноги».

С 16-го столетия, в отечестве Бэкона, эта сеть, которая в то время уже казалась ему невозможной, — продолжала сплетаться ежедневно и достигла чудовищных размеров. Масса парламентских актов, постановлений, решений представляет нечто, хаотически громадное и хаотически нестройное. Нет ума, который мог бы разобраться в ней и привести ее в порядок, отделив случайное от постоянного, потерявшее силу от действующего, существенное от несущественного. Масса законов как будто сложена вся в громадный амбар, в котором по мере надобности выискивают, что угодно, люди, привыкшие входить в него и в нем разбираться. На такое состояние закона опирается, однако, правосудие, опирается вся деятельность общественных и государственных учреждений. Если понятие о праве не заглохло в сознании народном, — это объясняется единственно силою предания, обычая, знания и искусства править и судить, преемственно сохраняемого в действии старинных, веками существующих властей и учреждений. Стало быть, кроме закона, хотя и в связи с ним, существует разумная сила и разумная *воля*, которая действует властно в применении закона, и которой все сознательно повинуются. Итак, когда говорится об уважении к *закону* в Англии, — слово *закон* ничего еще не изъясняет: сила закона (коего люди не знают) поддерживается в сущности уважением к *власти*, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, искусству и знанию. В Англии не пренебрежено, но строго охраняется главное, необходимое условие для поддержания законного порядка: *определительность* поставленных для того властей и принадлежащего каждой из них круга, так что ни одна из них не может сомневаться в твердости и колебаться в сознании пределов своего государственного полномочия. На этом основании власть орудует не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей в страхе ответственности, но орудует законом в цельном и разумном его значении, как нравственную силой, исходящую от государства.

А где этой существенной силы нет, где нет древних учреждений, из рода в род служащих хранилищем разума и искусства в применении закона, там умножение и усложнение законов производит подлинно лабиринт, в коем запутываются дороги всех подзаконных людей, и нет выхода из сети, которая на них наброшена. Законы становятся сетью не только для граждан, но, — что всего важнее, для самих властей, призванных к

применению закона, — стесняя для них, множеством ограничительных и противоречивых предписаний, ту свободу рассуждения и решения, которая необходима для разумного действия власти. Когда открывается зло и насилие, когда предстоит защитить обиженного, водворить порядок и воздать каждому должное, необходимо властное действие воли, направляемое стремлением к правде и к благу общественному. Но если при том лицо, обязанное действовать, на всяком шагу встречается в самом законе с ограничительными предписаниями и искусственными формулами, если на всяком шагу грозит ему опасность перейти ту или другую черту, из множества намеченных в законе, — если при том пределы властей и ведомств, соприкасающихся в своем действии, перепутаны в самом законе множеством дробных определений, — тогда всякая власть теряется в недоумениях, обессиливается тем самым, что должно бы вооружить ее силою, т. е. законом, и подавляется страхом ответственности в такую минуту, когда не страху, а сознанию долга и права своего — надлежало бы служить единственным побуждением и руководством. Нравственное значение закона ослабляется и утрачивается в массе законных статей и определений, нагромождаемых в непрерывной деятельности законодательной машины, и напоследок самый закон — в сознании народном получает значение какой-то внешней силы, неведомо зачем ниспадающей и отовсюду связующей и стесняющей отправления народной жизни...

СУД ПРИСЯЖНЫХ

от что говорит знаменитый английский писатель, глубокий знаток истории (С. Ч. Мэн), о суде присяжных своей родины: «Народное правление вначале было тождественно с народным судом. Древние демократии занимались судом в гражданских и уголовных делах больше, чем делами политической администрации, и на самом деле, историческое развитие народного правосудия несравненно непрерывнее и последовательнее, чем развитие форм народного правления... Мы у себя, в Англии, имеем живой памятник и след народного суда в отправлении суда присяжных. Суд присяжных есть не что иное, как древняя, творящая суд демократия, но только поставленная в пределы, в измененных и улучшенных формах, соответственно с началами, выработанными опытом целых столетий, — согласованная с новою идеей судебного процесса. И те изменения, коим подверглось при том учреждение народного суда, в высшей степени поучительны. Вместо собрания народного — двенадцать присяжных. Все их дело состоит в том, чтобы ответить „да“ или „нет“ на вопросы, конечно, весьма важные, но имеющие отношение к предметам ежедневного быта. Для того, чтобы эти люди могли прийти к заключению, в помощь им существует целая система приспособлений и правил, выработанная до тонкости и достигающая высшей искусственности. В

исследовании дела они не предоставлены сами себе, но совершают его под председательством сведущего лица — судьи, представителя королевского правосудия; образовалась целая громадная литература руководственных правил, под условием коих предлагаются им доказательства спорных фактов, подлежащих их осуждению. С неуклонною строгостью устраняются от них всякие свидетельские показания, обличающие намерение склонить их в ту или другую сторону. К ним обращаются и теперь, как бывало в старину, на народном суде, стороны или представители сторон, но для охранения беспристрастия установлено новое действие, вовсе неизвестное на прежнем народном суде, именно — все исследование заключается самым тщательным изложением фактов, которое произносит искусный и опытный судья, обязанный званием своим к самому строгому беспристрастию. Если он сам впадает притом в ошибку, или в ответе присяжных обличается заблуждение, — вся процедура может быть уничтожена высшим судом сведущих людей.

Таков настоящий вид суда народного, выработанный целыми столетиями заботливой культуры.

Посмотрим же теперь, каков представляется народный суд в первоначальном виде, как его описывает, конечно с натуры, древнейший греческий поэт. Открывается заседание;

предлагается вопрос: виновен или не виновен. Старейшины высказывают по очереди свое мнение; а вокруг стоящее и судящее демократическое собрание заявляет рукоплесканиями свое сочувствие тому или другому мнению, — и взрывом рукоплесканий определяется решение. Вот какой характер носило на себе народное правосудие в древних республиках. Производившая суд демократия просто принимала, так сказать, с бою, то мнение, которое сильнее на нее действовало в речи тяжущегося, подсудимого и адвоката. И нет ни малейшего сомнения, что когда бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти в лице председателя-судьи, английские присяжные нашего времени еле по потянули бы со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумел бы на них подействовать».

Вот что говорит англичанин, глубокий знаток своей истории и глубокий мыслитель. Мысль невольно переносится к несчастному учреждению суда присяжных в тех странах, где нет тех исторических и культурных условий, при коих он образовался в Англии. Очевидно, многие, вводя это учреждение, только «слышали звон, да не знали, где он». Неразумно и легкомысленно было верить приговор о вине подсудимого народному правосудию, не обдумав практических мер и способов, как его поставить в надлежащую дисциплину, и не озаботившись исследовать предварительно чужеземное учреждение в истории его родины, и со сложною его обстановкой.

И вот, по прошествии долголетнего опыта, всюду, где введен с примера Англии суд присяжных, возникают уже вопросы о том, как заменить его, для устранения той случайности приговоров, которая из года в год усиливается. Эти вопросы возникают и обостряются и в тех государствах, где есть крепкое судебное сословие, веками воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практической дисциплины.

Можно себе представить, во что обращается это народное правосудие там, где, в юном государстве, нет и этой крепкой руководящей силы, но в замен того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатов, которым интерес самолюбия и корысти сам собою помогает достигать вскоре значительного развития в искусстве софистики и логомахии, для того, чтобы действовать на массу; где действует пестрое, смешанное стадо присяжных, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступны ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу фактов, требующих анализа и логической разборки: наконец — смешанная толпа публики, приходящей на суд как на зрелище, посреди праздной и бедной содержанием жизни; и эта публика, в сознании идеалистов, должна означать *народ*. Мудрено ли, что в такой обстановке оказывается тот же печальный результат, на который указывают вышеприведенные слова Чарльза Мэна: «присяжные слепо тянут со своим вердиктом на сторону того или другого адвоката, кто сумеет на них подействовать».

ХАРАКТЕРЫ

I

оварищ мой, Никандр, был для меня еще в училище предметом удивления. Казалось, ничего не было загадочного в его натуре, однако ж я никак не мог разгадать ее и с нею освоиться. Казалось, подойти к нему мог всякий, легко и удобно, но всякий раз, как мне случалось близко подходить к нему, я чувствовал, что между ним и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже сузить, что дальше идти уже некуда. Он был хорош со всеми, и все хороши с ним; он принимал участие во всем, что нас всех занимало и волновало, и, казалось, способен был все понять и говорить обо всем со всяким; но не видать было, чтоб он чему-нибудь отдавался, увлекался чем-нибудь. Когда беседа состояла из соблазнительных анекдотов, и у него был в запасе свой анекдот, то он звучал каким-то извне принесенным звуком; когда велись серьезные речи, вставлял и он свое верное

слово; когда кружок либеральничал, и он не оставался в долгу либеральной фразой; но она точно из книги была вынута. Когда мы все попадались в так называемую историю, и вода выступала у всех выше головы, и он не отставал от нас — упрекнуть его нельзя было, даже в прямой трусости, — но странное дело! когда вода сбывала, он выходил сух из нее и отряхался в минуту, тогда как мы все выходили мокрые и помятые.

Нельзя сказать, чтоб его не любили; но и сердечных друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни в ком случайно сказанное им слово не будило души и не поднимало мысли; но все считали его *способным* человеком; и хотя он был постоянно в успехе, успехи его почти ни в ком не возбуждали зависти. Он занимался прилежно, хотя не принадлежал к числу так называемых зубрил, и успешные ответы его давались ему, по-видимому, без особенных усилий. Не помнили, чтоб он когда-нибудь *срезался* в своих ответах: так все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звездой всего нашего класса, его выставляли вперед в показных случаях, о нем говорили, как о человеке, который пойдет далеко. Начальство наше было в восторге от его ответов, от его сочинений, от того, как он держал себя, от его приличного и обчищенного во всем внешнего вида и поведения. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочинения его, и ответы: я удивлялся только круглоте и гладкости, с которой все у него бывало обделано и налажено; но все, что он говорил, оставляло во мне какое-то впечатление неполноты, недостаточности: точно завтрак, прекрасно сервированный, из-за которого гость встает голодным.

Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандр пошел быстрыми шагами в служебной карьере. Через несколько лет, приехав в столицу, я застал его на значительном месте. И тут, по службе, имя Никандра звучало беспрестанно в устах у начальства с восторженной похвалой. Отовсюду слышалось: какой способный человек! Какое у него *перо*! И подлинно, по общему отзыву, Никандр обладал мастерством изложения, которое особенно ценил его начальник. Но я опять становился в тупик перед изложением Никандра и всеобщими похвалами, когда случалось мне читать бумаги, им писанные. Бумаги эти производили на меня то же впечатление, как и ответы его на экзаменах, — впечатление прекрасно сервированного завтрака, на котором есть нечего. Меня томил голод, а другие оказывались сытыми и довольными. В бумагах Никандра, в записках и докладах его выказывалось для меня ясно только уменье его, действительно мастерское, притупить и обольстить вкус, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель упускал из виду сущность и корень дела, сосредоточивал интерес свой на оболочке, на побочных и формальных его принадлежностях, на тех путях, по которым дело следует от истока своего до впадения; таким образом искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливого читателя до потребного результата, отмечая ту точку, к которой требовалось на сей раз прибуксировать дело. Казалось, все так ясно изложено было в обточенных фразах, но в сущности ничто не было ясно, все прикрывалось туманом; а дело, по бумаге, в конце концов обдeldывалось — *e sempre Бepe*.

Прожив еще несколько лет в своем углу, куда достигали от времени до времени новые хвалебные слухи о способностях Никандра, я снова приехал в столицу, и застал его на новом месте, еще более значительном. Тут пришлось мне быть свидетелем его деятельности и дивиться снова его умению, хотя оно не переставало казаться мне странным искусством. Но сам я, став уже старше годами и опытом, начал понимать, что много есть вещей в деловом мире, о которых не смеет и мечтать юношеская философия. Черты Никандровой физиономии стали выясняться передо мной, и он стал для меня любопытным предметом изучения уже не сам по себе, а в нераздельной связи с той средой, в которой совершалась его деятельность. Он говорит немного, но внимательно слушает: внимательно, хотя, по-видимому, равнодушно. Редко можно подметить в чертах лица его выражение оживленного участия: видишь иногда чуть-чуть тонкую тень беспокойства, когда рассуждения принимают тревожный характер, когда обнаруживается резкое различие в мнениях. Это беспокойство переходит даже в некоторое волнение, когда при разноречии затрагиваются и возбуждаются вопросы деликатного свойства, особенно когда спор угрожает повести к одному из явлений,

носящих название *скандала*. Все инстинкты Никандра направлены к изглажению всякой неровности в характерах, в ощущениях, в мнениях, к погашению всякого пререкания, к водворению согласия и спокойствия повсюду. Он уже тревожится, когда рассуждение начинает проникать в глубь предмета, когда оно пытается свести отдельные вопросы к общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласие в основной идее — всего упорнее и раздражительнее, он пускает в ход всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, с какой ловкостью старается он тогда свести противников с опасного поля и перевести их на другое, ровное и гладкое поле бирюлек, мелочей, подробностей и частных дел. На этом гладком поле он господин: тут небольшого уже труда стоит ему уверить спорщиков, что они в сущности согласны между собой, что не стоит им возбуждать вопросы, не имеющие существенного значения. На этом поле я не видал мастера, подобного Никандру, и подвиги его поразительны! Он умеет поставить перед собой противников, которых разделяет, по-видимому, непроходимая бездна коренного противоречия в основных мнениях о предмете: борьба происходит, по-видимому, между элементами, и кажется непримиримой. И что же, глядишь, в какие-нибудь десять минут Никандр успел наполнить эту бездну легким пухом, прикрыть ее тонким хворостом, — и противники уже переходят по ней, подавая друг другу руку! Никандр не любит основных идей; но недаром он опытен. Он знает, что основные идеи лежат большей частью в умах неглубоко, и почти всегда есть возможность отвести от глубины неуверенную мысль или смутное ощущение, стремящиеся в глубину. Для этого есть у него прием, который редко изменяет ему: против основных идей он умеет в крайнем случае выставить так называемые принципы, общие положения, решительные приговоры, на которые редко кто посмеет возразить. Есть волшебные слова, которыми очаровывается у нас всякое совещание — и Никандр умеет произносить их в нужную минуту. Такое словечко, вроде классического *Quos ego* — мигом успокаивает у нас поднявшиеся волны. «Всеми признано уже ныне», «новейшая цивилизация дошла до такого-то вывода», «статистические цифры доказывают», «во Франции, в Пруссии и т. п. давно уже введено такое-то правило», «такой-то европейский ученый, на такой-то странице, сказал то-то», «никто уже ныне не спорит, напр., что цена определяется пропорцией между спросом и предложением», и множество тому подобных изречений — вот волшебные орудия, творящие чудеса в наших рассуждениях. Но самое волшебное из волшебных слов — это: «*наука* говорит, в *науке* признано». Никандр давно уже понял, что этого слова — *наука* — мы боимся как черта и не смеем обыкновенно возражать на него. Мы чувствуем, что это палка о двух концах, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда нам ее предлагают. Возражать на это слово — *наука* — да ведь это значит возбуждать вопросы: какая наука, где она, откуда, почему, — и множество других, о которых конца не будет спору, и в которых мы чувствуем, что без конца перепутаемся. И так обыкновенно мы останавливаемся на этом слове, успокаиваемся и принимаем готовый результат науки, который предлагают нам, не мудрствуя лукаво о том, кто и по какому случаю и в каком смысле предлагает.

Век живи, век учись! Подлинно, я начинаю теперь только понимать, отчего в школе учителя наши так восхищались Никандром, отчего и в нынешней его деятельности все им довольны, все прославляют его гением дела. Говорят, что гений — тот, кто отвечает на вопросы времени, кто умеет постигнуть потребность эпохи, места, и удовлетворяет ей. Никандр умел понять вопросы времени, потребности среды, и удовлетворить им. Что нужды, что вопросы эти мелкие, что потребности эти немудреные! Все-таки он великий человек — и, увы, отчасти представитель великих деятелей нашего времени. Около него образовалась уже целая школа подобных ему деятелей. Как они все благоприличны, как они гладки, как ровно и плавно вступают в репутацию «способных» людей! Когда я вижу их, мне невольно приводит на мысль отрывочная сцена из Фауста: «Духи исчезают без всякого запаха. *Маршалок* с удивлением спрашивает *бискупа*: слышите вы, чем-нибудь пахнет? — Ничего не слышу, отвечает *бискуп*. А *Мефистофель* поясняет: Духи этого рода, государи мои, не имеют никакого запаха (*Diese art Geister stinken nicht, meine Herren*)».

II

Спокойно и без смущения смотрю я на Лаису, когда она, раскинувшись в пышной коляске, мчится по большой улице, отвечая улыбками на поклоны гуляющей знати; или сидит, полуодетая, полураздетая, в опере, и дамы большого света бросают на нее взгляды зависти, смешанной с презрением, — хотя презрение не мешает им, потихоньку, заимствовать от нее отдельные черты манер ее и туалетов. На лице у нее открыто написано, кто она, чего ищет, для чего живет, одевается и веселится на свете, и она носит на себе имя свое без лицемерия, хотя и без стыда. Когда она, озираясь вокруг себя на нарядные ложи, нахально лорнирует разряженных дам модного света, — ее нахальство не удивляет меня — и не возмущает: взор ее как будто говорит им: «я — подлинно та, за кого меня принимают, и мое лицо открыто; а вы — зачем в масках ходите?» Задумываюсь над участью Лаисы, и мне становится жаль ее: приходит на мысль, — какими судьбами жизнь привела ее на этот путь, какая среда ее воспитала и привила к ней жажду дикого наслаждения? Приходит на мысль: чем этот путь для нее закончится, и к какой плачевной старости приведет ее молодость прогорающая, в опьянении страсти?..

Лаиса живет в своем кругу, и ей закрыты двери салонов большого света. Но когда в этих салонах я встречаю гордую и величественную Мессалину, — душа моя возмущается, и я не могу смотреть на нее без негодования. Перед нею широко раскрыты все большие двери; нет знатного собрания, куда бы не приглашали ее и где бы не встречали ее с почетом; около нее кружится рой знатной молодежи; громкий титул, блестящая обстановка, роскошное гостеприимство — привлекают в ее салон всех, кто считает себя принадлежащим к избранному обществу. Все рассыпаются в похвалах ее красоте, ее вкусу, ее любезности, ее веселому нраву; словом сказать: «увенчанная цветами граций, она бодро шествует по земле благословенной». Но когда, взять зеркало правды, я спрашиваю себя, какая разница между знатной Мессалиной и презренной Лаисой, — увы! Лаису мне жаль, а к Мессалине я чувствую презрение.

Когда она является на бал, я смотрю на нее с ужасом, хотя многие на нее любят. Искусство обнажать не только шею и грудь, но и спину, и руки, доходит у нее до таких пределов, — до каких не простирается обычай у самой Лаисы, так что многие из постоянных ее посетителей с усмешкой смотрят на туалет Мессалины. Иные уверяют даже, что гость Лаисы не услышит от нее таких разнузданных речей, таких цинических шуток, какие слышит от Мессалины кавалер ее в мазурке, или сосед ее — в рулетке. Но на Лаисе лежит печать отвержения, а Мессалина — царит в салонах.

У Лаисы нет семьи, нет дома в настоящем смысле слова, — и она состоит *вне* семейного круга. У Мессалины, правда, есть муж, коего громкое имя она носит, и есть дом, великолепный, с целой когортой ливрейных лакеев на мраморной лестнице. Но какая связь соединяет ее с этим мужем, и для чего живут они под одной кровлей — это тайна, известная одной Мессалине. В ее салоне муж присутствует; муж сопровождает ее в другие салоны, и все покрывает собою. Но когда встречаются Мессалину — зимой на бешеной тройке, или весной на шумном гульбище в шикарном экипаже, запряженном рысаками, — некто другой, а не муж разделяет с нею часы забавы и веселости; и даже в присутствии мужа некто другой кажется ближе к ней и вольнее с нею обходится... И вот что удивительно: встречая Лаису с одним из рыцарей избранного круга, многие стыдливо смотрят в сторону, но когда встречаются они Мессалину с ее излюбленным спутником из той же компании, приветливо раскланиваются и потом шепчутся между собой с улыбкой. О, добродетель и честь светского общества, кто распознает пути твои!

Мессалина мать — у нее есть дети, но какая нравственная связь существует у этой матери с детьми, — не распознаешь. Она почти не видит их и почти не знает, что с ними делается. В особом отделении дома живут они с гувернантками и в определенный час являются, в виде бабочек, в костюмах последней моды, с голыми руками и ногами, принять

от матери поцелуй и удалиться восвояси. Ей нет времени думать и о детях, посреди нервного возбуждения, в котором проходят дни ее и ночи. Засыпая рано поутру, просыпаясь поздним утром, едва соберет она расшатанные чувства свои, как уже принимает гостя, потом едет гулять с ним, потом принимает гостей в своем салоне, перебирая с ними вести и сплетни и скандалы вчерашнего дня и нынешнего утра, и составляя инвентарь настоящих и предстоящих развлечений и праздников. Одевается утром, одевается к обеду, одевается в оперу, одевается на бал, или на вечер. В чем интерес ее жизни? где умственные или нравственные пружины, которые приводят ее в движение? К какому центру собираются мысли ее и желания? На эти вопросы не находишь ответа, когда видишь переливание из пустого в порожнее, составляющее всю жизнь ее. На столе у нее лежат книги, — но едва ли ее видали читающей. Уединение нестерпимо для нее; — быть на людях — непереносимая ее потребность: для чего? Для какой-то бессмысленной игры в непрерывное *развлечение*. Жизнь должна представляться ей чем-то вроде непрерывного праздника, во вкусе картин Ватто, с электрическим освещением. Натуральный человек, сколько бы ни стремился наслаждаться по своему желанию, спотыкается поневоле о заботу, о болезнь, о горе и утрату — и перед ним встает призраком таинственная идея жизни и смерти. Мессалина неуязвима и тут. Что для нее забота о доме, о семье, о детях? Это дело управляющего, в крайнем случае дело мужа. Болезнь? Но она крепка здоровьем и привыкла настраивать свои нервы — на то есть доктор, на то есть крепкие капли хлорала. Горе? Есть ли такое горе, которое нельзя бы прогнать — можно уехать в Баден, в Монако, где столько сильных ощущений, наконец в Париж, где с помощью Борта нетрудно стряхнуть с плеч всякое горе. Иногда *стыд* появляется там, где его не спрашивают, — но как он посмеет перейти порог великолепных чертогов, куда съезжаются все такие почетные, все такие знатные люди есть и пить, и праздновать, и любоваться хозяйкой, где разряженные дамы рассказывают друг другу про любовные игры свои и похождения, где слышится во всех углах щебетанье взаимного самодовольства и беззаботной веселости, где все извиняют друг другу все — кроме строгого отношения к нравственным началам жизни... Страшна, казалось бы, *старость* для светской женщины? Но разве парижская наука не изобрела надежных средств против натурального увядания красоты, и разве мало старух, которые являются молодыми с помощью фальшивого румянца, фальшивой кожи, фальшивых волос и даже бюста фальшивого? Наконец — смерть, ведь стоит за плечами у каждого... смерть — *смерть* — но — *franchement, apres tout*, — кто же думает о смерти!

Казалось бы — есть одно место, откуда слышится гроза и веет страхом. Все ложь — в жизни и обстановке Мессалины. Роскошь, ее окружающая, дом ее с великолепным убранством, расставленные по лестнице величественные лакеи, тысячные наряды ее и уборы — все это ложь, все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это, и давно уже, в сущности не ее, а чужое, мнимое, потому что счет уже потерян долгам ее и ее супруга, и счета из магазинов, ей предъявленные, давно уже составляют безобразную кучу, в которой никто не умеет разобраться. Имена ее заложены и назначаются то и дело в публичную продажу, заводы то и дело останавливают свое действие, заимодавцы пристают с требованиями и предъявляют иски. Но каким-то волшебством все это распутывается в критические минуты — имена освобождаются от продажи, заводы восстанавливают свое действие, заимодавцы, подобно завоевателю, гонимому неведомым страхом, рассеиваются и притихают — и Мессалина объявляет в своих чертогах бал, на котором присутствует избранное общество, — и нет конца восторженным похвалам блеску и вкусу, и великолепию бала... Ни для кого из блестящих гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая, — но все летят как ночные бабочки на яркий свет, на роскошное убранство, не спрашивая, чье оно и откуда, все довольны, все восхищаются: таковы узы дружбы, связующей воедино толпу людей, вместе жаждущих наслаждения и возбуждения, и вместе кланяющихся идолу тщеславия. Однажды, казалось, совсем гибель настает для Мессалины, и уже нет спасения: какие жалостные речи поднялись тогда об ней в гостиных! «Слышали вы: бедная Мессалина — дела их очень плохи. Говорят, что у них осталось уже не более 20

тысяч рублей дохода — ведь это ужасно, ведь это нищета — не правда ли?» Можно ли потерпеть такое разорение такого дома? Полетели изо всех углов ходатайства и мольбы, и вот, точно волшебным велением, благоприятный ветер принес немалые деньги для поправления дел в расстроенном хозяйстве... Итак, мудро ли, что Мессалина беззаботна и никакими страхами не смущается. Гордо выступают они с супругом, прямо глядя в глаза всем и каждому; сколько раз, когда случается встречать их, приходит на мысль стих из Расиновой Федры: «Боги, кои любите их и награждаете, — неужели за добродетели?»

Мессалина, и подобные ей, живут на высотах, никогда не спускаясь в долину. Смотришь к ним наверх и с изумлением спрашиваешь себя: как эти люди, дыша всегда воздухом горных высот, не задохнутся? Или, подобно олимпийцам, питаются они амброзией? Они видят и слышат только подобных себе, и все дела, заботы, печали и радости людей дольного мира представляются им в туманной картине, долетают к ним как дальнее жужжанье насекомых. Посмеет ли бедность и горе проникнуть в раззолоченные их чертоги, не в виде идеи и понятия, а в виде живого страждущего человека, и стать в личное к ним сочувственное отношение? Боже избави сказать, что они злые люди: нет, многие из них добрые люди и исполнены самых благих намерений; но им некогда остановиться и сосредоточиться в круговороте дня, посвященного от минуты до минуты исканию наслаждений и развлечений, условным обязанностям и условным приличиям того круга, в коем они вращаются. Иные, когда просыпается в них совесть, клянут себя и свой образ жизни, и говорят: «Завтра начну по-человечески». Но это завтра никогда не приходит, потому что назавтра же неумолимый устав очарованного круга начертал расписание часов, забав и условных обязанностей...

Одно из самых тонких искусств — искусство обманывать себя и успокаивать свою совесть — и в этом искусстве человечество упражняет себя с тех пор, как мир существует: мудро ли, что приемы его доведены до виртуозности. Люди, живущие условной жизнью замкнутого круга, не могут успокоиться на той мысли, что им нет дела до того, что происходит в жизни обыкновенных смертных, нет дела до нищеты, нужды и бедности. Надо и им показать, что ничто человеческое для них не чуждо. И вот, изобретено для того орудие учреждений общественной благотворительности — прекрасное средство для очистки личной совести отдельного человека. *Учреждение* само по себе существует и действует, подобно всякому учреждению, действует по регламентам и уставу; а *человек*, человек со своей совестью, с своим чувством, с личной энергией воли, живет сам по себе, вольно, и всякую печаль, которая портила бы жизнь его, стесняла бы свободу его, отнимала бы у него вольное время, — слагает на *учреждение*...

При помощи такого гениального изобретения, в том очарованном круге, где блесит и господствует Мессалина, *ядущее* превращается в *ядомое*, из *горького* происходит *сладкое*, и дело благотворения, дело жалости и боли душевной, дело взаимного сочувствия между сынами праха во имя высшего духовного начала любви, — превращается в один из видов общественного увеселения и представляет из себя ярмарку тщеславия.

И вот, в каком виде является Мессалина покровительницей бедных, благодетельницей страждущего человечества. Я видел ее в эти минуты, как она стояла, в свете электрического освещения, под звуки бального оркестра за одной из лавочек, артистически устроенных в великолепных залах большого дома, на одном из так называемых *Базаров благотворительности*. Она была ослепительно красива в своем блестящем туалете, только что полученном из Парижа и стоившем бешеных денег. Около нее толпились покупатели, таявшие от взгляда ее и улыбки, и выручка ее в этот день возбуждала зависть во множестве соседних лавочек. Она сошла в этот день со своего места с гордым сознанием исполненного долга и нового, изведенного торжества, — хотя вся ее выручка, как и выручка подруг ее, не достигала цены тех туалетов, которые она на себе носила... Невольно приходило на мысль: какая громадная сумма составила бы из сложения всех тех цифр, которые принесли в залу на плечах своих эти благодетельные особы!

В этом собрании не было места Лаисе — и зачем ей быть здесь? Лаиса презренная

женщина; «отчаянная жития ради и уведомая нрава ради». Но — была однажды такая же, как она, носившая в себе огонь *любви*, в диком блуждании по распутьям мира. Много и долго грешила она, но все ее грехи были отпущены ей потому, что любила она много, хотя не знала до последней встречи с истинным началом любви, — куда девать любовь свою. — Но кого, кроме себя, любила и любит Мессалина, и какой огонь носит она в себе?

III

Есть люди сухие и не очень умные, с которыми можно говорить серьезно, на которых можно положиться, потому что у них есть твердое, определенное мнение, есть известный характер, который неизменно в них является. Есть люди умные и значительные, которых нельзя разуть серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть только ощущения, которые постоянно меняются. Таковы бывают нередко так называемые художественные натуры: вся жизнь их — игра сменяющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. И выражая их, они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым актерам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действительной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в какую сторону направится их деятельность, как выразится их воля, какую окраску примет их слово в решительную минуту...

Такое развитие мысли и чувства — к сожалению — обычное явление у нас, и особенно между людьми даровитыми по природе. Способности их развиваются — в художественную сторону: не видать у них ясной и определенной идеи, на которой стоит человек, и которая держит его в жизни и деятельности, — но все перешло в ощущение. Они способны вдохновляться всякой средой, в которую случайно попадают, быть проповедниками и певцами всякой идеи, какую в этой среде зацепили и какая имеет в ней ход. — Впадая притом в непрерывные противоречия — сегодняшнего со вчерашним, они умеют искусно соглашаться эти противоречия и переходить от одного к другому искусной игрой в оттенки всякой мысли и в переливы всякого ощущения. В политической или служебной сфере такие люди — иногда бессознательно — делаются карьеристами, привыкая идти по течению ветра, который дует в ту или иную сторону, и одухотворять в себе всякое попутное веяние. Между государственными людьми, произносящими речи в собраниях, между прокурорами и адвокатами нередко встречаются такие примеры: вдохновляясь впечатлением минуты, тот же человек, который сегодня был строгим, неумолимым судьей неправды, завтра является ее защитником, будет с горячим убеждением, с порывом вдохновения отстаивать совсем противоположную идею и отыскивать черты красоты в том явлении, которое вчера обличал в нравственном безобразии.

Свойство талантливого актера вдохновляться каждой ролью и входить в душу и характер каждого лица, которое он представляет. Но вместе с тем потому он и предается этому искусству, потому и способен переживать моменты характерного действия в лице представляемом, что перед ним масса зрителей, коих душа сливается в эти моменты с его душой — стало быть, вдохновляясь своей ролью, он в то же время вдохновляется массой публики. Вот почему так увлекательно действует лицедейство, доходя до страсти и в актере, и в зрителях. То же ощущение свойственно всякому оратору в общественных собраниях: действуя, то есть разглагольствуя в той или другой идее, в том или другом направлении, и, вдохновляясь своей задачей, он в то же время вдохновляется той средой, в которой действует, не отрешаясь ни на минуту от своего я, а свое я стремится у него к возбуждению в этой среде ощущений, — сочувствия или восторга. И это стремление может доводить до страсти талантливую натуру, так что она неудержимо ищет *сцены* для своего искусства, упражняя его на всякой сцене, в многочисленном собрании, в беседном кружке гостиной или кабинете, применяясь к настроению каждого кружка и вдохновляясь всяким цветом, каким он окрашен.

Таковыми людьми изобилуют совещательные и законодательные собрания: можно

сказать, что из них образуется большинство, составляющее решительные приговоры. Противовесом им, казалось, могли бы служить люди серьезного дела и твердого направления; но эти люди редко бывают сильны словом, т. е. не умеют владеть орудием, которым располагают свободно их противники, люди ощущения и натиска. Чем многочисленнее собрание, тем более смешанным представляется состав его, тем менее оно способно уразуметь идею вопроса, обнять фактическое его содержание и уразуметь в нем правду и неправду, — и тем более способно увлекаться ощущением, — иногда ощущением минуты, которое произвел тот или другой оратор. Немногие приступают к делу, ознакомившись с ним предварительным его изучением, добросовестно: остальные являются в собрание, не имея точного понятия о деле или со смутным о нем представлением, или приступают к нему с предрассудком и предрасположением. В таком собрании художник слова является господином ощущения: искусно орудуя расположением фактов и чисел, набрасывая на них свет и тени по своему усмотрению, возбуждая одних пафосом, запугивая других иронией, он овладевает полем, и борьба с ним за истину становится крайне затруднительна, а иногда и невозможна для человека, не умеющего орудовать фразой, но орудующего строгой связью логического рассуждения. Его аргументы недоступны множеству людей, увлеченному ощущением, и чем он совестливее, чем живее ощущает нравственную ответственность за свое мнение, тем труднее для него одолеть безответственное большинство, не имеющее совести, — ибо какая может быть совесть в огульном мнении, лишенном единства и цельности и объединяющемся одной лишь цифрой голосов? Цифра — вот что служит ныне, к сожалению — конечным критерием истины и решительной санкцией приговоров, коими решаются нередко важнейшие вопросы государственной политики...

IV

Тип Мольеровского Гарпагона имеет много разновидностей, которые мало еще подвергались художественной разработке. Странно, что в комедии до сих пор никто не обратил внимания на особый вид скряжничества — скряжничество *временем*; а это сюжет богатый.

Как Мольеров скупой копил деньги и дрожит над ними, так иного рода скряга копил время и дрожит над ним, не делая из него сам производительного употребления, или — любясь только своим капиталом, как скупой любит червонцами. Деньги ожили бы, если б ожила душа, ими владеющая, и стали бы в руках у человека могучим орудием плодотворной производительности и разумного благотворения: подобно всякой силе, деньги требуют живого обращения. О времени уже сказали англичане, что время — те же деньги. Живая душа должна пускать его в обращение, издерживать его производительно, не жалея, но и не расточая, не разматывая.

Наш общественный быт богат этими двумя крайностями. С одной стороны, у нас слишком много праздных сил, и чрезвычайно развито мотовство временем у людей, не знающих куда девать его. Столкновение людей этого типа с людьми работающими и дорожащими временем представляет положения, не лишенные комизма. С другой стороны, мы нередко встречаем у себя скопидомов времени — и, к сожалению, не редкость встречать их между так называемыми деловыми людьми, даже сущими во власти.

Боязнь потерять время доходит иногда у такого человека до нервного раздражения, заставляющего его запирается от людей и смотреть, как на вора и похитителя, на всякого, кто является к нему с живым делом, для объяснения или просьбы. Оттого иных людей и сущих во власти бывает так трудно видеть даже за самым нужным делом. Единственный способ сообщения с ними — письмо или бумага: письменные сообщения действуют на них успокоительно, хотя соединенное с ними канцелярское производство требует гораздо большей траты времени, нежели личное объяснение. Может быть, это одна из причин сильного развития, которое получает у нас бумажное дело. Спросите такого человека, зачем

он так ревниво запирается и копит свое время: он скажет, что всякая минута дорога ему. Но если присмотреться ближе, на что идут у него эти минуты и часы, приходится только подивиться, из-за чего он хлопочет, из-за чего отрезывает себя от жизни, от людей, от живой действительности и сидит, подобно Гарпагону, над своим сокровищем.

V

Ксенофон в своих воспоминаниях о Сократе рассказывает поучительную историю одного молодого афинянина, который, не имея еще 20 лет от роду, задумал попасть в государственные люди и стал усердно произносить публичные речи, в надежде привлечь к себе народное расположение. Когда он пришел к Сократу, Сократ спросил его: «Слышу я, Главкон, что тебе очень хочется иметь власть в государственном управлении?» — «Да, признаюсь, хочется». — «Какая прекрасная доля, — сказал ему Сократ, — управлять государством, сколько можно сделать добра своему отечеству! в какую честь поставить себя и весь дом свой! как можешь прославиться в Афинах, — да и не в одних Афинах! Фемистокл был славен и между варварами... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласен со мною, что такая честь не дается даром: надо чем-нибудь заслужить ее?» — «О, конечно», — спешил отозваться Главкон. — «Скажи же мне, — продолжал Сократ, — с чего ж бы ты начал, например?» Молодой человек не давал ответа; он еще ни разу не думал с чего начать. — «Однако, посмотрим; например, говорят: казна нужнее всего для государства: ты, конечно, старался бы прибавить доходов казне?» — «Разумеется, так». — «Любопытно знать, с чего бы ты начал? Конечно, тебе уж очень известно, с каких статей казна получает доходы, и сколько получает, и откуда?» Юноша должен был признаться, что не знает этого в точности. — «Ну, в таком случае, скажи мне, какие расходы тебе кажутся лишними, какие ты хотел бы сократить?» — «Признаюсь, что я не имел до сих пор времени и об этом хорошенько подумать. Но мне казалось, Сократ, что нечего много и думать об этом, когда можно устроить казну на счет неприятеля...» — «Правда твоя, но для этого необходимо побеждать неприятеля, быть сильнее его; а ежели он сильнее, то еще и он, пожалуй, твое отнимет. Стало быть, если рассчитываешь на войну, надо знать в точности свою силу и неприятельскую. А ты знаешь ли, скажи мне, сколько у нас сухопутных сил, сколько морских сил, и каковы силы у наших неприятелей?» — «Так, из головы, в одну минуту не могу тебе рассчитать». — «Все равно, — продолжал Сократ, — если у тебя где-нибудь записано, посмотрим вместе». Но и на письме у Главкона ничего не оказалось. «Ну, хорошо, — начал опять Сократ, — я вижу, и эту статью нам придется покуда оставить, видно, еще время ей не пришло. Но уж, наверное, ты знаешь все, что относится до внутренней охраны государства: сколько где есть и сколько потребно постов для внутренней стражи, где чего недостает и надо прибавить, где что лишнее и надо убавить?» — «Да, по правде сказать, — отвечал Главкон, — я бы всех их уничтожил, когда бы от меня зависело. Что у нас за стража — стоит ли держать ее, когда повсюду воровство такое, что никто не убережется!» — «Как же так? ведь, если снять отовсюду караулы, то воры будут грабить на воле, среди белого дня... Да разве тебе это дело так близко известно, и ты подлинно знаешь, что никуда не годится наша полиция?» — «Так мне кажется; все говорят, что так». — «Нет, Главкон, тут мало предполагать, а надо знать подлинно». И Главкон должен был согласиться с Сократом. «Ну, вот, — спросил еще Сократ, — ты хочешь управлять государством. Знаешь ли ты, сколько в нашем городе требуется в год пшеницы для народного продовольствия, каков может быть домашний запас ее и сколько еще потребно закупить из-за границы?» — «Как все это знать, Сократ, — отвечал молодой человек, — ты столько спрашиваешь, что надо предпринять страшную работу, чтобы тебе ответить». — «Но ведь нельзя без этого, Главкон; своим домом не управишь, не зная, сколько чего для дому требуется, а государством много труднее управить, нежели домом. Вот у тебя свой дом, т. е. дом твоего дяди, расстроен: начни с этого — исправь дядин дом, и увидишь, достанет ли у тебя умения и силы». — «Да я охотно взялся бы за это дело, только дядя советов моих не слушает». —

«Как? — сказал на это Сократ, — ты не можешь уговорить своего дядю, и воображаешь, что в состоянии всех афинян, вместе и с дядей, убедить своими речами?» ...Беседа эта заключилась, наконец, тем, что молодой человек образумился, стал учиться и перестал произносить речи в народных собраниях.

Эту простую и старинную историю кстати припомнить в настоящее время, когда вся земля кишит Главконами, стремящимися к государственной деятельности на поприще всевозможных преобразований; когда юноши, едва покинувшие школьную скамью, притом плохо обсиженную, начинают уже строчить в канцеляриях полуграмотные проекты новых уставов или произносят речи, нанизывая фразу за фразой. Только в ту пору был Сократ, к которому родные привели молодого честолюбца, заметив, что он становится смешон с своим пустым красноречием. А в наше скудное время нет никакого Сократа, да если б и был он, Главконы наши не пошли бы к нему и не стали бы его слушать. Пустые речи их звучат в собрании подобных же им слушателей, надувая оратора непобедимым самодовольством и непогрешимой самоуверенностью; проекты их проходят без критики и возбуждают еще иногда удивление, вместо смеха; перед ними раскрывает ровные свои ступени та желанная лестница, по которой восходят, окрыленные фразой, новейшие деятели...

ВЛАСТЬ И НАЧАЛЬСТВО

сть в душах человеческих сила нравственного тяготения, привлекающая одну душу к другой; есть глубокая потребность воздействия одной души на другую. Без этой силы люди представлялись бы кучей песчинок, ничем не связанных и носимых ветром во все стороны. Сила эта естественно, без предварительного соглашения, соединяет людей в общество. Она заставляет в среде людской искать другого человека, к кому приражаться, кого слушать, кем руководствоваться. Одушевляемая нравственным началом, она получает значение силы творческой, совокупляя и поднимая массы на великие дела, на великие подвиги.

Но для общества гражданского недостаточно этого вольного и случайного взаимного воздействия... Естественное, как бы инстинктивное стремление к нему, огустевая и сосредоточиваясь, ищет *властного*, непрерываемого воздействия, которым объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всеми разнообразными ее потребностями, вожделениями и страстями, в котором обретала бы возбуждение деятельности и начала порядка, в котором находила бы посреди всяких извращений своеволия, — мерило *правды*. — Итак, на *правде* основана, по идее своей, всякая власть, и поелику правда имеет своим источником и основанием Всевышнего Бога и закон Его, в душе и совести каждого естественно написанный, — то и оправдывается в своем глубоком смысле слово: *нестъ власть, аще не от Бога*.

Слово это сказано *подвластным*, но оно относится столь же внушительно и к самой власти, и о, когда бы сознавала всякая власть все его значение! Великое и страшное дело — власть, потому что это дело — *священное*. Слово *священный* в первоначальном своем смысле значит: *отделенный*, на службу Богу обреченный. Итак, власть — *не для себя* существует, но ради Бога, и есть *служение*, на которое *обречен* человек. Отсюда и безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страшная тягота ее.

Сила ее безгранична, и не в материальном смысле, а в смысле духовном, ибо это сила рассуждения и творчества. Первый момент мироздания есть появление *света* и отделение его от *тьмы*. Подобно тому и первое отправление власти есть обличение *правды* и различение *неправды*: на этом основана вера во власть и неудержимое тяготение к ней всего человечества. Сколько раз и повсюду вера эта обманывалась, и все-таки источник ее остается цел и не иссякает, потому что без правды жить не может человек. Отсюда происходит и творческая сила власти — сила привлекать людей добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять их на дела и подвиги. — Власти принадлежит и первое и последнее слово — альфа и омега в делах человеческой деятельности.

Сколько ни живет человечество, не перестает страдать то от власти, то от безвластия. Насилие, злоупотребление, безумие, своекорыстие власти — поднимает мятеж. Изверившись в идеале власти, люди мечтают обойтись без власти и поставить на место ее слово закона. Напрасное мечтание: во имя закона возникающие во множестве самовластные союзы поднимают борьбу о власти, и раздробление властей ведет к насилиям — еще тяжелее прежних. Так бедное человечество в поисках лучшего устройства носится точно по волнам безбрежного океана, в коем бездна призывает бездну, кормила нет — и не видать пристани...

И все-таки — без власти жить ему невозможно. В душевной природе человека, — за потребностью взаимного общения, глубоко таится — потребность власти. С тех пор как раздвоилась его природа, явилось различие добра и зла, и тяга к добру и правде вступила в душу его в непрестающую борьбу с тягой к злу и неправде, — не осталось иного спасения, как искать примирения и опоры в верховном судии этой борьбы, в живом воплощении властного начала порядка и правды. Итак, сколько бы ни было разочарований, обольщений, мучений от власти, человечество, доколе жива еще в нем тяга к добру и правде, с сознанием своего раздвоения и бессилия, не перестает верить в идеал власти и повторять попытки к его осуществлению. Издревле и до наших дней безумцы говорили и говорят в сердце своем: нет Бога, нет правды, нет добра и зла, — привлекая к себе других безумцев и проповедуя безбожие и анархию. Но масса человечества хранит в себе веру в высшее начало жизни, и посреди слез и крови, подобно слепцу, ищущему вождя, ищет для себя власти и призывает ее с непрестающей надеждой, и эта надежда — жива, несмотря на вековые разочарования и обольщения.

Итак, дело власти есть дело непрерывного служения, а потому в сущности — дело *самопожертвования*. Как странно звучит, однако, это слово в ходячих понятиях о власти. Казалось бы, естественно людям бежать и уклоняться от жертв. Напротив того — все ищет власти, все стремится к ней, из-за власти борются, злодействуют, уничтожают друг друга, а достигнув власти, радуются и торжествуют. Власть стремится *величаться*, и величаясь, впадает в странное мечтательное состояние, как будто она сама для себя существует, а не для служения. А между тем непререкаемый, единый истинный идеал власти — в слове Христа Спасителя: «Кто хочет быть между вами первым, да будет всем слуга». Слово это мимо ушей у нас проходит, как нечто не до нас относящееся, а до какого-то иного, особого, в Палестине бывшего сообщества — но поистине, какая власть, как бы ни была высока, какая, в глубине своей совести, не сознается, что чем выше ее величие, чем больший объемлет круг деятельности, тем тягостнее становятся ее узы, тем глубже раскрывается перед ней свиток язв общественных, в коих написано столько «рыдания и жалости и горя», тем громче раздаются крики и вопли о неправде, проникающие душу и ее обязывающие. Первое условие власти есть вера в себя, т. е. в свое призвание: благо власти, когда эта вера сливается с сознанием долга и нравственной ответственности. Беда для власти, когда она отделяется от этого сознания и без него себя ощущает и в себя верит. Тогда начинается падение власти, доходящее до утраты этой веры в себя, то есть до унижения и разложения.

Власть, как носительница правды, нуждается более всего в людях правды, в людях твердой мысли, крепкого разума и правого слова, у коих *да* и *нет* не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздельно возникают в духе и в слове выражаются. Только такие люди могут быть твердой опорой власти и верными ее руководителями. Счастлива власть, умеющая различать таких людей и ценить их по достоинству и неуклонно держаться их. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитает им людей склонного нрава, уклончивого мнения и языка льстивого.

Правый человек есть человек цельный — не терпящий раздвоения. Он смотрит прямо очами в очи, и в очах его видится один образ, одна мысль и чувство единое. Вид его спокоен и бесстрашен, и язык его не колеблется направо и налево. Мысль его сама с собой согласна и высказывается не допытываясь, с чьим мнением согласна она, кому приятна, чьему желанию или чьей похоти соответствует. Слово его просто и не ищет кривых путей и лукавых

способов — убедить в том, в чем мысль, порождающая слово, не утвердилась в правду.

Не таков человек, не утвержденный в мысли, двоедушный и лстивый. Он глядит вам в очи, но в его очах вы не его одного видите — но кто-то другой еще стоит сзади и выглядывает на вас, и не знаешь, кому верить — этому или тому, другому? Говорит, и хотя бы красна и горяча была речь его, на уме у него: какое она произвела на вас впечатление, согласна ли она с вашим желанием или прихотью, и если вы на нее отзоветесь, он обернет ее к вам и скажет, что вы ее создатель, что он от вас ее заимствовал. Мимолетное слово ваше он схватит на лету, облечет в форму и понесет в виде твердой мысли, в виде решительного мнения. Чем способнее такой человек, тем искуснее успеет пользоваться вами и направлять вас. Вы затрудняетесь или сомневаетесь — у него готово решение, которое выведет вас из затруднения, из беспокойства, в покой самодовольствия. Вы колеблетесь распознать, на которой стороне правда — у него готовы аргументы и формулы, способные убедить вас в том, что казавшееся вам сомнительным и есть сущая правда.

Бумага все терпит — такова старинная пословица, образовавшаяся в то время, когда грамотейство было почти исключительно бумажное, и одна бумага служила материалом и орудием крючкотворства. Наступило другое время — бумага осталась, но над ней стала господствовать устная речь, и пришлось удивляться новейшему крючкотворству в речах бесчисленных ораторов. Возникла новая школа, в которой и невежды одинаково с умными и учеными стали обучаться искусству красно говорить, о чем бы то ни было, красно доказывать истину — чего угодно, и вести искусную игру, рассчитанную на впечатлительность слушателей. Образовалась новая порода людей, из среды коих пополняются нередко ряды практических деятелей, администраторов, судей, педагогов. Счастлив, кто, пройдя эту школу, успел еще сохранить в себе твердую мысль, добросовестность суждения и способность опознаться в истине посреди тучи общих взглядов и формул новейшей софистики; словом сказать, кто, пройдя училище *двоедушия*, успел остаться *прямодушным*.

Начальнику должно быть присуще сознание *достоинства* власти. Забывая о нем и не соблюдая его, власть роняет себя и извращает свои отношения к подчиненным. С достоинством совместна, и должна быть неразлучна с ним, *простота* обращения с людьми, необходимая для возбуждения их к делу и для оживления интереса к делу, и для поддержания искренности в отношениях. Сознание достоинства воспитывает и *свободу* в обращении с людьми. Власть должна быть *свободна* в законных своих пределах, ибо при сознании достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о том, как она покажется, какое произведет впечатление и какой иметь ей приступ к подступающим людям. Но сознание достоинства должно быть неразлучно с сознанием долга: по мере того как бледнеет сознание *долга*, сознание достоинства, расширяясь и возвышаясь не в меру, производит болезнь, которую можно назвать *гипертрофией* власти. По мере усиления этой болезни, власть может впасть в состояние нравственного помрачения, в коем она представляется *сама по себе* и *сама для себя* существующей. Это уже будет начало *разложения* власти.

Сознавая достоинство власти, начальник не может забыть, что он служит зеркалом и примером для всех подвластных. Как он станет держать себя, так за ним приучаются держать себя и другие — в приемах, в обращении с людьми, в способах работы, в отношении к делу, во вкусах, в формах приличия и неприличия. Напрасно было бы воображать, что власть, в те минуты, когда снимает с себя начальственную тогу, может безопасно смешаться с толпой в ежедневной жизни толпы, на рынке суеты житейской.

Однако, соблюдая свое достоинство, начальник должен столь же твердо соблюдать и достоинство своих подвластных. Отношения его к ним должны быть основаны на доверии, ибо в отсутствии доверия нет нравственной связи между начальником и подчиненным. Беда начальнику, если он вообразит, что *все* может знать и обо *всем* рассудить непосредственно, независимо от знаний и опытности подчиненных, и захочет решить *все*

вопросы одним своим властным словом и приказанием, не справляясь с мыслью и мнением подчиненных, непосредственно к нему относящихся. В таком случае он скоро почувствует свое бессилие перед знанием и опытностью подчиненных и кончит тем, что попадет в совершенную от них зависимость. — Пушная беда ему, если он впадает в пагубную привычку не терпеть и не допускать возражений и противоречий: — это свойство не одних только умов ограниченных, но встречается нередко у самых умных и энергических, но не в меру самолюбивых и самоуверенных деятелей. Добросовестного деятеля должна страшить привычка к произволу и самовластию в решениях: — ею воспитывается — *равнодушие*, язва бюрократии. Власть не должна забывать, что за каждой бумагой стоит или живой человек или живое дело, и что сама жизнь настоятельно требует и ждет соответственного с ней решения и направления. В нем должна быть *правда* — *личная* — в прямом, добросовестном и точном воззрении на дело, — и еще *правда* — в соответствии распоряжения с живыми социальными, нравственными и экономическими условиями народного быта и народной истории. Этой правды нет, если руководящим началом для власти служит отвлеченная *теория* или *доктрина*, отрешенная от жизни с особливими многообразными ее условиями и потребностями.

Чем шире круг деятельности властного лица, чем сложнее механизм управления, тем нужнее для него подначальные люди, способные к делу, способные объединить себя с общим направлением деятельности к общей цели. Люди нужны во всякое время и для всякого правительства, а в наше время едва ли не нужнее чем когда-либо: в наше время правительству приходится считаться со множеством вновь возникших и утвердившихся сил — в науке, в литературе, в критике общественного мнения, в общественных учреждениях с их самостоятельными интересами. Умение найти и выбрать людей — первое искусство власти; другое умение — направить их и ввести в должную дисциплину деятельности.

Выбор людей — дело *труда* и приобретаемого трудом *искусства* распознавать качества людей. Но власть нередко склоняется устранять себя от этого труда и заменяет его внешними или формальными *признаками качеств*. Самыми обычными признаками этого рода считаются *патенты* окончания курсов высшего образования, патенты, приобретаемые посредством экзаменов. Мера эта, как известно, весьма неверная и зависит от множества случайностей, стало быть, сама по себе не удостоверяет на самом деле ни *знания*, ни тем менее, *способности* кандидата к тому делу, для коего он требуется. Но она служит к избавлению власти от труда всматриваться в людей и опознавать их. Руководствуясь одной этой мерой, власть впадает в ошибки, вредные для дела. Не только способность и умение, но и самое *образование* человека не зависит от выполнения учебных программ по множеству предметов, входящих в состав учебного курса. Бесчисленные примеры лучших учеников — ни на какое дело негодных, — и худших, оказавшихся замечательными деятелями — доказывают противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь с той минуты, когда они прикоснулись к живой реальности дела: до тех пор наука, в виде уроков и лекций, оставляла их равнодушными, потому что они не чуяли в ней реального интереса: такова была история развития многих великих общественных деятелей.

Начальник обширного управления с обширным кругом действия не может действовать с успехом, если захочет, без должной меры, простирая свою власть непосредственно на все отдельные части своего управления, вступаясь во все подробности делопроизводства. Самый энергический и опытный деятель может даром растратить свои силы и запутать ход дел в подчиненных местах, если с одинаковой ревностью станет заниматься и существенными вопросами, в коих надлежит ему давать общее направление, и мелкими делами текущего производства. Место его наверху дела, откуда может он обозревать весь круг подчиненной деятельности: спускаясь непосредственно во все углы и закоулки управления, он потеряет меру труда своего и своей силы и способность широкого кругозора, расстроит необходимое во всяком практическом деле разделение труда и ослабит в подчиненных нравственный

интерес деятельности и сознание нравственной ответственности каждого за порученное ему дело. — С другой стороны, ошибется главный начальник, если предоставит себе лично выбор не только лиц непосредственно от него зависящих, но и всех второстепенных деятелей и работников, подчиненных начальникам отдельных частей управления: в таком случае он взял бы на себя дело свыше сил своих, и не на пользу дела, а лишь в угоду личному произволу своему и самовластию. Начальник каждой отдельной части несет на себе ответственность за успех порученного ему дела, и отнять у него право избирать по усмотрению своему сотрудников себе и работников — значит снять с него ответственность за успешный ход дела, ослабить его авторитет и стеснить его свободу в законном круге его деятельности.

К несчастью, по мере ослабления нравственного начала власти в начальнике, им овладевает пагубная страсть *патронатства*, страсть покровительствовать и раздавать места и должности высшего и низшего разряда. Великая беда от распространения этой страсти, лицемерно прикрываемой видом добродушия и благодеяния нуждающимся людям. Побуждения этой благодетельности нередко смешиваются с побуждениями угодничества перед другими сильными мира, желающими облагодетельствовать своих клиентов. Увы! благодеяния этого рода раздаются часто на счет блага общественного, на счет благоустройства служебных отправлений, наконец на счет казенной или общественной кассы. Стоит власти забыть, — и она уже отрешается от мысли о правде своего служения и о благе общественном, которому служить призвана.

Самая драгоценная способность правителя — способность организаторская. Это талант, не часто встречаемый, талант не приобретаемый какой-либо школой, но прирожденный. О людях этого качества можно сказать, что сказано о поэтах, что они рождаются, а не делаются (*nascuntur, non fiunt*). Стоит представить себе, какое совокупление различных качеств требуется для организаторского таланта. В таком человеке сила воображения соединяется со способностью быстро избирать способы практической деятельности. Он должен быть крайне сообразителен, предусмотрителен, и вместе с тем решителен для действия, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во все подробности дела, не теряя из виду руководящих начал его; должен быть тонким наблюдателем людей и характеров, уметь доверяться людям и в то же время не забывать, что и лучшие люди не свободны от низменных инстинктов и своекорыстных побуждений.

Счастлив государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талант и не ошибиться в выборе. Ошибка возможна, и нередки случаи, когда организаторский талант думают усмотреть в человеке великого ума и красноречия. Но оба эти таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитие мысли, способность к диалектической аргументации, — почти никогда не сходятся с организаторской способностью. Напротив того, человек, способный соображать способы действия и соиздавать план его — весьма часто бывает совсем неспособен изложить доказательно то, что сложилось в уме его для действия. Но этот талант открывается лишь на деле, а красноречие, действуя на умы логикой своих доводов и критикой чужих мнений, быстро увлекает людей и вызывает сразу восторг и удивление.

Велико и свято значение власти. Власть, достойная своего признания, вдохновляет людей и окрыляет их деятельность, она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии. Видеть такую власть, ощущать ее вдохновительное действие — великое счастье для всякого человека, любящего правду, ищущего света и добра. Великое бедствие — искать власти и не находить ее, или вместо нее находить мнимую власть большинства, власть толпы, произвол в призраке свободы. Не менее, если еще не более печально — видеть власть, лишенную сознания своего долга, самой мысли о своем призвании, власть, совершающую дело свое бессознательно и формально, под покровом начальственного величия. Стоит ей забыть, как уже начинается ее разложение. Остаются те же формы производства, движутся

по-прежнему колеса механизма, но духа жизни в них нет. Мало-помалу ослабевают самое желание избирать людей приготовленных и способных на каждое дело, и люди уже не избираются, но назначаются как попало, по случайным побуждениям и интересам, не имеющим ничего общего с делом. Тогда начинает исчезать в производствах предание, охраняемое опытными и привязанными к делу деятелями, разрушается школа, воспитывающая на деле новых деятелей опытностью старых, и люди, приступающие к делу ради личного интереса и служебной карьеры, сменяясь непрестанно в погоне за лучшим, не оставляют нигде прочного следа трудов своих.

Для всякой практической деятельности потребно *искусство*, оживляющее эту деятельность, а *искусство* приобретается трудом, разумным и добросовестным, для чего необходимо *руководство*. Итак, всякое учреждение, назначенное для практической деятельности, должно быть вместе с тем школой, в которой поколение новых деятелей приучается к искусству дела под руководством старых деятелей. На этом утверждается внутренний интерес каждого дела и *нравственная* сила, долженствующая оживлять его. При этих условиях учреждение может возрастать и совершенствоваться, имея перед собой открытые горизонты: есть чего ожидать и надеяться, есть путь, куда идти вперед. Но когда учреждение немеет и мертвеет, замыкаясь в пошлых путях текущей формальности, оно перестает быть школой искусства, превращаясь в машину, около коей сменяются наемные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотреть, и нет стремления и движения вперед. Такова может быть судьба новых учреждений, разрастающихся с усложнением общественного и гражданского быта. Такой становится школа, при множестве учеников, учителей и предметов обучения, когда приходится наполнять ее кадры учителями не приготовленными и неспособными, учительствующими по ремеслу ради хлеба: дух жизни пропадает в ней, и она становится неспособна образовывать и воспитывать юное поколение. Таков становится суд, как бы ни были в нем усложнены и усовершенствованы *формы* производства, когда он перестает быть школой для образования крепкого знанием, опытом и искусством судебного сословия: формы застывают и мертвеют, а дух жизни исчезает в них, и сам может стать такой же машиной, около которой сменяются лишь наемные работники.

Представления о власти людей, желающих и ищущих власти, столь же разнообразны, как страсти и желания человеческие. В массе людей, коих помышления сосредоточены на ежедневной жизни, преобладает стремление к *улучшению своего быта*, без всяких дальнейших соображений. Затем преобладающим побуждением к власти служит *честолюбие*. В каждом человеке свое я, как бы ни было мелко и ничтожно, способно к быстрому и безграничному возрастанию, доходящему у иных до чудовищных размеров: каждый, как бы ни был мал, осматриваясь, видит около себя еще меньшие величины, успевшие при благоприятных обстоятельствах взобраться на крышу того или другого здания, и благополучно взирающие с крыши вниз на ходячее по земле человечество. Принадлежность к сонму хотя бы «*deorum minorum gentium*» соблазнительна для маленького человека, а затем — сколько видится на горизонте зданий всякой величины, и с маленького здания как приятно высмотреть другую крышу повыше и на нее перебраться — и вглядываться в дальние горизонты, на которых красуются «*dii majorum gentium*»... бывали, ведь, примеры и такого восхождения!

Таковы пошлые пути и течения, по коим ходит и стремится воображение малых и средних людей. Из них редкий спрашивает себя: кто я, и способен ли на то дело, которое падет на меня с моим возвышением? справлюсь ли я с ним, и как буду отвечать за него? И кто ставит себе такие вопросы, у того они немедленно потухают в сиянии воображаемой славы, и вопрошающему стоит только сравнить себя со многими вокруг его сидящими на кровлях, чтобы тотчас же успокоиться.

Но, оставляя в стороне пошлые пути, — как разнообразны и чистые, возвышенные, — но увы! тоже обманчивые стремления к власти. Два знания существенно необходимы для

посвящения человека во власть. Одно — вековечное правило: «познай самого себя», другое — «познай окружающую тебя среду». То и другое необходимо для того, чтобы человек мог сознательно определять волю свою и действовать, — действовать на воли человеческие и двигать события — в какой бы ни было обширной или тесной сфере. Действование совершается в мире реальностей; законы разума суть в то же время законы природы и жизни. Кто не знает этих законов, не обращает на них внимания, не применяется к ним, тот не способен действовать.

Но воображение человека, воспитанное лишь на отвлеченных стремлениях души, хотя бы самых возвышенных, но не воспитанное на реальностях, — возводя на высоту дух человеческий, побуждает человека представлять себя способным на действие, рисуя перед ним заманчивые картины правды и блага. Так вырастает в человеке обманчивая уверенность в себе, и мало-помалу может вырасти в уверенность *в свое призвание*. А когда с этим соединяется еще вера в некоторые общие положения и аксиомы, которые, действуя будто бы сами по себе, требуют только применения к отношениям человеческим, и сами по себе способны устроить в них порядок и правду, — тогда эта уверенность принимает характер догматизма и, раздражая душу, порождает в ней страстное стремление к власти, во имя высшего начала правды и блага, а в сущности все-таки во имя своего разросшегося я.

Я буду *приказывать* — мечтает иной искатель власти, и слово мое будет творить чудеса, — мечтает, воображая, что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собой действует. Но — бедный человек! прежде чем приказывать, научился ли ты *повиноваться*? Прежде чем изрекать слово власти, умеешь ли ты выслушивать и слово приказания и слово возражения? Прошел ли ты школу служебного долга, в которой каждый человек, на известном месте, к известному времени должен исполнить верно и точно известное дело, в связи с сетью множества дел другим порученных? Научился ли ты понимать, что приказ — это не Минерва, вдруг вышедшая из головы Юпитера, каким ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное с цепью других звеньев, с логической цепью причины и последствия?

Иному благожелательному человеку — воображение представляет картину благодеяний: ему так хочется творить добро и служить орудием добра. Увы! для того, чтобы уметь делать добро — мало быть добрым человеком. И тот, кто благодетельствует, по Евангельской заповеди, *из своего* имущества, и тот наконец удостоверяется собственным опытом, что делать добро человеку — добро, в истинном значении этого слова, — очень мудреная и тягостная наука. Во сколько раз труднее она, когда приходится творить добро *из фонда власти*, которой облечен человек. Хорошо, когда, думая о себе и о своей власти, он ни на минуту не забывает, что власть принадлежит ему ради общественного блага и для дела государственного; что в сфере его властного действия запас данной ему силы не может и не должен обращаться в *рог изобилия*, из которого сыплются во все стороны щедрые дары, многообразные награды, и что данное ему от государства право судить о достоинстве лиц, о правоте дел и о нуждах, требующих помощи и содействия, не может и не должно превращаться в руках его в *право патронатства*.

Но соблазн велик — и для доброго и, — прибавим, для тщеславного человека — а оба эти качества нередко соединяются: — как сладко быть патроном, встречать со всех сторон приветливые и благодарные взгляды! Увлечение этой слабостью может довести власть до крайнего расслабления, до смещения достоинства и способности с тупостью и низостью побуждений, до развращения подчиненных общей погоней за местами, общей похотью к почестям, наградам и денежным расходам.

Первый закон власти: *«мерило праведное»*. Оно дает силу судить каждого по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и — не выше его меры. Оно научает соблюдать достоинство человеческое в себе и в других, и различать порок, которого терпеть нельзя, от слабости человеческой, требующей снисхождения и заботы. Оно держит власть на высоте ее призвания, побуждая вдумываться и в людей, и в дела им порученные. Оно дает крепость велению, исходящему от власти, и властному слову присваивает творческую силу.

Кто утратил это мерило своим равнодушием и леностью, тот забыл, что творит дело *Божие*, и творит его с *небрежением*.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

I

наменательное явление нашего времени — борьба церковных начал с государственными. Когда начинается борьба из-за начал духовно-религиозных, невозможно рассчитать, какими пределами она ограничится и какие элементы вовлечет в себя; до чего дойдет и где уляжется море страстей, взволнованное спором за убеждения и верования. В вопросах верования народного государственной власти необходимо заявлять свои требования и устанавливать свои правила особой осторожностью, чтобы не коснуться таких ощущений и духовных потребностей, к которым не допускает прикасаться самосознание массы народной. Как бы ни была громадна власть государственная, она утверждается не на ином чем, как на единстве духовного самосознания между народом и правительством, на вере народной: власть подкапывается с той минуты, как начинается раздвоение этого, на вере основанного, сознания. Народ, в единении с государством, много может понести тягостей, много может уступить и отдать государственной власти. Одного только государственная власть не вправе требовать, одного не отдадут — того, в чем каждая верующая душа в отдельности, и все вместе, полагают основание духовного бытия своего и связывают себя с вечностью. Есть такие глубины, до которых государственная власть не может и не должна касаться, чтобы не возмутить коренных источников верования в душе у всех и каждого.

Главным источником возникших и грозящих еще усилиться недоразумений между народом и правительствами служит искусственно создаваемая теория отношений между государством и Церковью. В историческом ходе событий на западе Европы, неразрывно связанных с развитием римско-католической церкви, сложилось и вошло в систему государственного устройства понятие о Церкви, как об учреждении духовно-политическом, с властью, которая, вступив в противоположение с государством, предприняла с ним борьбу политическую; событиями этой борьбы занято все поле истории на западе Европы. Из-за этого политического значения Церкви отошло на задний план и померкло в сознании государственном простое, истинное, природное понятие о Церкви, как о собрании христиан, органически связанных единством верования в союз богоучреждений. Это понятие таится, однако, в глубине народного сознания, соответствуя самой коренной и глубочайшей потребности души человеческой — потребности верования и единения в вере. В этом смысле Церковь, как общество верующих, не отделяет и не может отделять себя от государства, как общества, соединенного в гражданский союз. До какого бы совершенства ни достигло в уме логическое построение отношений, на *разделении* основанных, между государством и Церковью, им не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа. Удовлетворен может быть ум политический, как наилучшею формою сделки, как совершеннейшею философскою конструкцией понятий; но в глубине духа, ощущающего живую потребность веры и единства веры с жизнью, это искусственное построение не отзывается истиною. Жизнь духовная ищет и требует выше всего *единства* духовного, и в нем полагает *идеал* бытия своего; а когда душе показывают этот идеал в *раздвоении*, она не принимает такого идеала и отвращается. Верование, — по свойству своему безусловное, не терпит ничего условного в своей идеальной конструкции. Правда, что в действительности жизнь всех и каждого есть непрерывная история падения и раздвоения — печального раздвоения между идеей и делом, между верой и жизнью; но в этой непрерывной борьбе дух человеческий держится в равновесии не иным чем, как верою в идеальное, конечное единство, и дорожит

такую верою, как первым и исконным сокровищем бытия своего. Приведите человека в сознание этого раздвоения: он никнет и смиряется мыслью. Покажите ему конец раздвоения, к которому стремится дух — он поднимает голову, сознает себя живущим и стремится вперед с верою. — Но когда вы скажете ему, что жизнь сама по себе, а вера сама по себе, и это понятие станете возводить в теорию жизни, — душа не принимает такого понятия, с тем же отвращением, с каким встречает мысль о конечном и решительном уничтожении бытия.

Возразят, может быть, что здесь дело идет о личном веровании. Но личное верование не отделяет себя от верования церковного, так как существенная его потребность есть единение в вере, и этой потребности оно находит удовлетворение в Церкви.

В Западной Европе издавна продолжается борьба Церкви с государством и государства с Церковью. Последнее слово этой борьбы еще не сказано — и каково будет оно, еще неизвестно. Та и другая сторона меряет свои силы и сближает свои дружины. Государство опирается на силы интеллигенции. Церковь опирается на верование народной массы и на сознание авторитета духовного. Нет сомнения, что в конечном результате победа будет на той стороне, на которой окажется действительное объединение глубокого, жизненного верования. Государственной интеллигенции предстоит во всяком случае трудная задача — привлечь на свою сторону и соединить с собою твердо — народное верование. Но для того, чтобы привлечь верование и слиться с ним, нужно показать в себе живую веру; одной интеллигенции для этого недостаточно. *Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.* Народное верование чутко, и едва ли можно обольстить его видом верования или увлечь в сделку верований: живая вера не допускает сделки, не признает абсолютного господства рассудочной логики. Хотя к верованию обыкновенно применяется понятие об убеждениях, но *убеждение рассудка* нельзя смешать с *убеждением веры*, и сила *умственная*, сила интеллигенции и мышления, весьма ошибается, если полагает в себе самой все нужное для *силы духовной*, независимо от верования, составляющего самую сущность духовной силы.

В этом смешении понятий кроется для государства великая опасность в борьбе с Церковью. Когда, в эпоху реформации, государственная власть в Германии становилась во главе движения против старой церковной власти и вырабатывала новую организацию Церкви, — она обладала действительною духовною силою верования. Движение, к которому присоединилась она, возникло в массе народной, проникнутое глубоким, сосредоточенным верованием: первые вожаки его, представляя в себе высшую интеллигенцию тогдашнего общества, в то же время горели огнем веры глубокой, объединявшей их с народом. Итак, в этом движении сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить, после долголетней борьбы, веками утвердившаяся сила старого закона.

Ныне совсем другие обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединение между верованием народным и политической конструкцией церковного отправления, в государственном сознании. С другой стороны, со стороны интеллигенции, разъединение еще более разительное между верованием и научной конструкцией верования. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальной своей задачей — привести в сознание и обнять общим взглядом церковные верования, грозит уже поглотить в себе всякое верование, подчинив его беспощадному критическому анализу разума, как факт, как внешний предмет исследования. Политическая наука построила строго выработанное учение о решительном отделении Церкви и государства, учение, вследствие которого, по закону, не допускающему двойственного разделения центральных сил, Церковь непременно оказывается на деле учреждением, подчиненным государству. Вместе с тем государство, как учреждение, в политической идее своей является отрешенным *от всякого верования* и равнодушным к верованию. Естественно, что с этой точки зрения Церковь представляется не иным чем, как учреждением, удовлетворяющим одной из признанных государством потребностей населения — потребности религиозной, и новейшее государство обращается к ней с правом своей авторизации, своего надзора и контроля, не заботясь о веровании. Для государства, как для верховного учреждения политического, такая теория привлекательна, потому что обещает ему полную автономию, решительное устранение всякого, даже духовного,

противодействия, и упрощение всех операций церковной его политики. Но такие обещания обманчивы. Этой теории, сочиненной в кабинете министра и ученого, народное верование не примет. Во всем, что относится до верования, сознание народное успокаивается только на простом и цельном представлении, объемлющем душу, и отвращается от искусственно составленных понятий, когда чувствует в них ложь или разлад с истиною. Так, например, политическая теория может удобно мириться с оставлением в должности и на церковной кафедре пастора, или профессора на богословской кафедре, который (явление, к несчастью, ставшее уже обычным в Германии) публично объявил, что не верует в Божество Спасителя; но совесть народная никогда не поймет такой конструкции понятия о церковном пастыре и с отвращением назовет ее ложью. Печально и ненадежно будет положение государственной власти, когда ее расположение и действие по предметам, относящимся до веры — совесть народная привыкнет ставить в ложь и причитать к безверию.

II

Об отделении Церкви от государства прекрасно рассуждает бывший патер Гиацинт, читавший по этому предмету публичные лекции в Женеве, весною 1873 года. Война насмерть с Церковью — это мечта революционной партии, — по крайней мере тех крайних ее представителей, которые в политике ставят себя якобинцами, а в области религиозных идей распространяют безбожие и материализм. Им служат орудием — софизм и насилие. Все уже потеряли к ним доверие повсюду; они слепы и не в силах вести борьбу, потому что все смешивают в своем противнике, ничего не различая, и преувеличивают без меры его значение.

Французская революция поставила себе целью обновить общество; но обновить его можно было только применением к гражданскому обществу христианских начал. Возникла борьба между революцией и римской теократией, причем революция смешала римскую теократию с католической церковью, со вселенством, которое объемлет всех верующих христиан, смешала с Евангелием и лицом Христа Спасителя. Итак, война объявлена была не столько Риму, сколько царству Христову на земле. В христианстве эти люди стали преследовать самое религиозное чувство, которое слилось уже в течение 2000 лет нераздельно с христианством. Вот какого противника вызвали они на бой, вооружившись на него двояким — низким, опозоренным оружием: секирою палача и живым словом софиста.

Католическая религия во Франции была не в доброй славе, благодаря аббатам-вольнодумцам, наполнявшим дворцовые приемные, благодаря известной легкости нравов тогдашнего общества. Вдруг ее будят, поднимают, влекут в темницы. Во имя ее всходят на эшафот священники, девы, поселяне, вместе со знатными дворянами, с поэтами, с государственными людьми — как было в эпоху первых цезарей. На ризах ее видна была кровь от Варфоломеевской ночи, видны были следы родительских и сиротских слез, после отмены Нантского эдикта; все эти следы вдруг сгладились; ничего стало не видно за собственной ее кровью, за следами собственных ее слез. Вот почему, когда она после того встала, то встала в полном сиянии славы, без всяких пятен. Это сияние приготовили для нее палачи ее.

Точно так же действовали и софисты-философы. Они стали раскапывать вопросы, которые новейшая наука объявляет недоступными для решения; стали доискиваться в таинстве смерти, и увидели в нем одну мечту и выдумку; стали углубляться в происхождение человечества, и у колыбели его признали, вместо библейского Адама, из земли созданного, какое-то неведомое существо, медленно выделяющееся из животной жизни, вырождающееся сперва в обезьяну, потом в человека. И вот, поставивши этого человека и у начала его, и у исхода, в сплошную среду животной жизни, унизив его до пределов гниения, они стали приветствовать его величие: «Как ты велик, человек, в атеизме и в материализме, и в свободе самочинной, ничему не покоряющейся нравственности!» Но посреди всего этого странного величия человек этот оказался подавлен грустью. Он утратил

Бога, но сохранил потребность религии. Так ощутительна эта потребность, что возможна, мы видим, религия даже без Бога; таков буддизм — религия, одушевляющая миллионы последователей. И в самом деле, хотя бы и правда было, — что первый человек выродился из среды животной, — что мне в том? К книге Бытия указана еще грубее материя, из которой создан человек — грязь и прах, персть земная. Какая бы ни была то материя, — разве в ней, разве в оболочке — весь человек? Он приял от Создателя своего — *живую душу*, то дыхание жизни религиозной и нравственной, от которого не может, когда бы и хотел, отделаться. Вот что не допустит его никогда отречься от христианской религии.

Проповедуется отделение Церкви от государства. Тут одни слова, но нет единой идеи, потому что под одним словом отделения разуместь можно многое. Пусть определяют сначала, в чем оно заключается. Если дело состоит в более точном разграничении гражданского общества с обществом религиозным, церковным, духовного со светским, о прямом и искреннем размежевании, без хитростей и без насилия, — в таком случае все будут стоять за такое отделение. Если, становясь на практическую почву, хотят, чтобы государство отказалось от права поставлять пастырей Церкви и от обязанности содержать их, — это будет идеальное состояние, к которому желательно перейти, которое нужно готовить к осуществлению при благоприятных обстоятельствах и в законной форме. Когда вопрос этот созреет, государство, если захочет так решить его, обязано возвратить кому следует право выбора пастырей и епископов; в таком случае нельзя уже будет отдавать папе то, что принадлежит клиру и народу по праву историческому и апостольскому. Государство, в сущности, только держит за собою это право, но оно не ему принадлежит.

Но говорят, что отделение надо разуместь в ином, обширнейшем смысле. Умные, ученые люди определяют его так: государству не должно быть дела до Церкви, и Церкви — до государства, итак, человечество должно вращаться в двух обширных сферах, так что в одной сфере будет пребывать тело, а в другой — дух человечества, и между обеими сферами будет пространство такое же, какое между небом и землею. Но разве это возможно? Тело нельзя отделить от духа; и дух и тело живут единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы Церковь — не говорю уже католическая, а церковь какая бы то ни была — согласилась устранить из сознания своего гражданское общество, семейное общество, человеческое общество — все то, что разумеется в слове: государство? С которых пор положено, что Церковь существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий? Нет, все это — лишь малая часть той деятельности, которую Церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание: *научите вся языки*. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на земле людей для того, чтобы люди, среди земного града и земной семьи, соделались не совсем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, при смерти — в самые главные моменты бытия человеческого, Церковь является с тремя торжественными таинствами, — а говорят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить народу уважение к закону и к властям, внушить власти уважение к свободе человеческой, — а говорят, что ей нет дела до общества!

Нет, — нравственное начало единое. Оно не может двоиться, так чтобы одно было нравственное учение частное, другое общественное; одно — светское, другое — духовное. Единое нравственное начало объемлет все отношения — частные, домашние, политические, и Церковь, хранящая сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего законного влияния в вопросах, относящихся и до семьи, и до гражданского общества. Итак, требуя от Церкви, чтобы ей дела не было до гражданского общества, ей придают лишь новую силу.

Говорят: государству нет дела до Церкви. Под первоначальным семейственным устройством образовалось гражданское общество и каждого начальника семьи сделало гражданином; в ту пору общество верующих не отличалось еще от семьи, от целого народа. С течением времени усовершилось устройство гражданского общества и основалось вселенское христианство, объемлющее в себе и семейства, и народы. Как сказать теперь отцу, гражданину: ты сам по себе, а Церковь сама по себе? На беду и отец, и гражданин уже

давно сами себе это сказали. Отец стал равнодушен к религиозному сознанию и направлению в семейной среде своей. У него нет ответа, когда жена обращается к нему со своими сомнениями, когда его ребенок в детской простоте спрашивает: что такое Бог? И отчего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко всем приходит и детей уносит? Когда отцу ответить нечего на эти вопросы, как отвечает на них сам ребенок в уме своем? И если у отца найдется ответ, в нем слышится ребенку какая-то сказка, — а не слышится голос живой веры, той веры, за которую умереть готов человек. И вот, из ребенка выходит такой же скептик, каким был отец, или суевер, наподобие матери или ее духовника-патера. Вот как отражается в семействе разделение государства с Церковью, и на место отца вводится в дом священник, извне пришедший, в качестве духовного руководителя, владыка совести, под видом учителя. Виноваты и священники, без сомнения, — но еще виновнее сами отцы, потому что они допустили священника стать у домашнего очага на их место. Когда так, пусть не дивятся граждане и гражданские власти, если когда-нибудь возведенное ими здание рухнет и их задавит обломками. Вот куда ведет отлучение государства от сознания Церкви!

III

Когда в начале 40-х годов Прусскому Королю донесено было, что некоторые Берлинские жители вышли из христианской Церкви, он удивился и спросил с улыбкой: «к какой же церкви хотят они причислиться?». Этот вопрос потерял уже нынче на западе Европы всякое значение. В то время казалось — кто выходит из христианской Церкви, точно оставляет твердую почву и висит где-то на воздухе. Нынче это уже не воздух, а твердая почва — быть без всякой религии.

Когда бы кто в средние века объявил, что он отрекается от всякой веры, его сочли бы за безумца и притом столь отвратительного и опасного, что предали бы его сожжению.

В то время не было места гражданину неверующему, но могли быть верующие, лишенные прав гражданства — бродяги, бесправные люди, коим государство отказывало в законной защите, так что им приходилось ставить себя под защиту феодального владельца, одного из тех могущественных вассалов, которые, не подчиняясь государственной власти, могли вступать в борьбу со своим феодальным владыкою.

В наше время кто решился бы объявить себя свободным от государственной власти, не платить податей, не нести воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себе государством, — такого человека объявили бы безумцем, — каким считался безверный в средние века, только не предали бы его сожжению, но принудили бы его или подчиниться государству или уходить из государства вон. Он ушел бы в другое государство, где бы также или привели бы его в послушание или выгнали вон.

Стало быть: ныне можем мы свободно уклониться от религии и от Церкви, но от государства уклониться не можем. Государство обеспечивает нам полноту общественной жизни, а Церковь уже не господствует над общественной жизнью так, как прежде господствовала. Наше время отличается стремлением привлечь все отношения к государственной власти; а когда бы Церковь хотя на половину того предприняла привлечь к себе общественные отношения, она встретила бы со всех сторон препятствия и противодействия.

Невзирая на всякие свободы, повсеместно провозглашаемые, мы стремимся во всем под власть государства. Мы требуем законов, мер правительства для всякого значительного проявления нашей общественной жизни; многие формально требуют сосредоточения и единообразного устройства индивидуальной жизни посредством государства. Чуть у кого жмет сапог на ноге, — слышишь крик — государство должно вступить; где двое — трое жалуются на тяготу, шлетя жалоба, просьба к правительству. В прежнее время обращались бы, может быть, к Церкви. Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться в общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве и быть управляема государством, это главная движущая идея социализма, а как эта мысль в ясном

или неясном представлении угнездилась даже в самых крепких умах, то и самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам.

Нельзя не признать, что изменилось и самое отношение Церкви к обществу верующих, составляющему союз церковный. Ныне и они не могли бы примириться с восстановлением старинных отношений Церкви к ее чадам, со вмешательством ее в частную и семейную жизнь, в общественный быт и в политику, и в экономию общества. Государство издает ныне закон за законом: Церкви ныне не приходится не только объявлять новые догматы, но и настаивать столь же формально и строго, как прежде, на истолковании и применении своих учений.

Итак, по-видимому, бессильна стала Церковь, в сравнении с возрастающим до громадных размеров могуществом государства. Однако на деле не то выходит, ибо Церковь опирается на духовные силы в народе (Риль).

IV

Самая древняя и самая известная система отношений между Церковью и государством есть система установленной или государственной церкви. Государство признает одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к предосуждению всех остальных церквей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что все остальные церкви не признаются истинными или вполне истинными; но практически выражается оно в неодинаковой форме, со множеством разнообразных оттенков, и от непризнания и отчуждения доходит иногда до преследования. Во всяком случае, при действии этой системы чужие исповедания подвергаются некоторому, более или менее значительному умалению в чести, в праве и преимуществе, сравнительно со своим, с господствующим исповеданием. Государство не может быть представителем одних материальных интересов общества; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государство тем сильнее и тем более имеет значение, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государственной власти. Ни начало целостности государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное — сами по себе недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственной властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрешается от религиозной санкции. Этой центральной, собирательной силы без сомнения лишено будет такое государство, которое, во имя беспристрастного отношения ко всем верованиям, само отрекается от всякого верования — какого бы то ни было. Доверие массы народа к правителям основано на вере, т. е. не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности в том, что правительство имеет веру и по вере действует. Поэтому даже язычники и магометане больше имеют доверия и уважения к такому правительству, которое стоит на твердых началах верования — какого бы то ни было, нежели к правительству, которое не признает своей веры и ко всем верованиям относится одинаково.

Таково неоспоримое преимущество этой системы. Но с течением веков изменились обстоятельства, при коих эта система получила свое начало, и возникли новые обстоятельства, при коих ее действие стало затруднительнее прежнего. В ту пору, когда заложены были первые основания европейской цивилизации и политики, христианское государство было крепко цельным и неразрывным союзом с единою христианскою Церковью. Потом в среде самой христианской Церкви первоначальное единство разбилось на многообразные толки и разномыслия, из коих каждое стало присваивать себе значение единого истинного учения и единой истинной Церкви. Таким образом, государству пришлось иметь перед собою несколько разномыслных учений, между коими распределилась

по времени масса народная. С нарушением единства и цельности в веровании может настать такая пора, когда господствующая Церковь, поддерживаемая государством, оказывается церковью незначительного меньшинства, и сама ослабевает в сочувствии или вовсе лишается сочувствия массы народной. Тогда могут наступить важные затруднения в определении отношений между государством с его Церковью и церквями, к коим принадлежит народное большинство.

V

С конца 18 столетия начинается на западе Европы поворот от старой системы к системе *уравнения* христианских исповеданий в государстве, с устранением, однако, от этого равенства сектантов и евреев. Государство признает христианство за существенное основание бытия своего и общественного благоустройства, и принадлежность к той или другой церкви, к тому или иному *верованию* — обязательной для каждого гражданина.

С 1848 года изменяется существенно это отношение государства к Церкви: нахлынувшие волны либерализма прорывают старую плотину и угрожают ниспровергнуть древние основы христианской государственности. Провозглашается — освобождение государства от Церкви — до Церкви ему дела нет. Провозглашается и отрешение Церкви от государства: всякий волен веровать как угодно или — ни во что не веровать. Символом этой доктрины служат *основные начала* (Grundrechte), провозглашенные Франкфуртским Парламентом 1848/9 года. Хотя они и перестали вскоре считаться действующим законодательством, но послужили и служат доньше идеалом для проведения либеральных начал в новейшие законодательства Западной Европы. Сообразно с ними образуется оно ныне повсюду. Политические и гражданские права отрешаются от верования и от принадлежности к той или иной церкви и секте. Государство никого не спрашивает о вере. От Церкви отрешается и заключение брака, и ведение актов гражданского состояния. Провозглашается полная свобода смешанных браков, а церковное начало неразрывности брака нарушается облегчением развода, отрешенного от судов церковных.

Ввиду всех этих изменений, — достигающих в нынешней официальной Франции до отрицания веры и до насилия над церковным верованием, позволительно спросить: можно ли новейшее государство признать государством христианским? Но здесь открывается та же непоследовательность, какую видим в отдельном лице, когда оно, отрекшись от христианства, в то же время ведет жизнь, в которой отражаются все христианские начала. Подобно тому видим, что и новейшее государство — отрекаясь от органического союза с христианской Церковью, не может обойтись без форм и обрядов, предполагающих христианское верование. Церкви со своими служителями получают содержание из государственного бюджета, общественные учреждения, военные полки снабжаются духовными наставниками, христианские праздники удерживают значение праздников гражданских; в службе государственной, в судах присяга сохраняет свою обязательную силу. В Германии нет уже государственной Церкви, однако главе государственной власти принадлежит верховенство (Kirchenhoheit) в церкви Евангелической, и государству в парламенте и во всех делах общественных приходится считаться с партиями того или иного вероисповедания. В Англии, при уравнении вероисповеданий на либеральных началах, не только король, но и важнейшие государственные сановники должны обязательно принадлежать к Англиканской церкви. Северо-американский Союз есть страна религиозного равенства. Ко всякой отдельной церкви, ко всякому религиозному обществу государство относится не иначе как к частной корпорации. В школах, заведываемых государством, не допускается обучение Закону Божию и обязательное чтение Библии. И при всем том конгресс открывает свои заседания молитвою, при участии духовного лица. Духовные лица содержатся государством при армии и флоте. Президент объявляет от времени до времени установленные дни благодарственные и покаянные. Святость воскресного дня охраняется строгим законом. В некоторых штатах установлены строгие наказания за божбу и

богохуление.

Не следует ли из этого, что государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические партии, самые враждебные общественному порядку, партии, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес.

VI

Система «свободной церкви в свободном государстве» основана, покуда, на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или подразумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной. В отвлеченном построении этой системы, составляющей плод новейшего рационализма, Церковь представляется тоже отвлеченно построенным политическим учреждением, с известной целью, или частным обществом для известной цели устроенным, подобно другим, признанным в государстве, корпорациям. Сознание этой самой цели представляется тоже отвлеченным, ибо на нем отражаются многообразные оттенки связанных с тем или другим учением представлений о вере, начиная с отвлеченного уважения к вере, как к высшему моменту психической жизни, до фанатического презрения к верованию, как к низшему моменту и к началу вреда и разложения. Таким образом, в самом построении этой системы с первого взгляда оказывается двойственность и неясность основных начал и представлений.

Что может выйти из этой системы на практике — это выяснится опытом веков и поколений. Покуда мы имеем перед собою опыт — почти ничтожный, если сравнить его с опытом многих веков, в течение коих первая система действовала и действует. Но не трудно предвидеть заранее, что действие новой системы не может быть последовательно, так как она не согласуется с первыми потребностями и условиями человеческой природы, как бы категорически ни выводилось отвлеченным учением правило: «все церкви и все верования равны; все равно, что одна вера, что другая», — с этим положением, в действительности, для себя лично, не может согласиться безусловно ни одна душа, хранящая в глубине своей и испытывающая потребность веры. Такая душа непременно ответит себе: «Да, все веры равны, но моя вера для меня лучше всех». Положим, что сегодня провозглашено будет в государстве самое строгое и точное уравнивание всех церквей и верований перед законом. Завтра же окажутся признаки, по которым можно будет заключить, что относительная сила верований совсем не равная; пройдет 30, 50 лет со времени законного уравнивания церквей — и тогда обнаружится на самом деле, может быть, слишком неожиданно для отвлеченного представления, что в числе церквей есть одна, которая в сущности пользуется преобладающим влиянием и господствует над умами и решениями, — или потому, что она ближе к церковной истине, или потому, что учением или обрядами более соответственна с народным характером, или потому, что организация ее и дисциплина совершеннее и дает ей более способов к систематической деятельности, или потому, что в среде ее возникло более живых и твердых верою деятелей. Примеров этому есть уже немало. Великобританским законодательством установлено уравнивание церквей в Ирландии. Но разве из этого следует, что церкви равны? В сущности, римско-католическая церковь, именно с минуты законного уравнивания, получила полную возможность распространять и утверждать во всей стране свое преобладающее влияние не только на отдельные умы, но на все политические учреждения в стране — на суды, на администрацию, на школы.

Северо-американский Союз поставил основным условием своего устройства — не

иметь никакого дела до веры. Последствием такого юридического состояния выходит на деле, что преобладающею церковью в Соединенных Штатах становится мало-помалу римское католичество. В Северной Америке пользуется оно такой свободой преобладания, какой не имеет ни в одном европейском государстве. Не стесняясь никаким отношением к государству, не подвергаясь никакому контролю, папа распределяет в Северной Америке епархии, назначает епископов, основывает во множестве духовные ордена и монастыри, окидывает всю территорию мало-помалу частой сетью церковных агентов и учреждений. Захватывая под свое влияние массы католиков, ежегодно увеличивающиеся с прибытием новых эмигрантов, папство считает уже ныне своей — целую четверть всего населения, в виду отдельных трех четвертей, разбитых на множество сект и толков. Католическая церковь, пользуясь всеми средствами обходить закон, умножила свои недвижимые имущества до громадных размеров. В ее руках и под ее влиянием состоят уже во многих штатах целые управления, политического свойства. В иных больших городах все городское управление зависит исключительно от католиков. Католическая церковь располагает миллионами голосов в таком государстве, где от счета голосов зависит все направление внешней и внутренней политики. Ко всем этим явлениям государство относится покуда равнодушно, с высоты своего принципа уравнивания церквей и религиозного равнодушия. Но последующие события покажут, долго ли может устоять и в Северо-американском Союзе новая, излюбленная теория.

Защитники ее говорят еще покуда: что за дело государству до неравенств, возникающих не в силу привилегий или законных ограничений, а вследствие внутренней силы или внутреннего бессилия каждой корпорации? Закон не может предупредить такого неравенства.

Но это значит обходить затруднение, разрешая его лишь в теории. На бумаге возможно все примирить, все привести в стройную систему. На бумаге можно отличить определенной чертой и разграничить область политической деятельности от духовно-нравственной. На самом деле не то. Людей невозможно считать только умственными машинами, располагая ими так, как располагает полководец массами солдат, когда составляет план баталии. Всякий человек вмещает в себе мир духовно-нравственной жизни; из этого мира выходят побуждения, определяющие его деятельность во всех сферах жизни, а главное, центральное из побуждений проистекает от веры, от убеждения в истине. Только теория, отрешенная от жизни, или не хотящая знать ее, может удовольствоваться ироническим вопросом: *что есть истина?* У всех и у каждого вопрос этот стоит в душе основным, серьезнейшим вопросом *целой* жизни, требуя не отрицательного, а *положительного* ответа.

Итак, *свободное государство* может положить, что ему нет дела до *свободной церкви*; только свободная церковь, если она подлинно основана на веровании, не примет этого положения и не станет в равнодушное отношение к *свободному государству*. Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную; и чем она деятельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действенной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству. Такого отношения Церковь не примет, если вместе с тем не отречется от своего божественного призвания, если хранит веру в него и сознание долга, с ним связанного. На Церкви лежит долг учительства и наставления, Церкви принадлежит совершение таинств и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами и гражданской жизни. В этой своей деятельности Церковь, по необходимости, беспрестанно входит в соприкосновение с общественной и гражданской жизнью (не говоря о других случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания). Итак, в той мере, как государство, отделяя себя от Церкви, предоставляет своему ведению исключительно гражданскую часть всех таких дел и устраняет от себя ведение духовно-нравственной их части, Церковь по необходимости вступит в отправление, покинутое государством, и, в отделении от него, завладеет мало-помалу вполне и исключительно тем духовно-нравственным влиянием, которое и для государства составляет необходимую, действительную силу. За государством останется только сила материальная и, может быть,

еще рассудочная, но и той и другой недостаточно, когда с ними не соединяется сила веры. Итак, мало-помалу вместо воображаемого уравнивания отправлений государства и Церкви в политическом союзе окажется неравенство и противоположение. Состояние, во всяком случае, ненормальное, которое должно привести или к действительному преобладанию Церкви над преобладающим, по-видимому, государством, или к революции.

Вот какие действительные опасности скрывает в себе прославляемая либералами-теоретиками система решительного отделения Церкви от государства. Система господствующей или установленной Церкви имеет много недостатков, соединена со множеством неудобств и затруднений, не исключает возможности столкновений и борьбы. Но напрасно полагают, что она отжила уже свое время, и что формула Кавура одна дает ключ к разрешению всех трудностей труднейшего из вопросов. Формула Кавура есть плод политического доктринерства, которому вопросы веры представляются только политическими вопросами об уравнивании прав. В ней нет глубины духовного ведения, как не было ее в другой знаменитой политической формуле: *свободы, равенства и братства*, доныне тяготеющей над легковверными умами роковым бременем. И здесь, так же как там, страстные провозвестники свободы ошибаются, полагая *свободу* в *равенстве*. Или еще мало было горьких опытов к подтверждению того, что свобода не зависит от равенства, и что равенство совсем не свобода? Таким же заблуждением было бы предположить, что в *уравнивании* церковей и верований перед государством состоит и от уравнивания зависит самая *свобода* верования. Вся история последнего времени доказывает, что и здесь свобода и равенство не одно и то же, и что свобода совсем не зависит от равенства.

ЦЕРКОВЬ

I

ем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело — объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной формуле. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании — неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное — связано и сплетено множеством таких тонких корней с психической природой каждого племени и с общими, сложившимися в нем, началами нравственного мирозерцания, что невозможно отделить одно от другого. Разноплеменные и разноцерковные люди могут, во многих отношениях, при встрече, во взаимном общении, почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, — для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собой в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски, и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он *входит* к нам, становится одним из наших, и общение его с нами — полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, — этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое

начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приятно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, несродной, несочувственной, что здесь — не то, что у нас; здесь неприятно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь, они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприятно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, — он чувствует, что назвать этот храм своим — для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени один из основных вопросов — вопрос о *делах*. Что главное — *дела* или *вера*? Известно, что на этом вопросе препирается доньше латинское богословие с протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически-абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела со словом — есть идеал недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное... идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дел мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, но в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности — что значит *дело* или *всяческие дела*, что значат — без веры?

Покажи мне *веру твою* от *дел* твоих — страшный вопрос! Что на него ответить *уверенному*, когда спрашивает его *испытующий*, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? — Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да, ведь, и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почувешь наше чувство, и, может быть, с нами слюбишься. А дела наши, какие есть, сам увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительной усмешкой. В сущности все дело только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, да и не решаемся.

А они показывают. И умеют показать, и правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке — веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. Смотрите, — говорит католическая церковь, — что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не ясно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и доньше?

Смотрите, — говорит протестантская церковь, — я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой. Я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верой искореняю праздность и суеверие, водворяя честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых нравах. Человечество призвано обновиться учением моим — в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом слова и дела разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне *истинное воззрение на религию*?

Протестанты доныне спорят с католиками о догматическом значении *дела*. в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет, и те и другие ставят *дело* во главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом, на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в *цель*, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытывается *правда* религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозной мыслью протестантизма. Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, но им проникнуто все ее учение. Бесспорно, в нем есть весьма важная *практическая* сторона, для *здесьней* жизни, для *мира сего*; и оттого многие, даже у нас, готовы иногда ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. *Благочестие на все полезно* — и по апостольскому слову; но это лишь одна из *естественных* принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно *по вере*, и чувствует, как мало сходна с верою жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех — от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это *практическое основание* протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории — направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное. стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия бесспорно освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддержать себя? Такой человек язычник, а не христианин; лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в Церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в Царствии Божиим?

Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая *формула* была бы явным отрицанием евангельского учения. Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого «национального церковного учреждения», отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь, как первую твердыню государства — *bulwark of State* — и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, пред коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

Есть сочинение замечательное по глубине и основательности мысли, написанное человеком очевидно верующим, глубоко и ревностно преданным своей церкви. Вот что здесь сказано между прочим о религии.

«Некоторые религии очевидно не благоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры), одни действуют на него с особенной, другие с меньшей силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в

этом смысле те религии, в коих господствует над всем образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо для человеческого разума; но он сотворил мир таким, *каков есть мир*, сотворил его для *рода людей благоразумных, твердых и смелых духом* и устойчивых; для тех, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуют безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют *все законные средства, чтобы того достигнуть*. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и избежится еще того больше, невзирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей» (Stephen. Liberty, equality, fraternity). Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца-протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: *блаженны крепкие и сильные* в деле: им принадлежит царство. Да, скажем мы: — царство земное, но не царство небесное. Автор не делает этой оговорки, он не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религиозной* мысли бесспорно имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благотельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало, и которые его приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена, по своей натуре, никак не *могут* принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантства не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а *конструкцию* мысли и оболщания.

«Горе слабым и падающим! Горе побежденным!»! Конечно, в здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете. Но придавать этому правилу безусловную, как бы догматическую силу в религиозном смысле — вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенной силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, он чувствует в них воплощение *божественного* и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, в мраке и неустройстве космического хаоса; его герой *строит* свою вселенную, и все что встречается ему на дороге и не умеет ему покориться и служить ему, и не имеет своей силы, чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обвораживает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода — и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителем нравственного начала, должен был преследовать своими шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знаменитого историка английской реформации и самого видного, между историками, представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, по крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику — и нет беззакония, которого не оправдал бы он своей диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он в правду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главной основой его полагает — сознание долга

общественного, преданность государственной идее и закону, — и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменой долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов — и долгу, и закону, и пороку, и преступлению каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдой и доблестью, за то завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда: как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упоминая о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные, наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: «англичане — строгий и суровый народ — они не знают сострадания там, где *нет законной причины* допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию — чувство, которое, по мере своего развития в душе, необходимо закаливает ее и образует железный характер. Строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом; но ввиду совершенного развращения и зла никакое сострадание немислимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем *преступление с несчастьем*».

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого подлинно есть в душе такое смешение, и который искони называет *преступника несчастным*.

Как личный характер, как характер племени, так и характер каждой церкви, в связи с усвоившим ее племенем, имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились в истории германского и англо-саксонского племени. Пуританский дух создал нынешнюю Британию. Протестантское начало привело Германию к силе, к дисциплине и к единству. Но на оборотной стороне его есть такие недостатки, такие стремления религиозного самосознания, которые не могут быть нам сочувственны. Протестантство — как всякая духовная сила — склонно к падению именно в том, в чем полагает свои коренные духовные основы. Стремясь к абсолютной правде, к очищению верования, к осуществлению верования в жизни, — оно слишком склонно уверовать в собственную правду и увлечься до гордого поклонения своей правде и до презрения к чужому верованию, которое *отождествляет с неправдою*. Отсюда, с одной стороны, опасность впасть в лицемерие и фарисейскую гордость. И подлинно, немало слышится из протестантского мира голосов, которые с горечью сознают, что лицемерие составляет язву строгого лютеранства. С одной стороны, начав с проповеди о терпимости, о свободе мысли и верования, протестантство в дальнейшем развитии своем выказало склонность к фанатизму особого рода, — к фанатизму гордого разума и самоуверенной праведности перед всеми прочими видами верования. Строгий протестантизм с презрением относится ко всякому верованию, которое представляется ему неочищенным, недуховным, исполненным суеверий и внешних обрядностей, ко всему, что он сам отбросил, как рабские узы, как детскую одежду, как принадлежность невежества. Создав для себя сам кодекс верований и обрядов, он считает свое исповедание исповеданием *избранных, просвещенных и разумных*, и всех держащихся старой церкви склонен считать людьми низшего рода, не умеющими возвыситься до истинного разумения. Это презрительное отношение к прочим верованиям, может быть, несознательно выражается в протестантстве; но оно слишком ощутительно для иноверцев. Никакая религия не свободна от большей или меньшей склонности к фанатизму; но смешно слышать, когда с обвинением в фанатизме обращаются к нам *лютеране*. У нас, при терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему, встречаются, конечно, отдельные случаи исключительности и узкости церковных воззрений, но никогда не бывало и не может быть ничего подобного тому презрению, с которым строгий лютеранин смотрит на непонятные для него, но для нас исполненные глубокого духовного значения принадлежности нашей церкви и свойства нашего верования.

II

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англо-саксонского и, например, русского племени. В английской церкви сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки — как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием перед лицом Бога. Наша церковь большей частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это *его* церковь. Церковь — единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!), где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.

Здесь — войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это — собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное; а богатые люди и знатные в своем околотке — имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе «порядочным людям»? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом — сам по себе, не теряя своей индивидуальности. Говорят, что в последние 20–30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена; места в церквях большей частью открытые, т. е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквях устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться спокойно, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и сама история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое священнослужение — есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, патронатства, и выбор на место составляет достояние — или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор, посреди народа, независимо от народа назначенный и независящий от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией (preferment) и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников (incumbents) могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых preferments, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предупреждением, что нынешний incumbent стар, таких-то лет, и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал («The Church preferment registrar»), с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места, для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благотельно, когда всякое право, личное или

общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви. Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия, — страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, — стала со времени реформы страной диссентеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворения в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуставных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существуют нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь — для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных евангелистов. Вот сколько церквей — и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими; но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенной ненавистью к установленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя вольного церковного общения — free church movement. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви, или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с бою то, что у нас от начала вольно как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи о нашей церкви от людей, бывавших за границей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением мимо действительности. Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. Если верить им — там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Не мудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают; но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить не трудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления — внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших за границу, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую *«за незрелость»*. Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое и смотрит с презрением на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые, обычаи родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натуре своей, увлекаться прежде всего красивой формой,

организацией, внешней конструкцией всякого дела. Отсюда — наша страсть к подражаниям, к перенесению на свою почву тех учреждений и форм, которые поражают нас за границей внешней стройностью. Но мы забываем при этом, или вспоминаем слишком поздно, что всякая форма, исторически-образовавшаяся, выросла в истории из исторических условий и есть логический вывод из прошедшего, вызванный *необходимостью*. Истории своей никому нельзя ни переменить, ни обойти; и сама история, со всеми ее явлениями, деятелями, сложившимися формами общественного быта, есть произведение *духа* народного, подобно тому, как история отдельного человека есть в сущности произведение живущего в нем духа. То же самое сказать должно о формах церковного устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, на которой она выросла; часто прельщаемся мы формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видели, то иной раз не задумывались бы отвергнуть готовую форму при всей ее стройности, и с радостью остались бы при своей старой и грубой форме, или бесформенности, — пока своя у нас духовная жизнь не выведет свою для нас форму. Дух, вот что существенно во всяком учреждении, вот что следует охранять дороже всего от кривизны и смещения.

Наша церковь искони имела и донныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения. Верую народ наш держится донныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это — явления *несущественные*, а случайные и временные. Они зависят от многих условий, — и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что же принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в церкви и общение народа с служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, *ни в самых недостатках*, с народом и стоят и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об *улучшении быта*, сколько об *улучшении духа*, не столько о том, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о том, чтобы *потребность в церкви не оставалась без удовлетворения*. Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Боже дожидаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут *князьями* посреди людей своих, в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что для каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже, всего необходимее — сохранить в себе неприкосновенным простое, природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это — неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется и обеспечивается от действия всяких *чиновных* форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство. Как ни драгоценны, во многих отношениях, эти формы и теории, они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в ней простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие о правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно, и вот что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей и учреждений, фальшиво извращенных фальшивым развитием, — а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень. Боже избави, чтоб и он когда-нибудь был у нас подточен криво поставленной церковной реформой.

III

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения; но когда согласишься на их обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду; чувствуешь, как наш обряд прост и величествен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и через него священные слова и обряды сами за себя говорят — и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступать в молитвенное общение со всей церковью. Протестантский молитвенный обряд, при всей наружной простоте своей, требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, — т. е. огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление. Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию, — становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом. И в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово, — когда проповедник действительно духовный человек или талант. Говорят большей частью *работники* церковного дела чрезвычайно натянутым голосом, с крайней аффектацией, с сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже, когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи... Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда. Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово. И церковный идеал нашей проповеди, как живого слова, есть *учение* веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

IV

Говорят, что обряд — неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться — значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, — та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку, — значило бы тоже, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в

обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас, в России, характерная народная черта — религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени, исполненный поэтических образов и движений, плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву. Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественной тишиной молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждой и благоговейной верой. Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу — взглянуть в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с пением, с церковной молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, — и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души! Но иностранец редко понимает ее, потому что она — совсем ему чужая. У нас чувство любви, пораженное смертью, расширяется в погребальном обряде; у него — оно болезненно сжимается от того же обряда и поражается одним ужасом.

Немец-лютеранин, живший в Берлине, потерял в России горячо любимую сестру православную. Когда он приехал к нам, накануне погребения, и увидел любимую сестру, лежащую в гробе, ужас поразил его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговения уступило в нем место отвращению, с которым он присутствовал при прощании с мертвым телом и должен был сам принять в нем участие... В этом, как и во многом другом, немец не может понять нас, покуда не поживет с нами и не войдет в глубину духовной нашей жизни. От этой же, кажется, причины ничто столько не возмущает лютеранина в нашей церкви, как поклонение св. мощам, которое для нас самих, но природе нашей, кажется так просто и естественно, — когда мы и своим покойникам кланяемся, и их тело обнимаем и чествуем в погребении. Он, не живя нашей жизнью, не видит в этом чествовании ничего, кроме дикого суеверия, а для нас — это движение и дело любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять нас, так же как нам дико и противно слышать о возникшей недавно в германском и в английском обществе агитации, требующей введения нового погребального обряда. Они хотят, чтобы мертвые не предавались земле, а сжигались в особо устроенных печах, — и требуют этого с утилитарной и гигиенической точки зрения. Пропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счет частных лиц усовершенствованные печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожигание... Голоса растут, крики усиливаются, во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Из какого дальнего мира, из какого быта доносятся до нас эти звуки — и какой этот мир чужой для нас, какой неприятный и холодный! Нет, не дай Бог умереть в том краю, на чужбине, вдали от матери сырой земли русской!

V

Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; — мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви

для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народной жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и на^д родом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке; народ молится по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общему молитвой. Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая может быть в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически расположенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды — неблагоприятными; звуки церковного речитатива — нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в котором не распознаешь слов — не гимном народного собрания, не воплем, льющимся из души, — но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собой богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине. То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, за которую он душу готов положить, так он ее любит. Русское церковное пение — как народная песнь, льется широкой, вольной струей из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какой торжественной поэмой выпевается догматик, слагается стихира с канонархом, каким одушевлением радости проникнут канон Пасхи или Рождества Христова. Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напевы, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройное, *истовое* — действительно праздник русскому человеку, и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте, — русская душа, привыкшая к церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Дерзайте»... Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им

...без волненья
Внимать невозможно...
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово,
Но в храме, средь боя,

И где я ни буду,
Услышав его, я
Узнаю повсюду...

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе... Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародной молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

Что ж сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен — повинен ленивый и несмыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свет благолепия и пения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов... Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне не мало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она — живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно. В ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжелой страды; в ней и белому и серому человеку, и богатому и бедному одно место. Разукрашена она паче царской палаты — дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем дому; каждый может назвать церковь своей, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку. Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле не ошибается, и дает верно и свято на верное и святое дело.

ВЕРА

I

десь, на земле, подлинно мы ходим *верою*, а не видением, и жестоко ошибается тот,

кто думает, что погасил в себе веру, и хочет жить отныне одним видением. Как бы высоко ни поставил себя над миром ум человеческий, он не разделен с душой, а душа все стремится верить, и верить безусловно: без веры прожить нельзя человеку. И не жалкий ли это обман, что человек, отвергая веру в действительное, в существующее, в то, что сказывается душе его реальной истиной, делает предмет своей веры теорию и формулу, ее чествует, ей, как идолу, поклоняется, ей готов принести в жертву себя самого и целый мир в душе своей, и свободу свою, и всех своих ближних. Теория и формула, какие бы ни были, не могут заключать в себе безусловное, и каждая из них, возникнув в уме человеческом, есть, по необходимости, нечто неполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмеримо, что от века было и есть, что неизменно и бесконечно, чего не могу я обнять, но что *меня объемлет и держит* — вот, во что хочу я верить как в безусловную истину, — а не в дело рук своих, не в творение ума своего, не в логическую формулу мысли.

Бесконечность вселенной и начало жизни невозможно вместить в логическую формулу. Бедный человек, кто, составив себе такую формулу, хочет с ней пройти через хаос бытия — хаос поглотит его вместе с жалкой его формулой. Сознание своего бессмертного я, вера в Единого Бога, ощущение греха, искание совершенства, жертва любви, чувство долга — вот истины, в которые душа верит, не обманываясь, не идолопоклонствуя перед формулой и теорией.

II

Какое таинство — религиозная жизнь народа такого, как наш, оставленного самому себе, неученого! Спрашиваешь себя: откуда вытекает она? — и когда пытаешься дойти до источника — ничего не находишь. Наше духовенство мало и редко *учит*, оно служит в церкви и исполняет требы. Для людей неграмотных Библия не существует; остается служба церковная и несколько молитв, которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном между отдельным лицом и церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ не понимает решительно ничего, ни в словах службы церковной, ни даже в «*Отче наш*», повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов молитвы.

И однако — во всех этих невоспитанных умах воздвигнут, — как было в Афинах, — неизвестно кем, алтарь *Неведомому Богу*; для всех — действительное присутствие воли Провидения во всех событиях жизни — есть факт столь бесспорный, так твердо укоренившийся в сознании, что, когда приходит смерть, эти люди, коим никто никогда не говорил о Боге, отверзают Ему дверь свою, как известному и давно ожидаемому Гостю. Они в буквальном смысле *отдают Богу душу*.

III

«В начале было слово» — так благовествует Евангелист. Великий германский писатель захотел поправить эту мысль богослова своим философским анализом, заставив над ней задуматься Фауста. «Нет», — говорит Фауст: «в начале было *дело*». Когда бы Гёте писал своего Фауста в наше время, Фауст сказал бы, вероятно: «в начале был *факт*». Факт — это излюбленное понятие новейшей материальной философии, ячейка, из которой она строит вселенную, столп и основание всего того, что она называет *истиной*.

Какая неправда! Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть, не может служить основанием. Факт есть нечто существенно реальное, неразрывно связанное с условиями материальной природы, и в ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отделить этот факт от материальной его среды, определить духовное его начало, уловить его истинный разум, — как уже теряемся в сети предположений, гипотез, недоумений, возникающих в уме каждого отдельного

мыслителя, — и чувствуем свое бессилие познать его *истину*. Вот почему история представляет нам такое смешение представлений о каждом событии, о каждом историческом деятеле, когда мы пытаемся анализировать духовное значение того или другого. Самая высшая добросовестность исторического исследования может стремиться лишь к начертанию верной картины событий и действий в связи с современными им условиями жизни и деятельности, к восстановлению факта в полной по возможности материальной его обстановке, с исследованием причин, последствий и побудительных причин исторической деятельности. Очевидно, что наука здесь не может обойтись без художника, и всякий подлинный историк должен быть художником в труде своем. Для художества необходим идеал; следовательно, историк, в оценке событий и действующих лиц, непременно имеет в виду идеал, черты коего могут быть не одинаковы у каждого. Каждый склонен увлекаться своим идеалом, то есть своим представлением о совершенстве в побуждениях, делах и учреждениях человеческих. К событиям, во взаимной их связи, историк относится критически, и характер критики определяется сложившимся у каждого мировосприятием. Вот почему так различны и часто противоречивы суждения и приговоры исторической критики о знаменитейших деятелях и важнейших событиях истории. Кого один возвышал вчера, того другой сегодня развенчивает, и наоборот, кого прежде историческая наука выставляла извергом, в том после находит черты нравственного превосходства. Едва ли когда будет конец этим колебаниям исторической критики; — ибо самый идеал ее представляет колеблющиеся черты и с каждым поколением ученых художников изменяется.

Несравненно раньше прагматической истории из глубины народного сознания и творчества народного возникла *легенда* и продолжает твориться наряду с историей. Она служит сама источником для истории и предметом исторической критики, но невзирая ни на какую критику, остается драгоценным достоянием народа, сохраняя в себе всю свежесть непосредственного представления. Народ понимает ее и любит ее, — и, прибавим, продолжает творить ее, не только потому, что склоняется к чудесному, но потому еще, что чувствует в ней глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства, — истину, которой не может дать ему никакой — самый тонкий и художественный — критический анализ фактов. Тех героев народной поэмы, которых развенчивает история, народ продолжает чтить; в них драгоценны для него черты идеала — идеала силы, добродетели, святости, ибо в этих идеалах, а не в людях, не в событиях, не в преходящих образах жизни, народ чувствует *абсолютную истину*. Ученые не хотят понять, но народ *чувствует душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осязательно, определить числом и мерою, — но в нее можно и должно *веровать*, ибо абсолютная истина доступна только *вере*. Ничего нет совершенного, ничего — цельного, ничего — единого в делах, чувствах и побуждениях человеческих, ибо всякий человек раздвоен сам в себе и только стремится к объединению, падая и колеблясь на каждом шагу. Итак, если подойдем с анализом к каждому подвигу, к каждому событию, к каждому историческому лицу, — никто его не выдержит, и героев не будет ни единого. Каждому подвигу предшествует такая цепь нравственных колебаний, его объемлет такая сеть разнохарактерных ощущений, побуждений, случайных событий, направляющих, изменяющих, рассекающих волю человеческую, — что для пытливого ума не остается и места подвигу, как цельному, свободному проявлению воли, направленной к идеалу. Но в народном представлении подвиг является именно цельным и живым проявлением силы: так верует народ, и без этой веры жить не может, ибо на ней вся жизнь человека держится, посреди рыдания и жалости, и горя, и лжи, кою она материально наполнена.

Вот почему заблуждаются те, которые хотят разложить эту веру в народе, отнять ее у него, под предлогом заботы о мнимой исторической истине. Людям необходима вера в идеал истины и добра; — но как сохранить эту веру, как поддержать ее, если она не воплощается в *живом образе*? Отнять у людей этот образ, значит — отнять самую веру, которая в нем выражается, веру в абсолютную истину, в цельное совершенство. Вот почему, между прочим, любимое по преимуществу чтение русского народа — жития святых, Четья-минея,

вся составленная из живых образов подвига, добродетели, нравственного совершенства. Каждый из этих героев святости был — человек, со всеми слабостями человеческой природы, со всяким колебанием мысли, побуждения и воли, со всей низостью падения человеческого, и если б можно было разложить душу его, мы бы увидели в ней всю тайну первородного греха и все бессилие борьбы человека с самим собою. Но из этой борьбы вышел он победителем, но борьба эта совершалась во имя высших идеалов совершенства, коего мера не на земле, а на небе, в области абсолютного. И этот подвиг его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестивого писателя, которая вложила в описание живую любовь к той же истине, живое стремление к тому же идеалу. Вот в чем народ чувствует *истину* — и не сомневается, и верует, в то время, когда пытливая философия ученого агностика пытается факты и, думая познать в них материальную истину, в то же время о духовной истине, об истине, которая сама отзывается в верующей душе, — насмешливо спрашивает: «Что есть истина?»

IV

В мифе Прометея, связанного Зевсом и пригвожденного к кавказскому утесу, нельзя не распознать идею новейшего скептицизма, в сопоставлении с идеей Всемогущего Бога, Создателя вселенной. Это протест гордого духа против общего верования в бытие Божие, отрицание невыносимого для гордости чувства стыдения (*reverentia*) перед Божеством, покорности и поклонения Божеству. Нужды нет, что от Божества взят, у Божества похищен священный огонь, которым живет, согревается, оплодотворяется человечество, — человек знать этого не хочет и, владея Божественным огнем, хочет жить в отчуждении от Божества, самовластно.

Сфинкс древней басни сидел на распутии и предлагал каждому путнику свою загадку. Кто не умел разгадать ее, тот был жертвой сфинкса и повергался в пропасть: одолеть чудовище мог лишь мудрец, находивший разгадку.

Что такое сфинкс в нашей жизни? Вся наша жизнь — бесконечная, с виду механическая цепь явлений и событий — (фактов). Друг друга сменяя, совокупляясь друг с другом, все они, пролетая мимо, несут на крыльях свои вопросы духу человеческому, и каждая минута, в коловращении времени, проводит свои, *современные* вопросы. Потребна мудрость духа, чтобы ответить на них, чтоб разрешить их: у кого нет ее, тот становится *рабом* фактов и явлений, — *рабом своего времени* — хотя бы и величался человек *современным*. Факты подавляют его со всех сторон, господствуют над ним, — и выходит человек *пошлых путей*, чувственного обычая (рутинер), — и до того доходит в слепом повиновении фактам, что исчезнет в нем наконец последняя искра света, просвещающего всякое существо, достойное имени и звания человеческого. Но когда человек остается верен лучшим духовным побуждениям своей природы, когда умеет различать основные начала духовной жизни и твердо стоит в духе, не повинаясь фактам, но господствуя над ними, тогда все они ровно ложатся около него в жизни, каждый на свое место: не они его одолели, но он одолел их...

Сфинкс древнего Египта не то, что сфинкс древней Греции, хотя и тот и другой выражает таинство души человеческой.

Египетский сфинкс — мирное существо получеловеческое, полуживотное. Перед храмом, перед царской гробницей, проходя длинным рядом сфинксов, человек ощущает близость Божества — и таинства смерти. Сфинкс является образом таинственного созерцания, погруженного в себя и в идею Божества: древние египтяне олицетворяли в нем Божество солнечного света.

Не таков сфинкс *нового* мира, создание Греческой фантазии. Это существо демонического происхождения, порождение чудовищного Тифона и Ехидны, олицетворение

не светлого Божества, но темной силы Тартара, — существо зверское, хищное, губительное. И в нем выражается таинство, но не таинство погруженного в себя созерцания, — а таинство страстной, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинкс доныне не перестает задавать человечеству страшные, таинственные загадки, — загадки неразрешимые. Тысячи умов пытаются найти решение, разгадать загадку жизни и религии, — и не могут. Но каждая и безуспешная попытка решения — только погружает мысль и чувство в новые бездны, и каждая загадка порождает лишь сотни и тысячи новых неразрешимых загадок, — и перед бедным человечеством разверзается, в виду чудовища, бездна гибели, и оно ринется в бездну, если не остановится на камне простой твердой веры и ясного мышления...

V

Великий вопрос, не prestaющий смущать ум и совесть во всем человечестве — вопрос об осуществлении в отношениях человеческих правды и любви, заповеданных Христом, полагаемых христианской Церковью в основание своего учения. Нет разума, который нашел бы ключ к разрешению этого противоречия, нет совести, которая успокоилась бы на нем. Проходя мыслью кровавую историю войн, раздоров, насилия, неправды, невежества и суеверия, длящуюся с начала мира до сегодняшнего дня — и в общественной и в частной жизни, всякий с ужасом спрашивает себя — где же и в чем же исполнение закона Христова посреди того ада, в котором живем мы и движемся? Где выход из того состояния, в котором самая религия представляется как бы зеркалом лжи и лицемерия, показателем противоречий между делом и сознанием, сетью обрядов и формальностей, служащих покровом прельщаемой совести и мнимым оправданием неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцем, есть дела любви и разума, на которых мысль отдыхает и временно успокаивается; но, обозревая совокупность жизни, видит начальства и власти, забывающие свое призвание, видит несправедливые прибитки в чести и славе, богатство, нажитое хищничеством, поглотившее самую власть и владеющее миром, видит беззаконие, самоуверенное под покровом наружного благочестия, видит тысячи и миллионы, приносимые в жертву богу войны, идолам вражды и насилия, видит наконец бесчисленные массы, прозябающие без сознания, раздираемые нуждой, живущие и умирающие в страдании. Где же, спрашивает, царство Христово, царство любви и правды, где же действительная сила религии, — где цель и конец бедственной человеческой жизни?

Сколько раз слышалось и слышится — издревле и до наших дней ожидание золотого века в человечестве — и оканчивается оно разочарованием, если не безнадежностью — ибо христианин не может, не должен быть безнадежен. Ветхозаветные пророки изображают будущее состояние мира и благоденствия в человечестве. Христос принес на землю заповедь любви и мира, но не исполнение этой заповеди — исполнение, в котором не оставалось бы места свободе: эта самая заповедь, по Его слову, явилась мечом и должна была зажечь огонь в сердцах человеческих. И когда, по воскресении Его, от сердец, загоревшихся надеждою на обновление мира, послышался робкий вопрос: «Господи, не в это ли лето устрояешь Ты царство Израилево?» — ответ Его был: «не дано вам разуметь времена и лета: их Господь положил во Своей власти». — Время, размеренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лет как день, и день как тысяча лет.

И юная Церковь Христова первых столетий, посреди гонений, посреди пороков и бед, жила тою же надеждою на устроение царства Израилева: эта надежда на победу правды в человечестве была новой силой, которую внесло в безотрадный языческий мир христианство. Настало страшное время, когда эта сила, по-видимому, иссякла, и надежда перешла в отчаяние. Взятие и разрушение Рима Аларихом поразило весь христианский мир невыразимым ужасом; и верующие души омрачились сомнением: где же сила христианства, где же спасение? А мир языческий вопиял: все беды эти от новой религии Христовой. Тогда Блаженный Августин ободрил смущенную совесть и восстановил надежду христианскую

своей одушевленной книгой *«О граде Божием»*, разъясняя людям судьбы Промысла Божественного в истории человечества и непреложность учения о царстве, еже не от мира сего.

С тех пор и доныне, в эпохи общественных бедствий, в разгаре насилия и разврата общественного, сколько раз поднимается тот же самый вопрос в христианском мире! И мы переживаем такое время, когда начинает, по-видимому, оживать давно прошедшее язычество, и поднимая голову, стремится превозмочь христианство, отрицая и догматы его, и установления, и даже нравственные начала его учения, — когда новые проповедники, подобно языческим философам древнего века, с злобной иронией обращают к остатку верующих горькое слово: «вот к чему привело мир вате христианство! вот чего стоит ваша вера, искажившая природу человеческую, отнявшая у нее свободу похоти, в которой состоит счастье!» Что же, неужели погибает перед напором древнего язычества «победа, победившая мир, вера наша»?

Нет, она остается целой, в святой Церкви, о коей Создавший ее сказал: «врата адовы не одолеют ее». Она хранит в себе ключи истины, и в наши дни, как и во все времена, всяк, кто от истины, слушает глас ее. В ней, под покровами образов и символов, содержатся силы, долженствующие собрать отовсюду рассеянное и обновить лицо земли. Когда это будет, ведает Един, времена и лета положивый в Своей власти.

А между тем, от самого начала Церкви, нетерпеливые сердца, гордые умы не перестают искать, помимо Церкви и вопреки ей, новых учений, долженствующих обновить человечество, исполнить закон любви и правды, водворить мир и благоденствие на земле. Поражаясь чудовищными противоречиями между учением Христа Спасителя и жизнью христиан, составляющих Церковь Христову, — они возлагают вину на Церковь с ее установлениями и, приходя к отрицанию существующей от начала христианства Церкви, думают утвердить вместо нее свое, очищенное, по мнению их, учение Христово, отрешенное от Церкви, выводимое по их усмотрению из отдельных текстов Евангелия.

Странное заблуждение. Люди, подверженные той же похоти и тому же греху, какому подвержено все окружающее их общество, люди одного со всеми естества, раздвоенного в себе, склонного хотеть, чего не делает, и делать, чего не хочет, — себя одних представляют едиными в духе и являются непризванными учителями и пророками. Похоже на то, как бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точке, тогда как весь мир и они вместе с миром кругом обращаются. Начиная с разрушения закона, сами они не в силах создать новый закон из тех частей и обрывков цельного учения, которое отвергли. Отрицая Церковь, — они приходят, однако, к тому, что хотят создать свою церковь с своими проповедниками и служителями, и если успевают в том, повторяется на них то же, что они осуждали и против чего восставали, — только с новым умножением лжи и лицемерия, и безумной гордости, возвышающейся над миром. Гордость ума, с презрением к людям той же плоти и крови, возбуждает их разорять старый закон и созидать новый. Они забывают, что Тот же Учитель Божественный, имя Коего призывают они, будучи кроток и смирен сердцем, не хотел изменять ни одной черты в законе, но каждую черту оживотворял духом любви, в ней сокрытым.

Осуждая догматизм и обрядность, они сами под конец обращаются в узких и властолюбивых догматиков; восставая против фанатизма и нетерпимости, они сами становятся злейшими фанатиками и гонителями; проповедуя любовь и правду, сами бессознательно проникаются духом злобы и пристрастия. Гордость, ослепляя их, не допускает их сознать, какой соблазн вносят они в область веры, разрушая простоту ее и цельность в душах простых, которые Церковь не успела еще воспитать и привести в сознание веры.

Не трудно, — но и как безумно, как бессовестно соблазнить простую душу, в которой есть только чистое, незанятое поле религиозного чувства, душу невоспитанную, невежественную в истинах веры! Ужасно подумать, что к такой душе приступают с голым отрицанием Церкви, и хотят ее уверить, что эта Церковь с ее учением и таинствами, с ее

символами, обрядами и преданиями, с ее поэзией, одушевлявшей из века в век множество поколений, есть ложное и ненавистное учреждение. Простая душа была душа смиренная: сектантство возводит ее на высоту *гордости* — своей, *особливой* верой, а веру вмещает в узкую рамку сектантской *формулы*. Нет души, как бы ни была она невежественна, — к коей нельзя было бы привить такую бессмысленную гордость с уверенностью в своей правде — пред кем? Пред целым народом, составляющим Церковь и живущим в смиренном сознании своей греховности перед Богом и в смиренной надежде на прощение грехов и на спасение в молитве церковной. Плоды этой гордости в дальнейшем ее развитии очевидны. Это — *лицемерие* в самодовлеющем сознании праведности; это — злобное раздражение против всех иначе верующих, и до страсти доходящее стремление к отвлечению от церковного стада рассеянных овец его, — причем всякие средства считаются годными для достижения цели.

Церковь подлинно корабль спасения для пытливых умов, мучимых вопросами о том, во что веровать и как веровать. Пуститься с этими вопросами в безбрежное море исследований, сомнений и логических выводов — страшно для ограниченного ума человеческого, для прихотливого воображения, для самолюбия, стремящегося искать новых путей. Утвердившись на своей, надуманной вере, ставя себя с ней выше авторитета церковного, человек в сущности может кончить тем, что уверует в себя, как носителя веры; может дойти до нетерпимости и фанатизма, до странного обольщения мысли — принимать веру за самодовлеющий элемент спасения, отрешенный от жизни и деятельности.

VI

Передовые люди, основатели религий, на высотах созерцания созная, в системе вероучения, идею Божества и Его отношения к человеку, создают в применении к ней и формы культа, одухотворенные той же идеей. Но масса народная пребывает в долине и свет чистого созерцания, озаряющий верхи гор, не скоро до нее доходит. В массе религиозное представление, религиозное чувство выражается во множестве обрядностей и преданий, которые с высшей точки зрения могут казаться суеверием и идолослужением. Строгий ревнитель веры возмущается, негодует и стремится разбить насильственной рукой эту оболочку народной веры, подобно тому как Моисей разбил тельца, слитого Аароном по просьбе народа, в то время когда пророк пребывал в высоком созерцании на высотах Синайских. Отсюда, доходящая до фанатизма, пуританская ревность вероучителей.

Но в этой оболочке, нередко грубой, народного верования таится самое зерно веры, способное к развитию и одухотворению, таится та же вечная истина. В обрядах, в преданиях, в символах и обычаях — масса народная видит реальное и действенное воплощение того, что в отвлеченной идее было бы для нее не реально и бездейственно. Что, если, разбив оболочку, истребим и самое зерно истины; что, если, исторгая плевелы, исторгнем вместе с ними и пшеницу? Что, если, стремясь разом очистить народное верование под предлогом суеверия, истребим и самое верование? Если формы, в которых простые люди выражают свою веру в живого Бога, иногда смущают нас, — подумаем, не к нам ли относится заповедь Божественного Учителя: «блюдите, да не презрите единого от малых сих верующих в Мя».

В одной арабской поэме встречается такое поучительное сказание знаменитого учителя Джелалледина. Однажды Моисей, странствуя в пустыне, встретил пастуха, усердно молившегося Богу. И вот какой молитвой молился он: «О, Господи Боже мой, как бы знать мне, где найти Тебя и стать рабом Твоим. Как бы хотелось надевать сандалии Твои и расчесывать Тебе волосы и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебе молоко от стада моего: так Тебя желает мое сердце!» Распалился Моисей гневом на такие слова и сказал пастуху: «ты богохульствуешь. Бестелесен Всевышний Бог, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни прислуги. Что ты говоришь, неверный?»

Тогда омрачилось сердце у пастуха, ибо не мог он представить себе образ без телесной формы и без нужд телесных: он предался отчаянию и отстал служить Господу.

Но Господь возглаголал к Моисею и так сказал ему: «для чего отогнал ты от Меня раба

Моего? всякий человек принял от Меня образ бытия своего и склад языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебе яд, а иному мед сладкий. Слова ничего не значат: Я взираю на сердце человека».

VII

Древний Персидский поэт Мухаммед Руми (13 стол.) — автор знаменитой поэмы *Маснави*. В ней есть замечательные стихи о молитве, достойные верующей души.

«Некто, в сладость устам своим возопил в тишине ночной: „о Алла!“ А сатана сказал ему: „молчи ты, угрюмец, долго ли тебе болтать пустые слова? не дожدهшься ты ответа с высоты престольной, сколько ни станешь кричать: „Алла!“ и делать печальный вид“.

Смутился человек, горько ему стало, и повесил он голову. Тогда явился ему пророк Кизр в видении и сказал: „Зачем перестал ты призывать Бога и раскаялся от молитвы своей?“ И отвечал человек: „не слышал я ответа, не было гласа: „Я здесь“, и боюсь я, что отвержен стал от благодатной двери“. И сказал ему Кизр: „Вот что повелел мне Бог. Иди к нему и скажи: О, искушённый, во многом человек! Не Я ли поставил тебя на служение Свое? Не Я ли заповедал тебе взывать ко Мне? И Мое: „Здесь Я“ одно и то же, что и твой вопль: „Алла!“ И твоя скорбь и стремление твое и горячность твоя — все это Мои к тебе вестники; когда ты боролся в себе и взывал о помощи — этой борьбою и воплем Я привлекал тебя к Себе и возбуждал твою молитву. Страх твой и любовь твоя — покровы Моей милости, и в одном твоём слове: „о Господи!“ множество отзывается голосов: „Я здесь с тобою!““»

ИДЕАЛЫ НЕВЕРИЯ

I

ревнее слово «рече безумен в сердце своем: несть Бог» выступает ныне во всей своей силе. Правда его ясна как солнце, хотя ныне всеми «передовыми умами» овладело какое-то страстное желание обойтись без Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди, — по мысли добродетельные и честные, те задают себе вопрос, как бы сделать конструкцию добродетели, чести и совести без Бога. Жалкие усилия!

Франция, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала, в лице своего правительства, организовать народную школу «без Бога». На беду, у нас иные представители интеллигенции не далеко ушли от московской княжны, лепетавшей: «Ах, Франция, нет в мире лучше края», и недавно еще прославленный педагог указывал нам на новую французскую школу, как на идеал для подражания.

В числе новых французских книг, официально предназначенных для руководства при обучении в женских школах насчет правительства, есть книга, называемая: «Нравственное и гражданское наставление молодым девицам», сочин. г-жи Гревиль (Instruction morale et civique des jeunes filles). Это нечто вроде гражданского катихизиса нравственности; коим предполагается заменить в школах обучение Закону Божию.

Книга эта весьма замечательна. Она разделена на три части, и каждая часть на отдельные главы. Первая часть содержит в себе правила нравственности, понятия о долге, о чести, совести и т. под. Вторая часть содержит в себе краткое учение о государстве и о государственных учреждениях. Третья часть — учение о женщине, о ее призвании, качествах и добродетелях... Изложение книги — сжатое, простое, ясное — как пишутся учебники, со множеством наглядных примеров, с картинками в тексте. Нельзя ничего возразить против сущности самого учения: оно зовет к порядку, к доброй нравственности, к чистоте мысли и намерения, к добродетели, и обращается энергически к чувству и сознанию долга, а женщине строго указывает ее обязанности в домашней жизни и в обществе.

Но примечательно вот что. Ни разу ни на одной странице не упоминается о Боге, нет ни малейшего намека на религиозное чувство. Автор, изъясняя глубокое и решительное значение *совести* в человеке, дает такое определение совести: «совесть есть соображение того *мнения*, которое имеют о нас и о действиях наших другие люди» (*consideration de l'opinion des autres*). На этом-то зыбком и колеблющемся грунте *людского мнения* сочинители стремятся утвердить нравственные основы целой жизни! Подлинно исполняется на этом слово: «Мнящиеся быть мудрыми — обезумели».

К несчастью, в этот поток безумия, разливающийся ныне во Франции, привлекаются, и из нашей бедной России, мелкие ручьи доморощенной интеллигенции; и от глашатаев ее, из журналов и газет, из передовых статей и фельетонов, слышится повторяемый хором тот же голос московской княжны. К тому же хору присоединяются нередко благонамеренные, но чрез меру наивные и неопытные умы, воображающие, что журналы и газеты приносят им какое-то «новое слово» цивилизации.

Жалко читать, как журнальные критики рассуждают в вопросе школы, что без религии, конечно, нельзя, что религиозное обучение нужно, но все это без церкви и ее служителей. Говорили бы уже прямее и проще. Мы-де не отвергаем религиозного обучения, мы-де даже требуем его, мы не понимаем школы без него, — только не хотим *клерикализма*. А под покровом этого термина разумеется церковь и церковность. Этот иезуитский прием изложения, усвоенный новыми апостолами народной школы, вводит в заблуждение многих читателей, не умеющих «различать дух» писания.

Не знают эти добрые люди, что ныне и слово *религия*, как и многие другие слова, изменилось в своем значении, и под ним стали уже многие разуместь нечто такое, от чего, если б распознал, отступил бы с ужасом человек, подлинно верующий в Бога. Не знают, что в наше время выдумана религия *без Бога*, и самое слово *Бог*, в употреблении у так называемых *людей науки*, получило особое значение.

В 1882 году появилась замечательная книга, обратившая на себя общее внимание. Отрицание Бога высказывалось большею частью ненавистниками всякой религии, с чувством ожесточения, с выражением легкомысленной или злобной иронии, с проповедью об исключительном значении *материи* во вселенной. В этой книге в первый раз выразилось, в спокойном тоне, с достоинством, с идеальным воззрением на жизнь, целое учение о религии без Бога. Книга эта называется: *Натуральная религия* (*Natural Religion*, Lond. 1883). Автор ее — оксфордский профессор Сили (Seeley), тот самый, коего первое сочинение *Ессе Ното*, появившееся лет за десять пред тем, обратило тогда на себя внимание не только людей мирской науки, но и благочестивых идеалистов, мнивших найти в нем какое-то новое слово о Христе и о христианской вере. Некто из уверовавших в эту книгу издал ее и в русском переводе.

Но людям церковным и в то время книга эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнестись к ней с доверием.

Книга эта содержала в себе художественный анализ земной жизни и характер Иисуса Христа, исключительно в чертах человеческой Его натуры. Она была написана в духе глубокого благоговения, языком философским, но не чуждым терминов церковных и богословских. Целью анализа явно выказывалось намерение выяснить образ Христов для благоговейного подражания. Казалось, автор — христианин, исполненный благочестивого чувства. Однако, многим благочестивым читателям этой книги было от нее смущение: как будто с их христианским воззрением и чувством не сходится то же, по-видимому, христианское чувство и воззрение автора. Образ Христа в этой книге был образом верховной святости, чистоты и благости, но не родной, не свой, не тот, Кого мы привыкли с детства чтить Богочеловеком, Словом Божиим, не тот Христос, Кого славит Церковь Христова. Что-то неладное слышалось в книге, как будто автор ее или утратил веру, или недалеко стоит от того. Однако, в этой книге автор видимо утверждал еще веру в личное бытие Бога, в бессмертие души человеческой, в мессианское значение пришествия Христа в мир, и даже, хотя с некоторым колебанием, в действительность чудес Христовых.

Прошло 10 лет, и он является, как ни в чем не бывало, восторженным проповедником религии, но религии новой, не Христовой. Старое откровение, — говорит он, — отслужило свою службу; вместо него явилось новое: новейшие естествоиспытатели, историки, филологи — принесли нам такое откровение, о коем и не мечтали древние пророки. С этой точки зрения библейская критика немецких ученых выше и совершеннее самой Библии. Обращаясь с необыкновенной наивностью, к людям верующим и церковным, он говорит: о чем нам спорить, о чем враждовать друг с другом? Мы можем соединиться в одной вере. Мы, люди науки, тоже веруем в Бога. Наш Бог — природа, которая есть в известном смысле откровение. Итак, мы не безбожники, повторяет он, и весь спор между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь спор о словах. Не все ли равно: у нас Бог — природа, и научная теория вселенной есть тоже теория теизма. Ведь, природа есть сила вне нас сущая, закон ее для нас безусловен, — вот, стало быть, Божество, которому мы поклоняемся.

Не любопытно ли, что автор, отвергая личное бытие Божие, в то же время протестует энергически против обвинения в атеизме, и сам отвергает и осуждает атеизм. Что же такое атеизм, по его мнению? На этот вопрос автор отвечает таким измышлением ума, который простому уму может показаться безумием.

«То, что обыкновенно называют атеизмом, есть очень метафизическая форма отрицания и не имеет серьезного значения. Подлинный, действительный атеизм имеет гораздо более серьезное значение и заключает в себе великое нравственное зло. Настоящий атеизм может быть назван общим термином *своеволие* (wilfulness). Именно, всякая деятельность человеческая есть сделка с природою, сделка нашей потребности с неотразимым законом природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать доступным все, что наметила сильная воля, не признавать вне себя никакой высшей силы, которую надлежит принимать в соображение и склонять на свою сторону для успеха в предприятии, вот в чем заключается *чистый атеизм*. Желая пояснить примером эту смутную и спутанную мысль, автор приводит в пример государство, являющее в судьбах своих образ чистого атеизма, и указывает на Польшу. *Sedet aeternumque sedebit*, — говорит он, — несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое своеволие, за то, что услаждалась безграничной личной свободой, не хотевшей считаться с природой вещей».

Составляя свою теорию религии, автор описывает подробно, как вырождается, по его мнению, религиозное чувство из науки, и как, проходя через призму воображения, оно расчленяется в нравственном существе человека в форму тройкой религии: религию природы, религию человечества и религию красоты.

В этой книге, написанной с талантом и одушевлением, высказано, хотя в первый раз с такой полнотой, далеко не новое учение; читатель встречает в нем знакомые черты столь модного в наше время позитивизма, черты, — знакомые по сочинениям Канта, Джорджа Эллиота и столь излюбленного у русских переводчиков Герберта Спенсера. Ни в одном из упомянутых сочинений не обличается так явственно внутреннее бессилие этой модной теории, как в книге «Natural Religion». До какого безумия может договориться ум, когда, увлекаемый гордостью самообожания, отвергает *сверхъестественное* в жизни и вселенной, и принимается строить свою теорию жизни в ее отношениях ко вселенной. Эта теория осуждена вертеться в заколдованном кругу и сама себе противоречит. Упраздняя личного Бога, она пытается удержать религию, и напрасно пытается установить предмет религиозного чувства, ибо кроме живого Бога нет предмета для религии. Отвергая невидимый мир, бессмертие души и будущую жизнь, она полагает, однако, целью жизни счастье и напрасно пытается ограничить его пределами материи и земного бытия. Называя откровение выдумкой, или мечтою, и всякий догмат ложью, она сама, однако, ищет опоры себе не в ином чем, как в новом догмате, выставляя, в виде аксиомы, в которую должно верить, неперенный и бесконечный прогресс человечества.

Эта теория как раз отражает в себе то *своеволие* и гордое упорство мысли, которое наш автор соединяет в своем понятии с атеизмом. В ней не видно той цельной и ясной *уверенности*, которая служит признаком истины и прочности учения. Проповедники ее — в

своей проповеди о счастье человечества — все спотыкаются на действительности, которой не могут отрицать. Эта действительность есть неотвратимое присутствие зла и действия, насилия и неправды в человеческой жизни — аргумент *пессимизма*. Этого аргумента нельзя утаить; одни из апостолов позитивизма стараются подавить и заглушить его, или лицемерно обходят его молчанием; другие, более добросовестные, останавливаются перед ним с грустью и сомнением. К числу последних относится и наш автор. Прославляя новую, проповедуемую им религию природы, человечества и красоты, доказывая всю силу и действенность соединяемого с нею религиозного культа, он в то же время говорит: «Едва начинаем мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлеет для человеческой жизни, как поднимает свою голову пессимизм и приводит нас в смущение». «Если бы не пессимизм, — замечает он в другом месте, — ничто не смущало бы нашего религиозного поклонения». И в самом конце книги, построив свое здание, говорит он такие речи: «Чем далее расширяются и углубляются наши мысли по мере того, как вселенная объемлет нас и мы привыкаем к бесконечности, в пространстве и времени, тем более поражает нас чувство собственного ничтожества, и мы от ужаса цепенеем — нравственный паралич овладевает нами. На время утешаем себя идеей самопожертвования, говорим: пускай я исчезну, буду думать о других. Но вот, скоро и другие становятся для нас столь же презрительными, как сами; все печали человеческие, заодно, кажется, не стоят того, чтобы облегчить их, счастье человеческое — даже высшее — представляется так бледно, что не стоит заботиться о приращении. Весь мир нравственный сводится на одну точку; град духовной жизни, жилище святых — уходит вдаль и светится чуть-чуть заметной звездочкой. Добро и зло, правда и неправда кажутся бесконечно малыми, эфемерными величинами, а вечность и бесконечность остаются где-то вне нравственного мира. Чувство любви замирает и истощается в мире, где все доброе и все пребывающее — холодно, — истощается в своей собственной сознательной слабости и беспредметности. Сверхъестественная религия, — прибавляет автор тут же, — наполняет всю эту пустоту, связуя любовь и правду с вечностью. А если она потрясена, то к чему послужит естественная религия?»

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячим проповедником естественной религии? Так-то серьезный ум способен запутаться в сотканной им же самим умственной сети.

Сущность всей этой книги, при всей умеренности тона, при всей искренности автора — безотрадный парадокс. Что различные мировоззрения — научное, художественное, гуманитарное, заключают в себе элементы религиозного чувства — это верно. Но они не заключают в себе элементов новой веры, новой церкви, а есть отдельные члены — *disjecta membra* — того же христианского мировоззрения. Никакая религия невозможна без признания аксиоматических истин, недостижимых индуктивным путем. К таким аксиомам принадлежит бытие *личного* Божества, духовность души человеческой; отсюда вытекает *супернатурализм*, без которого немыслима никакая религия. Научные же истины (кроме математических) по существу своему условны, существуют сознательно лишь для людей ученых, и лишь *обманом* могут быть навязаны массам в форме догматической. Этот обман ныне и происходит... мы при нем присутствуем ежедневно.

II

Нетерпимость к чужой вере и к чужому мнению никогда еще не выражалась так решительно, как выражается в наше время, у проповедников радикальных и отрицательных учений: у них она неумолимая, жестокая, едкая, соединенная с ненавистью и презрением. Если вдуматься в отношение этих новых учителей к непризнаваемой ими вере, — оно окажется, может быть, еще ужаснее старинной религиозной нетерпимости, вызывавшей кровавые преследования за веру. В последнем случае преследование основывалось на безусловной же вере в истину безусловно существующую. Когда человек верует в данное положение, что оно *должно быть* истиной для всех, что на нем зиждется безусловное

начало жизни и благо для всех и каждого, как магометанин верует в Коран, понятно, что такой человек считает своим долгом не только исповедовать открыто свое учение, но, в случае нужды, и насильно навязывать его другим. Но когда дело идет, все-таки, не более как о мнении, о предположении, хотя бы и наиболее вероятном для того, кто его вывел, — как понять фанатизм такого мнения, как понять, что проповедник его не признает и не допускает ни для себя, ни для других не только противоположного мнения, но даже сделки, хотя бы условной и временной, с противоположным мнением? Между тем, такое страстное отношение к своему мнению или к мнению своей школы составляет принадлежность всех отрицательных учений. Отвергая, как будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую историю духовного развития в человечестве, не признавая ни за каким существующим издревле верованием и духовным состоянием — права на самостоятельное существование, не останавливаясь ни перед одной святыней личного верования, заключенного в душе человеческой, — они требуют для себя свободного входа во всякую душу и повсюду хотят водворить свою так называемую истину. Это называется у них верностью своим убеждениям. Один из представителей учения Конта и позитивистов (John Morley. *On Compromise*) говорит, напр., в своей книге, что первый долг всякого человека в отношении к себе самому и к человечеству — разрешать в душе своей вопрос: верует он или не верует в бытие Божие? Затем, если положим, он пришел к убеждению, что вера в Бога есть не что иное, как слепое и безумное суеверие, — долг его, самый священный, вторгаться с этим убеждением во всякую душу, пользоваться всяким случаем и поводом, чтобы передавать это убеждение — прежде всего родным и близким, а потом, если можно провести его в массу, — всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякие явления и формы частного и общественного быта, в которых прямо или косвенно выражается вера, противоположная этому убеждению... Такой образ действия — что же иное, как не страшное насилие над чужой совестью, и во имя чего? Во имя только своего личного мнения!

Не видать и не слышать ни любви, ни веры в этой бездне самолюбия! А без любви и веры нет истины. Какая разница — слышать голос старого, истинного учителя. Сколько веры и любви, сколько глубокого знания души человеческой в апостольском слове к Коринфянам о том, как следует уважать человеческую совесть. Он знает, что есть истина, но и с этой истиной духовного ведения как осторожно велит он подступать к душе человеческой. Главное дело состоит в том, чтобы душа приняла и обняла новую для нее истину *в духе искренности и правды*, без раздвоения, без разлада с собой, прямой цельной верой. Все, что не от веры, — грех. И апостол учит сильных, знающих, чтоб они щадили совесть слабой братии *в самом суеверии*, покуда душа не созрела еще до восприятия истины цельной верой.

Вы знаете, — говорит он, — что пища не поставит нас пред Богом: едим ли мы — не приобретаем, не едим ли — не лишаемся. Вы знаете, что идол — ничто, что ложный бог не существует вовсе, и потому вы со спокойной совестью покупаете на торгу и едите мясо, которое принесено было в жертву идолу. Но не у всех такое ведение: есть слабые, у которых может быть *идольская совесть*, для которых идол — есть еще нечто существующее, страшное и злое: для них есть такое мясо — значит приносить жертву идолу, и когда они видят, что вы едите его, их слабая совесть соблазняется, то есть, приходит в разлад, в раздвоение по предмету веры. Итак, чтобы не соблазнять совестью слабого брата, лучше не есть мяса вовеки. Апостол — проповедник *свободы* христианской, происходящей от уверенности, жертвует в этом случае *свободой* — *охранению совести*, потому что совесть для него всего дороже.

III

Удивительно безумие, до которого доходят умные люди, взрослые в отчуждении от действительной жизни, и ослепленные гордой уверенностью в непогрешимости разума и логики. Обожание разума, отвратив их от положительной религии, доводит их, наконец, до

ненависти ко всякому верованию в Единого Живого Бога. Но те из них, которые добросовестны настолько, что не могут отвергать потребности в вере, заявляемой всем человечеством, — те, у кого есть еще сердце, не совсем иссушенное черствой логикой мысли, — допускают законность религиозного чувства в природе человеческой и пытаются удовлетворить его какой-то новой, или измышленной религией. Вот тут и приходится дивиться мечтательности планов, изобретаемых умами, по-видимому стремящимися изгнать все похожее на мечту из своих выводов и соображений. Штраус, в своем сочинении «О старой и новой вере», отвергая христианство, говорит с энтузиазмом о религиозном чувстве, но предметом его и центром ставит вместо Живого Бога — идею вселенной, так называемое: *Universum*. В Лондоне появились в свет найденные по смерти Милля отрывочные мысли его о религии, под заглавием: «Три статьи о религии: Природа, Польза религии и Деизм». Пользу религии он признает несомненно, но отвергает христианство, хотя выражается о лице Христа с величайшим энтузиазмом. «Невозможно, — говорит он, — оспаривать великое значение религии для отдельного человека: это источник личного удовлетворения и высокого духовного настроения для каждого. Но спрашивается, для достижения этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемого нами мира, или и без того одна идеализация нашей земной жизни, одно возбуждение и развитие высших о ней представлений могут создать для нас поэзию, и даже в высшем смысле этого слова, религию, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (с помощью воспитания) еще лучше, чем вера в существа невидимые, благородить наше существование и деятельность?»

Вопрос, достойный Милля, каким мы его знаем по истории его воспитания. Любопытно, как же он решает этот вопрос. Милль не мог искать решения, подобно Штраусу, в идее вселенной; не мог потому, что Милль, странно сказать, не верует в природу; в начале той же книги он, верный, как всегда, отчуждению своему от жизни, входит в исследование: «насколько верно то учение, которое полагает в природе мерило правды и неправды, добро и зло, и руководственным началом для человека ставит сообразование с природой или подражание природе». Этому учению Милль не признает, потому что в природе видит слепую силу, и ничего более. Она внушает желания, которых не удовлетворяет, воздвигает великие дарования, силы и дела с тем, чтоб в одно мгновение сокрушить их, — словом сказать, разоряет в миг, слепо и случайно, все, что ею самой создано. Оттого Милль отказывается строить на природе какую бы то ни было систему нравственности или религии.

Что же придумывает Милль? Вот подлинные слова его: «Когда представим себе, до какого сильного и глубокого чувства может достигнуть, при благоприятных условиях воспитания, любовь к отечеству, нам станет понятно, что очень возможно и любовь к обширнейшему отечеству, то есть, к целому миру, довести до подобной же силы развития и обратить ее в источник высших духовных ощущений и в начало долга. Кто желает ознакомиться с понятиями древности об этом предмете, пусть читает Цицеронову книгу: *De officiis*. Нельзя сказать, чтобы мера нравственности, устанавливаемая в этом знаменитом рассуждении, была очень высокая. По нашим понятиям, эта нравственность во многих случаях очень слабая и допускающая сделки с совестью. Но относительно одного предмета — относительно долга к отечеству — не допускает она никакой сделки. Чтобы человек, имеющий хотя малую претензию на добродетель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семейством — всем, что ему дорого на свете, этого не допускал и в предположении славный проповедник греческой и римской нравственности. И так история показывает, что людям можно было привить воспитанием не только теоретическое убеждение в том, что благо отечества должно быть выше всяких иных соображений, но и практическое сознание, что в этом состоит величайший долг жизни. Если это было возможно, то почему же нельзя внушить им чувство точно такого же безусловного долга относительно общего блага для целого мира? Такая нравственность в натуре высоко одаренной почерпала бы силу из чувства симпатии, благоволения, восторженного одушевления идеальным величием, а в натурах низшей организации — из тех же чувств, по

мере природного их развития, да притом еще из чувства стыда. Эта высокая нравственность не зависела бы нисколько от надежды на награду. Единственной наградой, которую имели бы в виду, и мысль о коей служила бы утешением в печали и опорой в минуты слабости, — единственной наградой было бы не сомнительное загробное бытие (!), — но в этой *жизни одобрение всех уважаемых нами* людей и, в идеальном смысле, одобрение всех, как живых, так и умерших людей, кого мы чествуем и кого похваливаем. Действительно, та мысль, что дело наше одобрили бы умершие друзья и родные наши, когда бы были живы, способна одушевить нас не менее, чем мысль об одобрении современников... Сколько раз люди высокого духа одушевлялись к делу мыслью о том, что им сочувствовал бы Сократ, Говард, Вашингтон, Антонин. Если такое настроение духа назовем просто нравственным, слово это будет недостаточно. Оно есть действительно — *религия*: добрые дела составляют только часть религии, плоды ее, но не самую религию. Сущность религии состоит в крепком и серьезном направлении чувств и желаний к идеальной цели, превосходящей все личные цели и желания. Это условие осуществляется в религии *гуманности* точно так же, как и в сверхъестественных религиях: я убежден даже, что осуществляется еще лучше и совершеннее»...

Приведенные слова сами за себя говорят. Они показывают всю близорукость, — лучше сказать — все безумие человеческой мудрости, когда она хочет делать отвлеченную конструкцию жизни и человека, не справляясь с жизнью и не зная души человеческой. Такая религия, какую воображает Милль, может быть, пожалуй, достаточна для подобных ему мыслителей, заключивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления; но разве может принять ее и понять ее народ, — живой организм, — объединяющийся *только живым чувством и* сознанием, а не мертвым и отвлеченным началом? В народе такая религия, если б могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы, — если б *мог* позабыть веру отцов своих, — снова олицетворил бы для себя как идею — вселенную, разбив ее на отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духовного начала, разбив его на представителей силы духовной, — и явились бы только вновь многие лживые боги вместо единого Бога истинного... Неужели этому суждено еще сбыться?!

НОВАЯ ВЕРА И НОВЫЕ БРАКИ

ас уверяют, что старой нашей вере приходит конец, что ее сменит новая вера, которой заря, будто бы, занимается. Бог даст, если это и случится, то еще не скоро, — и если случится, то лишь на время. Конечно, то будет время не просвещения, а помрачения.

В старой вере нашей — истина природы человеческой, истина непосредственного ощущения и сознания, та истина, которая отзывается в правду, из глубины духа, на слово божественного откровения. Эта истина есть — и зерно ее лежит в каждой душе. Про нее сказано: «всяк, иже есть от истины, послушает гласа Моего».

Старая вера наша основана на том, что каждый человек чувствует в себе живую душу, бессмертную, единую, и этой живой души не смешивает ни с природой, ни с человечеством, в ней сознает *себя* перед Богом и перед людьми, и в ней хочет жить вечно. Своей живой душою вступает он в свободный союз любви с другими людьми, и как живет ею, так и отвечает за нее сам. Ею ощущает он своего Создателя так же просто, как живет, и в этом простом ощущении, независимо от разума, обретает свою веру.

Являются проповедники новой веры. Одни смеются над старой верой — и все хотят разрушить, не желая создать нового. Другие, по-видимому, серьезнее: они *премудрости ищут* и хотят навязать нам свою надуманную премудрость; всякий из них предлагает нам свое сочинение, свою конструкцию веры, потому что, сознавая все-таки необходимость верования, они хотят только сочинить свое. Но какие жалкие эти сочинения! Все они бессильны собрать около себя и одушевить живой идеей — живые человеческие души,

потому что ни одно из них не ставит живого Духа Божия в центре верования.

В последнее время много появилось отдельных систем, в которых философы, каждый по-своему, стараются построить для человечества — *веру без Бога*. Все воображают, что построили такую веру *разумом*; но это неправда. Разуму человеческому — когда он рассуждает прямым путем, не закрывая от себя и не отрицая фактов, существующих в природе и в душе человеческой, — некуда деваться от идеи о Боге. Настоящий источник безбожия не в разуме, а в *сердце*, совершенно так, как сказано пророком: сказал безумный в *сердце* своем: нет Бога. В сердце, т. е. в желании, источник всякого падения, — как бы ни старался разум осмыслить себе всякое падение. Начинается всегда с того, что сердце ищет себе полной свободы и возмущается против заповеди и против Того, у Кого начало и конец всякой заповеди. Чтобы освободиться от заповеди, нет другого пути, как отвергнуть верховный авторитет ее, и поставить на место его свой авторитет, свое *знание*. Повторяется, в бесконечные веки, самая старая из всех человеческих историй. «Ты сам можешь знать добро и зло; сам можешь быть себе Богом». Вот откуда искони идет безбожие.

Но чудно, по правде, видеть, как разум сам себя обманывает. Какая, кажется, религия без Бога, — а такую именно религию проповедуют безбожники. Они говорят: «вместо старых, сказок о Боге, возьми действительную истину. Бога не видеть нигде; действительно есть — *природа*, действительно есть — *человечество*. Оно не только факт, оно есть сила, способная дойти с течением веков и тысячелетий, посредством опыта и разума, до безграничного развития, до невообразимого совершенства. В этой идее столько внутренней глубины и силы, что она совершенно достаточна заменить человеку вполне религиозное чувство и связать всех людей воедино общей религией *человечества*». (Разве это не все равно, что библейское: будете яко бози?) Таково учение новейшей *позитивной* науки и так называемого *утилитаризма*.

Но вот, с другой стороны, появляется знаменитый апостол Тюбингенской школы богословия, столп библейской ученой критики, доживший до старости в ученом отрицании исторических основ христианства. Это доктор Штраус, автор «Жизни Иисуса», автор новой своей книги «О старой и новой вере», в которой он сам говорит, что изложил исповедь свою, результат всех ученых трудов своих и философских размышлений о Боге, природе и человеке. В ту пору, когда он был еще молод и писал свою «Жизнь Иисуса», он входил еще осторожно и с некоторым уважением в разбор фактов, освященных вековым верованием человечества, касался еще вдумчиво до основных идей, лежащих в глубине верования; в нем еще слышались остатки богопочтения. Но теперь, когда он говорит о Боге, в слове его слышится как будто раздражительное ожесточение против Бога, как против вредной и лживой басни, извратившей мысль человеческую. Слышно, как «сердится Юпитер».

Но, отвергая Бога, Штраус, по странному противоречию мысли, не хочет расстаться с религиозным чувством. Он сознает в себе *потребность* этого чувства, сознает и присутствие религиозного ощущения. Что же служит предметом его, что может иметь достаточную силу для того, чтобы овладеть душой и наполнить ее? Не личное божество, которого нет. — отвечает Штраус, — но *вселенная* (Universum), составляющая источник всяческого блага и всяческой силы, и существующая по закону чистейшего разума. Мы *требуем*, говорит он, для этой вселенной того же самого благоговейного чувства, с которым добрый человек старой веры относился к своему Богу.

Что же такое эта вселенная, и есть ли в ней что духовное? Отвечая на этот вопрос, Штраус являет в себе последователя *позитивной* философии и новейшего материализма. Учение Канта и Лапласа об исключительном действии механических сил в планетной системе распространяет он безусловно на все явления животной и психической жизни, почитает дух человеческий не иным чем, как результатом сложного действия одних материальных, механических сил. Души в духовном смысле не признает Штраус. Естественно, что он следует восторженно теории Дарвина о происхождении видов, не ограничиваясь приложением этой теории к явлениям внешнего мира, но распространяя ее произвольно и мечтательно на всякого рода явления жизни. Противоречия и скачки в

выводах нисколько не смущают его. Все сомнения устраняются в нем его *новой верой*, верой в излюбленную им гипотезу — несовместную, по его мнению, с бытием Бога. Нужды нет, что то или другое общее положение (например, о произвольном зарождении) еще не доказано. Не знаю, как именно и когда — говорит Штраус, — но оно непременно будет доказано. В проблеме о происхождении человека он не задумывается над трудными вопросами о том, как объяснить и как согласить с системой — происхождение в человеке умственных сил, нравственных идей, эстетических понятий? Все объясняет одно, точно магическое, словечко: *натуральный подбор особей*. Подлинно, если в этом мечтательном увлечении излюбленной теорией заключается новая вера, то она есть не что иное, как *новое суеверие*. Учение Дарвина появилось как нельзя более кстати, в подкрепление проповедникам новой веры. Оно как будто озарило их новым светом, как будто принесло им ключевой камень, которого не доставало, чтобы замкнуть свод над целой системой. Ухватившись за это учение, многие уже готовы провозгласить или провозглашают старую веру окончательно разбитой и уничтоженной. Со всех сторон спешат прилагать начала, выведенные Дарвином, ко всем явлениям общественного быта — и выводят из них такие последствия, о которых, может быть, не помышлял сам Дарвин. Школа, — как нередко случается, забегает вперед учителя и, пожалуй, вскоре провозгласит его самого отсталым. Между тем учение Дарвина, само по себе, в сфере тех данных, из которых оно выведено, едва ли оправдывает те опасения за целостность веры, которые возбудило оно во многих ее ревнителях. Система Галилея, теория Ньютона, новые открытия в геологии — возбуждали в свое время еще более волнений и опасений; но вера верующих не пострадала от них. То же будет, конечно, и с учением Дарвина. Притом, в настоящее время и его нельзя еще признать утвердившимся в науке, и первый энтузиазм, им возбужденный, начинает ослабевать. В него веруют безусловно только *dii minorum gentium*. Передовые люди науки уже начинают убеждаться в том, что это учение в сущности представляет только гипотезу, более или менее вероятную, но еще не удостоверенную достаточным числом данных; что положения, выведенные гениальным ученым из многочисленных его наблюдений, в сущности оказываются смелыми и остроумными обобщениями подмеченных им явлений, — еще оставляющими много места недоумениям и сомнениям.

Но эти положения, возведенные на степень непреложной истины, повторяются уже массой, как *verbum magistri*, и стали, с одной стороны, поговоркой в устах пошлых болтунов либерализма, с другой стороны, многим серьезным умам дали основание для множества новых умственных комбинаций. Кто нынче не говорит о Дарвине? Кто не играет словами: *естественный подбор, половой подбор, борьба за существование*? Однако, не одних людей легкомысленных, но и людей подлинно ученых и серьезных — открытие Дарвина заставляет делать странные скачки в рассуждениях и выводах науки; заставляет высказывать такие речи, которые здравому, не предубежденному суждению представляются не иначе, как фантазией или безумием. Это случается всего чаще тогда, когда при помощи Дарвинова учения хотят построить и завершить систему такого мирозерцания, в котором не оставалось бы места Божеству. И действительно, Дарвиново учение очень выгодно для аргументации нового материализма. Человек, по мнению Дарвина, совершенно напрасно присваивал себе и своему духу какое-то особое, привилегированное положение во вселенной; на этом основании он воображал себя одного, в числе прочих животных, под прямым и личным водительством Божества. Это заблуждение, и заблуждение вредное (*the pernicious idea*). Человек, как и всякое иное животное, есть не что иное, как продукт последовательного и безграничного развития природных форм животной жизни. Желаящему не трудно вывести отсюда такое заключение, что, *стало быть*, Бога нет, и нет души бессмертной. Далее, из учения Дарвинова следует, что все существующие формы живого бытия образовались и все последующие образуются из векового и непрестанного движения материи, выводящего из одной формы другую, с новым развитием и с новыми орудиями для потребностей. Желаящему не трудно вывести отсюда такое заключение, что в самой материи заключается творческая сила — именно это вековое движение; что в нем

заключается вся будущность природы и человечества — способная к безграничному прогрессу и совершенствованию, и что затем нет никакой надобности отыскивать еще вне самой материи конечную творческую силу, равно как и промысел Создателя о вселенной и человеке. Понятно, как сходится такой вывод со вкусом мысли, отвергающей Бога и верующей в человечество. Непонятно только, как может здравый смысл поверить в вечность материи, отвергая начальную ее причину, и поверить тому, что движение, само по себе, — движение чего бы то ни было, одним течением — хотя бы и векового времени — способно произвести все, что угодно представить себе любому воображению.

Печальное будет время, — если наступит оно когда-нибудь, — когда водворится проповедуемый ныне новый культ человечества. Личность человеческая немного будет в нем значить; снимутся и те, какие существуют теперь, нравственные преграды насилию в самовластию. Во имя доктрины, для достижения воображаемых целей к усовершенствованию *породы*, будут приноситься в жертву самые священные интересы личной свободы, без всякого зазрения совести; о совести, впрочем, и помина не будет при воззрении, отрицающем самую идею совести. Наши реформаторы, воспитавшись сами в кругу тех представлений, понятий и ощущений, которые отрицают, не в состоянии представить себе ту страшную пустоту, которую окажет нравственный мир, когда эти понятия будут из него изгнаны. Каковы бы ни были увлечения нынешнего законодателя, правителя, нынешней власти всякого рода, — над нею все-таки носится безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представление о личности человеческой, о такой личности, которую нельзя раздавить так, как давят насекомое. Это представление имеет корень в вековечном понятии о том, что у каждого человека есть живая душа, единая и бессмертная, следовательно, имеющая *безусловное бытие*, которое не может истребить никакая человеческая сила. Оттого между нами нет такого злодея и насильника, который, посреди всех своих насилий, не озирался бы на попираемую им живую душу с некоторым страхом и почтением. Отнимите это сознание — во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человека странно обольщают себя, когда во имя этой свободы присоединяются к возникающему культу человечества.

К счастью, можно понадеяться, что эти новые горизонты, которые возвещает нам в будущем гуманитарное учение, никогда не откроются для человечества, или, по крайней мере, откроются не для всех и не надолго. Что могли бы нам открыть эти горизонты новой веры и новой жизни, — о том мы можем судить лишь по некоторым выводам и политическим приложениям, на которые от времени до времени нам указывают. Вот один из образчиков такого приложения дарвинизма к сфере практического законодательства. Есть особое рассуждение Дарвина «о благодетельных для человечества стеснениях брачного союза». В самом начале статьи Дарвин объясняет, что одна из основных идей христианства — есть идея о личной ответственности каждого человека за свою душу и о независимости человека, в духовной его сфере, от других людей. Вследствие того предполагается, что человек в праве располагать, на свой ответ, и своим телом. Эта идея и это право должны, по мнению Дарвина, уступить действию нового открытого им закона — его так называемой эволюционной доктрине. Человек вправе располагать своим телом и позволять себе удовлетворение телесных потребностей лишь постольку, поскольку то и другое согласуется с нормальным развитием целой *породы*. Итак, по мере того как наука дарвинизма будет из своих наблюдений над фактами материальной жизни делать новые выводы и обобщения закона эволюции, законодательство может и должно стеснять личную свободу человека, даже в удовлетворении органических его потребностей...

Ссылаясь на статистические данные, собранные в двух, трех ученых сочинениях о физиологическом влиянии наследственности на человеческий организм, Дарвин утверждает, что в Англии на каждые 500 человек приходится один безумный, что это безумие происходит в большей части случаев от наследственного к нему расположения, передаваемого браком и рождением, и что количество отдельных случаев безумия

увеличивается со временем в геометрической прогрессии. Итак, человеческой породе угрожает безграничное распространение зла, против коего необходимо принять меры. С этим выводом можно согласиться. Все дело состоит в том, какие потребны меры. Дарвин, с своей точки зрения, предлагает стеснить для человечества до крайней возможности свободу вступления в брак. «Необходимо, — говорит он, — улучшить, укрепить физический организм в породе человеческой; для этой цели мы должны придумать искусственное средство *в замену ослабевшей силы естественного подбора* (natural selection). Только при таком условии возможен прогресс в породе человеческой. *Mens sana in corpore sano. Успехи врачебного искусства служат в этом случае не к общей пользе, а ко вреду.* Нет сомнения, что в массе нашего цивилизованного общества уровень здоровья понизился до тревожных размеров, и что врачебное искусство, *поддерживая слабые организмы, будет только увеличивать зло для будущих поколений.* Необходимо, по мнению Дарвина, *сократить число слабых, вступающих в состязание с сильными в борьбе за существование*».

И вот какие средства предлагает Дарвин законодательству для этой цели. Все существующие ныне в законе препятствия ко вступлению в брак должны оставаться в силе. Сверх того, закон должен, *во-первых*, признать решительным поводом к разводу появление у одного из супругов некоторых болезней. Каких? Дарвин приводит целую номенклатуру болезней, передаваемых по наследству; мы находим здесь болезни легких, желудка, печени, подагру, золотуху, ревматизм и т. п., так что всякому супругу, не обладающему геркулесовским здоровьем, приходилось бы трепетать ежедневно за целостность своего брачного союза, тем более, что расторжение его по болезни было бы связано с государственным интересом, или, правильнее сказать, с интересом всего человечества. И можно думать, что Дарвин имеет в виду приложение к делам этого рода — следственного процесса, потому что далее, *во-вторых*, предлагает он ввести общую систему медицинского осмотра для удостоверения упомянутых болезней, по образцу принятий *в Германии системы осмотра для удостоверения способности к военной службе.* *В-третьих*, Дарвин предлагает постановить следующее правило. Никто не может вступать в брак, не представив удостоверения в том, что он никогда в жизнь свою не страдал припадками безумия. Мало того. Он должен еще представить *чистую свою родословную* (untainted pedigree), т. е. доказать, что его родители и даже дальнейшие, восходящие и боковые родственники никогда не имели подобных припадков. Все это необходимо, — поясняет Дарвин, — для того, чтобы в массе человечества значительно умножилась способность к счастью (capacity for happiness), с уничтожением главного препятствия к счастью, т. е. болезни.

Возможно ли вводить такие стеснения? спрашивает сам Дарвин, и отвечает: пустяки! Такие ли еще стеснения существуют в разных брачных законах. В доказательство приводит он на трех страницах примеры из разных законодательств, больше всего из варварских, ссылаясь заодно и на Пруссию, и на Сиам, и на Китай, и на Мадагаскар, и на остяков с тунгусами. Ему нравится, по-видимому, всякое запрещение вступать в брак и всякий повод к разводу. В конце своей речи он даже не останавливается на самом простом вопросе, который можно было бы предложить ему: к чему послужат законные запрещения брака, когда помимо брака невозможно будет удержать натурального сожития и, стало быть, деторождения? Может быть, вопрос этот и приходил на мысль автору, но достаточным на него ответом представлялся ему, приведенный в той же статье, пример Японии, где *проституция* не только терпима, но даже под рукою покровительствуется государством, так как ею задерживается *чрезмерное нарождение людей*...

Так судит сам первоверховный апостол дарвинизма! Очевидно, что основным законом бытия представляется ему «*охранение сильных и истребление слабых*». И это самое правило хочет он, по-видимому, возвести в *положительный закон* для гражданского общества. Вот образчик крайнего увлечения односторонней идеей, собственного изобретения. Кроме нес — будущий законодатель общества ничего не видит и не признает, по-видимому, в жизни и развитии никаких иных мотивов, кроме физиологических. О нравственных мотивах не упоминает он вовсе. Сильные и слабые организмы представляются

ему числами, отвлеченными величинами, на которых он делает расчет математически. Он даже не задает себе вопроса о том: действительно ли сильным его прибудет силы от того, что погибнут все слабые? Он не хочет знать той истины, что всякая сила возрастает от деятельности, от испытания и упражнения, и что сильным не на чем будет испытывать и возвращать свою силу, когда не будет слабых, требующих помощи и покровительства; что сами слабые, возрастая при благоприятных условиях, могут окрепнуть, достигнуть силы и стать способными передать ее другому поколению. Наконец, и сильные, устоявшие в натуральной борьбе, способны ли будут послужить к усовершенствованию породы, если сила их будет поддерживаться механическим процессом на счет слабых?

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

I

тарые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее отделаться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух. Но это ожидание редко сбывается. Старое учреждение тем драгоценно, потому незаменимо, что оно не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, из истории, и освящено в народном мнении тем авторитетом, который дает история и... одна только история. Ничем иным нельзя заменить этого авторитета, потому что корни его в той части бытия, где всего крепче связуются и глубже утверждаются нравственные узы — именно в *бессознательной* части бытия.

Напрасно полагают иные, что можно заменить его сознанием *идеи* вновь введенного учреждения, которое желают привить к народной мысли; только отдельные лица могут скоро усвоить себе такое сознание рассудочною силой и найти в нем для себя источник одушевления и веры. Для массы недоступно такое сознание; когда хотят его привить к ней извне, оно преломляется, дробится, искажается в ней, возбуждая лживые и фантастические представления. Масса усваивает себе идею только непосредственным чувством, которое воспитывается и утверждается в ней не иначе, как историей, передаваясь из рода в род, из поколения в поколение. Разрушить это предание возможно, но невозможно, по произволу, восстановить его.

В глубине старых учреждений часто лежит *идея*, глубоко верная, прямо истекающая из основ народного духа, и хотя трудно бывает иногда распознать и постигнуть эту идею под множеством внешних наростов, покровов и форм, которыми она облечена, утративших в новом мире первоначальное свое значение, но народ постигает ее чутьем и потому крепко держится за учреждения в привычных ему формах. Он стоит за них, со всеми оболочками, иногда безобразными и, по-видимому, бессмысленными, потому что оберегает инстинктивно зерно истины, под ними скрытое, оберегает против легкомысленного посягательства. Это зерно всего дороже, потому что в нем выразилась древним установлением исконная потребность духа, в нем отразилась истина, в глубине духа скрытая. Что нужды, что формы, которыми облечено установление, грубые: грубая форма — произведение грубого обычая, грубого нрава, — внешней скудости, явление преходящее и случайное. Когда изменятся к лучшему нравы, тогда и форма одухотворится, облагородится. Очистим внутренность, поднимем дух народный, осветим и выведем в сознание *идею*, — тогда грубая форма распадется сама собою и уступит место другой, совершеннейшей; внешнее само собою станет чисто и просто.

Но этого не хотят знать народные реформаторы, когда рассвирепеют негодованием на грубость формы и на злоупотребление в древних установлениях. Из-за обрядов и форм они

забывают о сущности учреждения и готовы разбить его совсем, ничего в нем не видя, кроме грубости и обрядного суеверия. Сами они думают, что перешли через него, пережили его и могут без него обойтись, но забывают о миллионах, которым оно доступно по мере быта и духовного развития их лишь в этой грубой обрядности. Разбейте ее в виду народа, — и народ, только ее знающий, утратит с обрядностью целое учреждение, утратит, может быть, навсегда, возможность уловить снова заложенную в нем предками идею и облечь ее в новую форму. Не лучше ли было бы начать преобразование изнутри, просветить сначала дух народный, углубить в нем идею, очистить и обогатить нравственный и умственный быт его? Тогда и идея была бы спасена, и насилия народной жизни не было бы, в грубая форма сама собою перелилась бы в новую.

«Великое дело, — говорит Карлейль, — существующее, действительное, то — что возникло из бездонных пропастей теории и возможности, образовалось и стоит между нами определительным, бесспорным фактом, на котором люди живут и действуют, жили и действовали. Недаром так крепко держатся за него люди, пока он стоит еще, с такой скорбью покидают его, когда он рассыпается и уходит. Остерегись же, опомнись, восторженный поклонник перемены и преобразований! Подумал ли ты, что значит обычай в жизни человечества, как чудно все наше знание, вся наша практика повешены над бесконечной бездной неведомого, несодеянного — и все существо наше точно бесконечная бездна, через которую переброшен мост обычая, тонким земляным слоем, сложенным вековою работой...»

«Этот земляной мост — система обычаев, определенных путей для верования и для делания: не будет его — не будет и общества. С ним оно держится; хорошо ли, худо ли — существует. В них, в этих обычаях, истинный кодекс законов, истинная конституция общества; единственный, хоть и неписанный, кодекс, которого никоим образом нельзя не признать, которому нельзя не повиноваться. Что мы называем писаным кодексом, конституцией, образом правления — все это разве не миниатюрный образ, не экстракт того же неписаного кодекса? Да, таким должен быть писанный закон, и таким всегда стремится быть, но никогда не бывает, и в этом противоречии начало борьбы бесконечной...»

«Но если в обычае ты чувствуешь ложь, и эта ложь давит тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, неужели не разрушить ее? Да, не мирись с ложью и разрушай ложь, но помни, в каком духе разрушаешь: смотри, чтобы не в духе ненависти и злобы, не с насилием эгоизма и самоуверенности, а в чистоте сердца, со святой ревностью к правде, с нежностью, — с состраданием. Смотри — разрушая ложь, не заменяешь ли ты ее новой ложью, новой неправдой, от тебя самого исходящей, своей ложью, своей неправдой, от которой новые лжи и неправды родятся? Если так, — последние у тебя будут горше первых»...

II

Из-за свободы ведется вековая брань в мире человеческих учреждений и отношений, но где она, эта свобода — если нет ее в душе человеческой? Отовсюду разум ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить их, по-видимому, для свободы, но на самом деле для того, чтобы поставить на место их авторитеты настоящей минуты, вновь изобретенные сегодня, может быть, для того только, чтобы завтра на смену им явились еще новые. Современный проповедник разума и свободы смотрит презрительно на православно-верующих, за то что они держатся веры, которую приняли в церкви от отцов и дедов, и остаются верны преданию; но и он разве сам из себя выработал то, что считает основными мнениями своими о церкви и о главных предметах жизни духовной? Он осмеивает благоговейное чувство церковного человека и называет его суеверием. А у него самого за плечами стоит так называемое общественное мнение и связывает его благоговейным страхом: разве это не величайшее из суеверий? — Нам дорого наше прошедшее, и мы относимся с уважением к истории. Он смеется, он презирает прошедшее и верует в настоящее; но это поклонение настоящему чем лучше нашего, осмеянного им

чувства? Нам говорят: сбросьте с себя ярмо закона, разорвите вековые цепи предания, и будете свободны... Но какая же то свобода, когда вместе с тем настоящее status quo возводится нам в закон и ложится на нас ярмом еще тяжелее прежнего, когда вместо непогрешимого и вдохновенного Писания, которое отнимают у нас, велят нам верить в непогрешимость мнения толпы народной и хотят, чтобы в большинстве голосов слышали мы непререкаемый и непогрешимый голос истины!

III

Старые листья
(из Саллета)

Срывая с дерева засохшие листья,
Вы не разбудите заснувшую природу,
Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,
Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора — тепло весеннее дохнет,
В застывших соках жизнь и сила разольется,
И сам собою лист засохший отпадет,
Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,
Почуяв жизнь, придет в весеннее брожение:
В нем — новой поросли готовится назем,
В нем — свежий сок найдет младое поколение...

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять
Веков минувших плод и тело в мире новом:
Великого удел — творить и исполнять:
Кто разоряет — мал во царствии Христовом.

Не быть тебе творцом, когда тебя ведет
К прошедшему одно лишь гордое презренье.
Дух — создал старое: лишь в *старом* он найдет
Основу твердую для *нового* творенья.

Век будут истинны — пророки и закон,
В черте единой — вечный смысл таится,
И в новой истине лишь то должно открыться,
В чем был издревле смысл глубокий заключен.

IV

Один разве глупец может иметь обо всем ясные мысли и представления. Самые драгоценные понятия, какие вмещает в себе ум человеческий, — находятся в самой глубине поля и в полумраке; около этих-то смутных идей, которые мы не в силах привести в связь между собою, — вращаются ясные мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. Если б отрезать нас от этого заднего плана — в этом мире остались бы только геометры да понятливые животные; даже точные науки утратили бы в нем нынешнее свое величие, зависящее от скрытого их отношения к другим бесконечным истинам, которые мы только

угадываем и в которые лишь по временам как будто презираем. Неизвестное — это самое драгоценное достояние человека; недаром учил Платон, что все в здешнем мире есть слабый образ верховного домостроительства. Кажется даже, что главное действие красоты, которую мы видим, состоит в возбуждении мысли о высшей красоте, которой не видим, и очарование, производимое, например, великими поэтами, состоит не столько в картинах, ими изображаемых, сколько в тех дальних отголосках, которые они будят в нас и которые идут из невидимого мира.

V

Жизнь, бьющая ключом юности, желания и страсти, жизнь, исполненная наслаждений, жизнь под непрерывным солнечным сиянием погружает человека в сон, с которым расстаться не хочется, — сон, исполненный очаровательных видений и сладостных ощущений.

Но этот сон когда-нибудь прерывается — горем, заботой, разочарованием, падением счастья и правды. Солнце скрывается, наступает ночь, со всеми страхами ночи.

Но посреди этой ночи на своде небесном являются смятенной душе, в таинственной красоте своей, небесные светила, которых она не видела и не чуяла в солнечном сиянии. Тогда таинственное объемлет и смиряет смятенную душу, и восстают перед ней светила детства и юности — простота первых ощущений, ласки и заветы бескорыстной родительской любви, забытые уроки Богопочтения и долга, — все, что вместе с началом бытия возникло для человека из вечности, и питало, и учило, и освещало начатки юной жизни. Надо было душе погрузиться в мрак ночи для того, чтоб открылись ей из глубины прошедшего небесные ее светила.

VI

Карус, в своем известном сочинении *О душе* (Psyche), — говорит, что ключ к уразумению существа *сознательной* жизни души лежит в области *бессознательного*. В своей книге он исследует взаимное отношение сознательного к бессознательному в жизни человеческой и высказывает много глубоких мыслей. Божественное в нас, — говорит он, — что мы называем душою, не есть что-либо раз остановившееся в известном моменте, но есть нечто непрестанно преобразующееся в постоянном процессе развития, — разрушения и нового образования. Каждое явление, бывающее во времени, есть продолжение или развитие прошедшего и содержит в себе чаяние будущего. Сознательная жизнь человека разлагается на отдельные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представление своего существа в прошедшем и будущем, настоящая же минута от нее ускользает, ибо едва явилась — как уже переходит в прошедшее. Приведение всех этих моментов к единству, сознание *настоящего*, т. е. обретение истинного твердого пункта между настоящим и будущим, возможно лишь в области бессознательного, т. е. там, где нет времени, но есть вечность. Известные мифы греческой древности об *Эпиметее* и *Прометее* имеют глубокое значение, и недаром греческая мудрость поставляла их в связь с высшим развитием человечества. Вся органическая жизнь напоминает нам эти две оборотные стороны творческой идеи в области бессознательного. И в мире растительном, и в мире животном каждое побуждение, каждая форма дают нам знать, когда мы вдумываемся, что здесь есть нечто возвращающее нас к прошедшему, к явившемуся и бывшему прежде, и предсказывает нам нечто имеющее образоваться и явиться в будущем. Чем глубже мы вдумываемся в эти свойства явлений, тем более убеждаемся, что все, что в *сознательной* жизни мы называем памятью, воспоминанием, и все то в особенности, что называем предвидением и предведением, — все это служит лишь самым бледным отражением той явности и определительности, с которой эти свойства воспоминания и предвидения открываются в *бессознательной* жизни.

В сочинении Каруса исследуются случаи, в коих сознательная жизнь души, приостанавливаясь, переходит иногда внезапно в область бессознательного. Замечательно, говорит он, внезапное и непроизвольное возникновение в нашей душе давно исчезнувших из нее представлений и образов, равно как и внезапное исчезновение их из нашего сознания, причем они сохраняются и соблюдаются, однако, в глубине бессознательной души. Представления о лицах, предметах, местностях и пр., даже иные особенные чувства и ощущения, иногда в течение долгого времени кажутся совсем исчезнувшими, как вдруг просыпаются и возникают снова со всей живостью, и тем доказывают, что в действительности не были они утрачены. Бывали отдельные очень удивительные случаи, в коих разом сознание с необыкновенной ясностью простиралось на целый круг жизни со всеми ее представлениями. Известен случай этого рода с одним англичанином, подвергавшимся сильному действию опиума: однажды, в период сильного возбуждения перед наступлением полного притупления чувств, ему представилась необыкновенно ясно и во всей полноте картина всей прежней его жизни со всеми ее представлениями и ощущениями. То же, рассказывают, случилось с одной девицей, когда она упала в воду и утопала, в минуту перед совершенной потерей сознания.

Карус не приводит подробностей и не ссылается на удостоверение приведенного случая: многим, без сомнения, доводилось тоже слышать подобные рассказы в смутном виде. Но вот единственный, нам известный, любопытный и вполне достоверный рассказ о подобном событии самого того лица, с коим оно случилось.

Это случилось с очень известным английским адмиралом Бьюфортом, в Портсмуте, когда он в молодости опрокинулся с лодкой в море и пошел ко дну, не умея плавать. Он был вытащен из воды и впоследствии, по убеждению известного доктора Волластона, записал странную историю своих ощущений. Вот этот рассказ во всей его целости.

Описывая обстоятельства, при которых совершилось падение, он говорит: «Все это я передаю или по смутному воспоминанию, или по рассказам свидетелей; сам утопающий в первую минуту поглощен весь ощущением своей гибели и борением между надеждой и отчаянием. Но что затем последовало, о том могу свидетельствовать с полнейшим сознанием: в духе моем совершился в эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворот, что все его обстоятельства остаются доньше так свежи и живы в моей памяти, как бы вчера со мною случились. С того момента, как прекратилось во мне всякое движение (что было, полагаю, последствием совершенного удушья), — тихое ощущение совершенного спокойствия сменило собой все прежние мятежные ощущения; можно, пожалуй, назвать его состоянием апатии; но тут не было тупой покорности пред судьбою, потому что не было тут ни малейшего страдания, не было и ни малейшей мысли ни о гибели, ни о возможности спасения. Напротив того, ощущение было скорее приятное, нечто вроде того тупого, но удовлетворенного состояния, которое бывает перед сном после сильной усталости. Чувства мои таким образом были притуплены, но с духом произошло нечто совсем противоположное. Деятельность духа оживилась в мере превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями с такой быстротой, которую не только описать, но и постигнуть не может никто, если сам не испытал подобного состояния. Течение этих мыслей я могу и теперь в значительной мере проследить — начиная с самого события, только что случившегося, — неловкость, бывшая его причиной, смятение, которое от него произошло (я видел, как двое вслед за мною спрыгнули с борта), действие, которое оно должно было произвести на моего нежного отца, объявление ужасной вести всему семейству, — тысяча других обстоятельств, тесно связанных с домашней моей жизнью: вот из чего состоял первый ряд мыслей. Затем круг этих мыслей стал расширяться дальше: явилось последнее наше плавание, первое плавание со случившимся крушением, школьная моя жизнь, мои успехи, все ошибки, глупости, шалости, все мелкие приключения и затеи того времени. И так дальше и дальше назад, всякий случай прошедшей моей жизни проходил в моем воспоминании в поступательно обратном порядке, и не в общем очертании, как показано здесь, но живой картиной во всех мельчайших чертах и подробностях. Словом сказать — вся

история моего бытия проходила передо мной точно в панораме, и каждое в ней со мною событие соединялось с сознанием правды или неправды, или с мыслью о причинах его и последствиях; удивительно, — даже самые мелкие, ничтожные факты, давным-давно позабытые, все почти воскресли в моем воображении, и притом так знакомо и живо, как бы недавно случились. Все это не указывает ли на безграничную силу нашей памяти, не пророчит ли, что мы со всей полнотой этой силы проснемся в ином мире, *принуждены* будем созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полноте ее? И с другой стороны — все это не оправдывает ли веру, что смерть есть только изменение нашего бытия, в коем, стало быть, нет действительного промежутка или перерыва? Как бы то ни было, замечательно в высшей степени одно обстоятельство — что бесчисленные идеи, промелькнувшие в душе у меня, все до одной обращены были в прошедшее. Я был воспитан в правилах веры. Мысли мои о будущей жизни и соединенные с ними надежды и опасение не утратили нисколько первоначальной силы, и в иное время одна вероятность близкой гибели возбудила бы во мне страшное волнение; но в этот неизъяснимый момент, когда во мне было полное убеждение в том, что перейдена уже черта, отделяющая меня от вечности, — ни единая мысль о будущем не заглянула ко мне в душу, я был погружен весь в прошедшее. Сколько времени было у меня занято этим потоком идей, или, лучше сказать, в какую долю времени все они были втиснуты, не могу теперь определить в точности; до без сомнения не прошло и двух минут с момента удушения моего до той минуты, когда меня вытащили из воды.

Когда стала возвращаться жизнь, ощущение было во всех отношениях противоположное прежнему. Одна простая, но смутная мысль — жалостное представление, что я утопал — тяготела над душой, вместо множества ясных и определенных идей, которые только что пронеслись через нее. Беспомощная тоска, вроде кошмара, подавляла все мои ощущения, мешая образованию какой-либо определенной мысли, и я с трудом убедился, что жив действительно. Утопая, не чувствовал я ни малейшей физической боли; а теперь мучительная боль терзала весь состав мой: такого страдания я не испытывал впоследствии, несмотря на то, что бывал несколько раз ранен и часто подвергался тяжким хирургическим операциям. Однажды пуля прострелила мне легкие: я пролежал несколько часов ночью, на палубе и, истекая кровью от других ран, потерял наконец сознание в обмороке. Не сомневаясь, что рана в легкие смертельна, конечно, в минуту обморока я имел полное ощущение смерти. Но в эту минуту не испытал я ничего похожего на то, что совершалось в душе у меня, когда я тонул; а приходя в себя после обморока, я разом пришел в ясное сознание- о своем действительном состоянии».

Письма к Александру III

1881 ГОД

1

Бог велел нам переживать нынешний страшный день. Точно кара Божия обрушилась на несчастную Россию. Хотелось бы скрыть свое лицо, уйти под землю, чтобы не видеть, не чувствовать, не испытывать. Боже, помилуй нас.

Но для Вас этот день еще страшнее, и, думая об Вас в эти минуты, что кровав порог, через который Богу угодно провести Вас в новую судьбу Вашу, вся душа моя трепещет за Вас страхом неизвестного грядущего по Вас и по России, страхом великого несказанного бремени, которое на Вас положено. Любя Вас, как человека, хотелось бы, как человека, спасти Вас от тяготы в привольную жизнь; но нет на То силы человеческой, ибо так благоволил Бог.

Его была святая воля, чтобы Вы для этой цели родились на свет и чтобы брат Ваш

возлюбленный, отходя к Нему, указал Вам на земле свое место.

Народ верит в эту волю Божию, — и по Его велению возносит надежду свою на Вас и на крепкую власть, Богом врученную Вам. Да благословит Вас Бог. Да ободрит Вас молитва народная, а вера народная да даст Вам силу и разум править крепкою рукою и твердой волей.

Вам достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы ее повели твердою рукою, чтобы правящая власть видела ясно и знала твердо, чего она хочет, и чего не хочет и не допустит никак. Все будут ждать в волнении, в чем ваша воля обозначится. Многие захотят завладеть ею и направлять ее.

Ваше Величество, позвольте мне сказать Вам в нынешний день. Первые дни Вашего царствования будут особенно знаменательны и требуют особой обдуманности и осмотрительности.

Я не могу успокоиться от страшного потрясения. Не могу отогнать от себя гнетущей меня заботы о Вас и о Вашей безопасности. Простите, что в эти скорбные часы прихожу к Вам со своим словом: ради Бога в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решительное значение, не упускайте ни одного случая заявлять свою личную решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу», или «я не хочу этого».

Никакая предосторожность не лишняя в эти минуты. Не я один тревожусь: эту тревогу разделяют все простые русские люди. Сегодня было уже у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном Дворце. Мысль эта вкоренилась в народ.

Заседание 21 марта у В. В. имело результатом покуда лишь сближение между лицами, на первый раз и это хорошо; я радуюсь, что со мною говорят без принуждения те, которые до сих пор избегали меня. С того дня я еще не видел никого из министров. Жду с нетерпением, когда мы соберемся для общего совещания. В. кн. Владимир Александрович заметил, что все бывшее доньше разногласие происходит лишь от недоразумений, но я боюсь, что эти недоразумения глубже, чем кажется, и должны обнаружиться всякий раз, когда придется не говорить только речи, а приступать к действиям и к распоряжениям. Нетрудно рассуждать, причем для избежания разногласий сглаживаются фразы, резкие оттенки взглядов и мнений; но когда надобно приступать к действию решительному, тут обнаруживается рознь и сила действия парализуется.

В публике ходили на прошлой неделе и продолжают до сих пор самые странные слухи и ожидания по случаю этого совещания. Многие были уверены, что 15, потом 17, 18 числа произойдет и объявится нечто необычное. Поднялись опять толки о представительстве — авось-либо теперь они затихнут. Но смущение не успокоится, я убежден в том, покуда правительство не заявит себя такими действиями, которые ни в ком не оставляли бы сомнения или раздвоенной мысли.

Смею думать, Ваше Императорское Величество, что для успокоения умов в настоящую минуту необходимо было бы от имени Вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия. Это ободрило бы всех благонамеренных прямых людей. Первый манифест был слишком краток и неопределен. Я попробую, если угодно будет, придумать соответственную редакцию и представить на Ваше усмотрение.

Вместе с тем продолжаю думать, что Вашему Величеству необходимо появиться в Петербурге. Постоянное, безвыездное пребывание Ваше в Гатчине возбуждает в народе множество слухов самых невероятных, но тем не менее принимаемых на веру. Нынче из народа уже спрашивали, правда ли, что Государя нет уже на свете и что это скрывают. Распространение, усиление таких слухов может быть очень опасно в России, и люди злонамеренные, их ныне так много, пользуются ими, чтобы смущать народ. Много таких в России — все они ждут в волнении и страхе, в чем выскажется, куда направится настоящее правительство.

(Без даты)

Ваше Императорское Величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и беспокою.

Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников. Слух этот дошел до старика гр. Строгонова, который приехал ко мне сегодня в волнении.

Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется.

Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех великий, и поколеблет сердца всех Ваших подданных. Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые ковы. Ради Бога, Ваше Величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности.

Вашего Императорского Величества верноподданный

Константин Победоносцев

30 марта 1881 г. Петербург

По случаю нынешних ужасных событий святейший синод положил издать ко всему народу пастырское послание. Это будет соответствовать действительной потребности, отовсюду заявленной. Подобные примеры бывали в случаях гораздо менее важных, например, после истории Петрашевского в 1848 году.

Определение синода пропущено мною сегодня и на днях подлежит исполнению.

Копию с предполагаемого послания имею честь представить при сем Вашему Императорскому Величеству.

Перед Пасхою представляют обыкновенно на Высочайшее воззрение предположения о наградах по духовному ведомству. Если Вашему Императорскому Величеству благоугодно сохранить тот же порядок, то буду ожидать приказания, когда явиться с сим докладом в Гатчину.

Константин Победоносцев

2 апреля 1881 года

Петербург

Теперь простые люди преисполнены заботы о безопасности Вашего Императорского Величества: у многих эта забота непрестанная, не дающая покоя. Благочестивые прибегают к молитвам, или ищут оградить Вас почитаемой иконой или другой домашней святыней. Невозможно отвергать эти порывы горячего усердия.

Вчера пришел ко мне совсем простой человек, почтенный старик старожил города Томска, купец Хранов, приехавший сюда на время. У них сначала в лесу близ Томска, потом в самом Томске, в саду у Хранова, проживал в молитве пустынник неизвестного происхождения лет 25, и скончался в 1864 году, уже 90 лет от роду. Местные жители, особенно же сам Храпов, чтит его при жизни, как святого, и еще более чтят по смерти. Уверяют, что он предсказывал будущее и что многие получают исцеление на его могиле.

Старик Хранов, по поводу покушений на жизнь Государя Императора, посылал Его Величеству портрет этого старца и разные известия о его предупреждениях и предсказаниях.

Теперь он привез с собой из Томска шапочку этого старца, которую хранил благоговейно в своем семействе и которой приписывает чудодейственную силу, рассказывая, что два раза, когда он брал ее с собой в путь, он чудесно спасался от разбойников.

Я не желал смутить веру этого доброго человека и не решился отказать ему: взял от него эту шапочку с обещанием представить ее Вашему Императорскому Величеству, вместе с портретом старца.

Константин Победоносцев

11 июля 1881

г. Ораниенбаум

5

Ваше Императорское Величество.

Опять должен просить у Вас прощения в своей назойливости, ибо возвращаюсь к тому же предмету, о котором писал уже и беспокоил Вас.

Я уже смел писать Вашему Величеству о предмете, который почитаю важным — о приеме Скобелева. Теперь в городе говорят, что Скобелев был огорчен и сконфужен тем, что Вы не выказали желания знать подробности о, действиях его отряда и об экспедиции, на которую обращено было всеобщее внимание и которая была последним, главным военным делом, совершенным в минувшее царствование. Об этом теперь говорят, и на эту тему поют все недовольные последними переменами. Я слышал об этом от людей серьезных, от старика Строгонова, который очень озабочен этим. Сегодня гр. Игнатьев сказывал мне, что Д. А. Милютин говорил об этом впечатлении Скобелева с некоторым злорадством.

Я считаю этот предмет настолько важным, что рискую навлечь на себя неудовольствие Вашего Величества, возвращаясь к нему.

Смею повторить снова, что Вашему Величеству необходимо привлечь к себе Скобелева сердечно. Время таково, что требует крайней осторожности в приемах. Бог знает, каких событий мы можем еще быть свидетелями, и когда мы дождемся спокойствия и уверенности. Не надобно обманывать себя: судьба назначила Вашему Величеству проходить бурное, очень бурное время, и самые большие опасности и затруднения еще впереди. Теперь время критическое для Вас лично: теперь, или никогда, — привлечете Вы к себе и на свою сторону лучшие силы в России, людей способных не только говорить, но самое главное — способных действовать в решительные минуты. Люди до того измелъчали, характеры до того выветрились, фраза до того овладела всем, что уверяю честию, глядишь около себя и не знаешь на ком остановиться. Тем драгоценнее теперь человек, который показал, что имеет волю и разум, и умеет действовать: ах, этих людей так немного! Обстоятельства слагаются к несчастью нашему так, как не бывало еще в России — предвижу скорбную возможность такого состояния, в котором одни будут за Вас, другие против Вас. Тогда, если на стороне Вашего Величества будут люди, хотя и преданные, но неспособные и нерешительные, а на той стороне будут деятели, — тогда может быть горе великое и для Вас, и для России. Необходимо действовать так, чтобы подобная случайность оказалась невозможной. Вот, теперь, будто бы, некоторые, нерасположенные к Вашему Величеству и считающие себя обиженными, шепчут Скобелеву: «Посмотри, ведь мы говорили, что он не ценит прежних заслуг и достоинств». Надобно сделать так, чтобы это лукавое слово оказалось ложью, и не только к Скобелеву, но и ко всем, кто заявил себя действительным умением вести дело и подвигами в минувшую войну. Если к некоторым из этих людей Ваше Величество имеете не расположение, ради Бога, погасите его в себе. Вы с 1-го марта принадлежите, со всеми своими впечатлениями и вкусами, не себе, но России и своему великому служению. Нерасположение может происходить от впечатлений, впечатления могли быть навеяны толками, рассказами, анекдотом, иногда легкомысленным и преувеличенным. Пускай

Скобелев, как говорят, человек безнравственный. Вспомните, Ваше Величество, много ли в истории великих деятелей, полководцев, которых можно было бы назвать нравственными людьми — а ими двигались и решались события. Можно быть лично и безнравственным человеком, но в то же время быть носителем великой нравственной силы, и иметь громадное нравственное влияние на массу. Скобелев, опять скажу, стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние; то есть, люди ему верят и за ним следуют. Это ужасно важно, и теперь важнее, чем когда-нибудь.

У всякого человека свое самолюбие и оно тем законнее в человеке, чем очевиднее для всех дело, им совершенное. Если бы дело шло лишь о мелком тщеславии, — не стоило бы и говорить. Но Скобелев вправе ожидать, что все интересуются делом, которое он сделал, и что им прежде и более всех интересуется русский Государь. Итак, если правда, что Ваше Величество не выказали в кратком разговоре с ним интереса этому делу, желание знать подробности его, положение отряда, последствия экспедиции и т. п. Скобелев мог вынести из этого приема горькое чувство.

Позвольте, Ваше Величество, на минуту заглянуть в душевное Ваше расположение. Могу себе представить, что Вам было неловко, несвободно, беспокойно со Скобелевым, и что Вы старались сократить свидание. Мне понятно это чувство неловкости, соединенное с нерасположением видеть человека, и происходящая от него неуверенность. Опасаюсь, что подобное чувство может и во многих случаях стеснять Ваше Величество в приеме некоторых людей. Когда к Вам являются простые люди, они всегда выходят утешенные и ошачливленные вниманием Вашим и расспросами. Это происходит оттого, что с простыми людьми Вы, по натуре своей чувствуете себя непринужденно, а когда чувствуете в душе принужденность, тяготитесь положением и отношением к человеку.

Но смею думать, Ваше Величество, что теперь, когда Вы Государь русский, — нет и не может быть человека, с которым Вы не чувствовали бы себя свободно, ибо в лице Вашем — передо всеми и перед каждым стоит сама Россия, вся земля с верховной властью. Есть ли хоть один, которым Вы не могли бы с первого раза, с первого слова овладеть нравственно? Ваше Величество, Вы не знаете всей своей силы. Ради Бога узнайте ее, поймите ее, уверуйте в нее — тогда все для Вас будет ясно, тогда всякое личное впечатление прежнего времени перестанет нагонять тень на Ваши отношения к людям. Когда подходит к Вам человек, подумайте, что тут не он и Вы, а он и Россия, тогда будет Вам ясно, как отнестись к человеку и что сказать ему, а Ваше всякое слово будет со властью и силой.

(Без даты)

1882 ГОД

6

Здесь в гостиных рассказывают, что Государыня Императрица изволит принимать г-жу Адан, приехавшую сюда из Парижа.

Без сомнения Вашему Императорскому Величеству известно, что г-жа Адан есть политическая авантюристка и состоит в числе главных агентов республиканской крайней партии, в связи с планами и расчетами Гамбетты; говорят, что она была и любовницей его. Она издательница журнала «La Nouvelle Revue», служащего органом партии. В связи с приездом ее в Россию появились в берлинских полуофициальных газетах статьи о том, будто она едет сюда для тайных политических переговоров, имеющих целью сближение Франции с Россией и со здешними политическими партиями.

К. Победоносцев

6 января 1882 г.

Петербург

...долгом почитаю представить Вашему Императорскому Величеству № газеты «Новое Время», который иным путем может быть и не дошел до Вас.

Благоволите обратить внимание на перепечатанную здесь прокламацию и на рассуждения об ней. Это — дело Дружины и гр. Шувалова.

Эта прокламация разбрасывалась в учебных заведениях и на женских курсах. Дети приносили ее домой родителям с недоумением.

А после газетной статьи весь Петербург говорит об этом, смею сказать, безумном и гнусном деле. Ни для кого не тайна, кто его виновники, и на какие деньги они обещают великие и богатые дачи всякому, кто явится под предлогом сотрудничества или шпионства и сплетничества.

Все честные люди в негодовании. Всего прискорбнее то, что люди спрашивают: неужели Государь не знает, на какое безумное и низкое дело идут его деньги?

Указывают на безумно расточаемые во все стороны деньги, коими пользуются вздорные люди и мошенники. Называют по именам гвардейских офицеров, которые вчера еще готовы были в долговую тюрьму, а сегодня ездят на рысаках и рядят жен своих — на деньги Дружины. Одного такого флигель-адъютанта я сам знаю.

Ходят слухи, один другого нелепее. Не говорю уже о том, что вплетают в это дело и мое имя; я знаю, что вначале некоторые члены Дружины имели бесстыдство заманивать в нее людей моим именем. Это для меня не важно. Важно то, что в этом поистине жалком и постыдном деле — произносится имя Вашего Величества. Вот чего не может перенести ни одна честная русская душа, а дела Дружины огласились уже ныне по всей России.

Вашего Императорского Величества
верноподданный *Константин Победоносцев*
12 ноября 1882 г.

1883 ГОД

9

Редакция манифеста, присланная от Вашего Императорского Величества, не показалась мне удовлетворительною. Она списана (как изволите усмотреть из прилагаемой книги) с подобного же манифеста 17 апреля 1856 года, и это довольно неудобно. Мне кажется, для приличия следует разнообразить редакцию. Притом нынешняя редакция, с некоторыми изменениями, представляется мне слабее прежней. Я предпочел составить новую, которую и представляю на благоусмотрение Вашего Величества.

В ту пору можно было указать на Парижский мир, как на явный признак того, что «возвращено России прежнее спокойствие», то есть вернулось мирное состояние после бедственной войны. Теперь нельзя указать на такой признак, и потому мне весьма не нравится фраза: «Ныне, когда всеблагий промысл возвращает России прежнее спокойствие» (как будто оно было во внутреннем состоянии в последние годы минувшего царствования).

Я думаю, что гораздо приличнее вовсе не упоминать об этом, а прямо перейти к мысли о том, что настало уже время и пр. А перед этим сказано вообще — об успокоении возмущенного народного чувства. Точно так же и формулу молитвы я признал нужным изменить. Вначале поставлена у меня фраза: «во время смуты». Если б это слово смута показалось слишком резким, — его можно выпустить, оставив только слова «в минуту страшного потрясения».

¹ Письмо № 7 и некоторые из последующих опущены составителем

Константин Победоносцев

14 января 1883

Еще одно примечание. В конце у меня поставлено: попечение о благе народ а, а не народов, как сказано было в прежней и в печатной редакции. И в 1856 году это слово: народов — казалось странным. Замечали, что австрийский император может говорить о своих народах, а у нас народ один и власть единая.

10

С сердечною благодарностью возвращаю Вашему Величеству письма В. А. Жуковского. Поистине это была простая, чистая и ясная душа, — и вся она сказывается в письме от 30 августа 1843 года.

Когда читаешь это письмо, невольно обращаешься мыслию к той эпохе, когда оно было писано — 40 лет тому назад. Это было самое ясное и блестящее время царствования Императора Николая. Многое вокруг поэта было просто и ясно; просты и ясны казались и те задачи жизни, которые с тех пор усложнились и запутались невообразимо. Есть времена, когда дорога впереди стелется широкой стезею, и видно куда идти. Есть другие времена, когда впереди туман, вокруг болота. То время и нынешнее — какая разница, — точно мир вокруг нас переменялся. Невольно приходит мысль: эта простая душа, эта ясная мысль — как выразилась бы у Жуковского, если б он писал не в 1843 году, а хоть двадцать лет спустя?

И Богу не угодно было, чтоб он дожил до того времени, когда его державный воспитанник стал Императором и вступил в дело. Кажется, для покойного Государя и для всей России было бы неоценимым благом присутствие — только присутствие — человека с такою душою, с прямым и ясным взглядом русского человека на дела и на людей. С Жуковским, — и может быть с ним только одним, — покойный Государь в состоянии был бы говорить прямо, без малейшей тени, и принял бы слово от него с полным доверием. Жуковский ясным чутьем своим понял бы все, что было фальшивого во многих мерах, которые представлялись Государю в эпоху реформ, и указал бы прямо на опасность, грозившую тем основным началам правления, которые он так просто и ясно излагал в письме своем. И когда вспомнишь, какие люди в ту пору — в середине 60-х годов — решали судьбу этих реформ, пожалеешь, человеческим рассуждением, что Жуковского не было. Но видно так Богу было угодно, чтоб не было ни его, ни ему подобных.

Константин Победоносцев

1 февраля 1883

11

Снова осмеливаюсь явиться просителем к Вашему Императорскому Величеству — выпрашивать пособие доброму делу.

Вы изволите припомнить, как несколько лет тому назад я докладывал Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, оставив профессорство в Московском университете, уехал на житье в свое имение, в самой отдаленной лесной глуши Бельского уезда Смоленской губернии, и живет там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра до ночи для пользы народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое поколение крестьян, сидевших во тьме кромешной, стал поистине благодетелем целой местности, основал и ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые представляют теперь образец для всей земли. Это человек замечательный. Все, что у него есть, и все средства своего имения он отдает до копейки на это дело, ограничив свои потребности до последней степени. Между тем дело разрастается у него под руками, и он уже вынужден сокращать его за недостатком средств.

Кроме школ он устроил у себя специальную больницу для сифилиса, который, как известно, составляет у нас в иных местностях язву населения по деревням, передаваясь

наследственно от одного поколения другому. Эта больница чрезвычайно полезна; но, к сожалению, и она должна закрыться.

«Увы! — писал мне Рачинский в декабре прошлого года, — эта затея слишком дорогая, чтоб я мог надеяться получить откуда-либо средства: на ее дальнейшую поддержку. Ее годовой бюджет — 600 рублей (фельдшер — 300, содержание больных — 200, прислуга, медикаменты, освещение — около 100 руб. Отопление дает брат). Но мало того, — временное помещение никуда негодно; нужна постройка, которая обойдется рублей в 1.500. В больнице 4 кровати, занятые постоянно, лечилось в течение 9 месяцев у меня 21 человек; дома — около 90. Дело несомненно полезное, — сифилис, кроме случаев исключительных, излечим наверное (фельдшер отличный, шесть раз в год приезжает врач). Но это дело я не могу продолжать иначе, как в долг. Это безумие, на которое я решился — и теперь сам не знаю, как быть».

А на днях он пишет: «Тяжкое, но необходимое дело — привести в порядок мой бюджет... Закрытие больницы последует в мае (зимою рука не поднимается — так много больных)».

Простите, Ваше Величество, что утруждаю Вас чтением всего вышеписанного. Мысль моя такова: покуда жив еще человек, умеющий вести такое доброе для народа дело и полагающий в него свою душу, — стоит поддержать его. Вы мне позволили просить, и я решаюсь на сей раз. Не благоволите ли, для поддержания этой больницы, пожаловать 2.000 рублей, из коих 1.500 пойдет на строение, а 500 на содержание в течение года? Этот дар Вашего Величества ободрит и оживит радость всех трудящихся в этом деле.

Долгом почитаю прибавить, что сам Рачинский и в мысли не имеет чего-либо просить, ожидать или надеяться от щедрот Вашего Величества.

Константин Победоносцев

9 февраля 1883

12

Простите, Ваше Императорское Величество, что я осмеливаюсь еще раз беспокоить Вас письмом по тому же делу. И теперь, как в тот раз, имею в виду одну только цель — благо Вашего Императорского Величества и достоинство власти в трудное время. Продолжаю почитать это дело делом великой важности, именно в виду коронации и существующего народного настроения.

Сейчас я виделся с графом Толстым, которому Вы изволили отослать письмо мое. Я узнал, что по делу о театрах граф Воронцов представлял Вашему Величеству доклад, получивший утверждение.

Графу Воронцову я не усомнился бы сказать, что ему не следовало поступать так, не посоветовавшись в столь важном деле с другими лицами, кроме чинов театрального управления. Оказывается, что, желая заручиться согласием другого министерства, он имел три месяца тому назад по этому же предмету объяснение с гр. Толстым и получил от гр. Толстого такой ответ, что нельзя разрешить русские оперные спектакли в пост, так как это противно объявленному уже Высочайшему повелению 1881 года.

Не взирая на то, гр. Воронцов решился войти с докладом к Вашему Величеству непосредственно.

Смысл Высочайшего повеления ясен, и нынешнее разрешение составляет отмену его. Так оно и будет принято в народе. Можно объяснять сколько угодно, что опера есть соединение живых картин с музыкой. Это может быть понятно петербургскому обществу, но в России не поймут этого, но очень хорошо помнят, что в прежнее время, до Высочайшего повеления, испрошенного гр. Адлербергом, никакие оперы не разрешались к представлению. На основании той же логики ничто не мешает разрешить и балет: тут нет даже разговора, а о танцах прямо не сказано в тексте закона.

Графу Толстому приходило на мысль, — не следует ли теперь поместить в

«Правительств. Вестнике» заметку с объяснением, что опера есть будто бы не драматическое представление, а соединение живой картины с музыкой. Но я отклонил его от этой мысли: такое объявление от лица правительства никого не успокоило бы, а только усилило бы тяжкое впечатление.

Ваше Величество! Я уже в последний [раз] беспокою Вас этими строками по настоящему делу. Но долг моего звания и моей сердечной заботы велит мне сказать еще раз: впечатление будет тяжкое. Оно было бы менее тяжело, если б разрешение последовало после, через год или через несколько лет. Но теперь... теперь люди в первое время откажутся верить. Притом коронация готовится в Москве, а из Москвы вышло главное ходатайство о закрытии театров в пост, и в Москве разрешение спектаклей отозвалось всего чувствительнее. Необходимо побережь народное чувство в религиозном его элементе именно теперь, когда оно так настроено перед коронацией. Так жених бережет перед браком стыдливое чувство невесты...

Немало найдется людей, которые будут говорить, что это пустые капризы со стороны синода, что это поповский фанатизм, и т. под. Синод ничего и не знает о настоящем случае, и дело не в нем, а в народном чувстве, которое ни за что не поймет, как могут быть спектакли в те дни, когда ежедневно в церкви читается: «Господи, владыко живота моего»... Не поймут также простые люди, как могло вдруг измениться царское слово, встреченное всем народом с такою радостью в дни траура и плача.

Смею уверить Ваше Величество, что в этом деле нисколько не участвует мое самолюбие. Хотя Высочайшее повеление 1881 года было не прощено мною, и гр. Воронцову, не послушавшему совета министра внутренних дел, не угодно было посовещаться со мною, — это нисколько не обижает меня лично. Я вступлюсь в это дело потому, что чувствую глубоко всю важность настоящей минуты для целого царствования, всю трудность настоящей эпохи и всю тяготу бремени, возложенного Божиим промыслом на Вас. Мне больно, что другие этого не чувствуют, но я не в силах уклониться и сказать: не мое дело.

Распоряжение о разрешении оперных спектаклей есть внутреннее, домашнее, по Императорским театрам. Оно не было нигде объявлено. По-видимому, было бы незатруднительно и отменить его, пока есть еще время. Если б и последовал от того убыток для театральной кассы, он не стоит того смущения, которое поднимется от приведения распоряжения в действие. Все это зависит исключительно от воли Вашего Императорского Величества. Ваше сердце в воле Божией, и да пошлет Вам Бог на мысль правое решение.

Вашего Императорского Величества
верноподданный *Константин Победоносцев*
21 февраля 1883

На днях видел я старика Добрянского, который приезжал сюда на несколько дней из Германии, тайком, чтобы не проведали о поездке его в Россию агенты австрийского правительства. Он рассказывает немало ужасного и поучительного.

Чудовищный процесс по обвинению в государственной измене, возбужденный против Добрянского, Наумовича и других, лучших и доблестнейших людей русской народности, привел в изумление здравомыслящих людей в целой Европе. От лица правительства поднято было, без малейших оснований, обвинение в преступлении, влекущем за собою смертную казнь, на русских людей, только за то, что они хотели оставаться русскими и удержат при себе свою церковь! Этих людей заперли в тюрьму на 7 месяцев, томили и подвергали позору и оскорблениям на суде. Суд не признал за ними уголовной вины. Все с удивлением спрашивали: как должно быть безумно правительство, которое допускает такие незаконные преследования, напрасно раздражая ими целую народность?

Но вот что весьма поучительно, и особливо для нас, русских. Австрийское правительство само было опечалено этим процессом и понимало все его беззаконие, но было

бессильно предотвратить его и видело себя в необходимости подчиниться партии, возбудившей этот процесс. Роль недостойная правительства; но австрийское правительство принудило себя на эту ложь, потому, что оно утверждается на конституции.

В разноплеменном составе государства, австрийское правительство вынуждено считаться с представителями той партии, которая в данную минуту имеет силу в парламенте. Министры, состоя в зависимости не от единой воли монарха, а от игры партий в парламенте, для того чтоб сохранить свое положение и удержаться на местах своих, входят в сделку с господствующими партиями и принуждены исполнять их волю, вопреки истинным интересам государства. И так выходит, что государством правят эти партии; в их духе и по их указаниям назначаются местные администраторы, при содействии коих производится фальшивая игра в выборы, которые суть не что иное, как ложь, и так фальшивыми представителями народа поддерживается фальшивое парламентское большинство и фальшивое направление целого правительства.

Нельзя себе представить, сколько проистекает отсюда лжи и беззакония, и какое распространяется хищение и взяточничество. Члены парламента, имея министров в своем распоряжении, торгуют и местами, и казенными сделками и подрядами. Это явление — обычное, более или менее всюду где водворилось парламентское правительство. Недавно в *Revue de deux Mondes* (I Fevr.) была прекрасно написанная статья: *La Republique en 1883*, где изображено, до чего дошла эта парламентская продажность и эта ложь выборов во Франции. Об Австрии говорил мне Добрянский, близко знающий там и людей и партии: «У Вас в России ныне то и дело слышно о растратах и хищениях. Но все эти ваши явления, как они ни развратны, бледнеют перед тем, что происходит у нас в Австрии, и обратилось уже в систему, благодаря парламентскому правлению».

Теперь вся парламентская сила — в руках у мадьяр и у поляков. Мадьяры — полные хозяева у себя и дают без пощады и без совести всякую иную народность, а система выборов так хитро ими же и поляками устроена, что никакая другая славянская народность не может иметь в палате сильного голоса. Поляки устроились так, что в польских провинциях, даже там где, как в Галиции, народ весь чисто русский, вся администрация и всякая власть в руках у поляков.

Когда суд отделен от государства (на наше горе успели сделать это и у нас в России), — и суд становится орудием господствующей партии или известных политических тенденций. Поляки, в неразрывном союзе с католической церковью, с ксендзами и иезуитами, предприняли задавить и ополячить и окатоличить русское племя. Располагая силою в парламенте, они задумали целый ряд законов к подавлению русской народности: изменение календаря, замену русского алфавита латинским, изгнание русского языка из русской школы, замену русского духовенства латинским, передачу иезуитам русских монастырей и духовных школ; дошло до того, что полиция снимает русские шестиконечные кресты с церквей и заменяет их латинскими. В последние годы завязалась ожесточенная борьба русского народа и духовенства — с латинопольскою властью и пропагандой. Народ без вождей теряется, и вот, поляки задумали задавить процессом главных вождей — Добрянского и Наумовича. У поляков в руках и прокуратура — страшное орудие политической тенденции, и суд. Они возбудили обвинение, засадили обвиненных в тюрьму — правительство из Вены принуждено было смотреть сложа руки на все это беззаконие. Следствие не раскрыло ничего кроме самых обыкновенных и ничтожных фактов, которые обвинительный акт построил — в доказательство государственной измены. Довольно сказать, что одним из доказательств измены приведено было мое мнимое (никогда его не было) ходатайство о принятии будто бы дочери Добрянского на воспитание в петербургский институт и выписка мною самой невинной галицкой газеты через посредство одного из обвиняемых. Казалась смешною всякая мысль о возможности обвинительного приговора; но поляки решили, и когда дело дошло до суда, прокурор — поляк отвел всех русских присяжных, — остались одни поляки с примесью жидов. Обвинение было — несомненное.

И вот что значит суд в конституционном государстве! За несколько дней до приговора

жена Добрянского пришла сказать ему, что нет иного средства к оправданию, как подкуп присяжных. А у Добрянского никаких средств уже не было. Значительное его имение в Венгрии совсем разорено и бесплодно, потому что венгерские власти запретили кому бы то ни было входить в сделки и в хозяйственные операции по его имени. С трудом жена его успела занять 20.000 гульденов, и на эти деньги были подкуплены 6 присяжных. Вот благодаря чему единственно состоялся оправдательный приговор!

Вот — плоды конституционного правления! Ныне оно уже дискредитировано всюду, но всюду ложь эта въелась, и народы не в силах от нее освободиться и идут навстречу роковой судьбе своей. Особенно для юных славянских государств — это первая и самая ужасная язва, разъедающая ложью и раздором весь состав общества, поселяющая разлад и взаимное непонимание и отчуждение между народом и правительством. Доказательства налицо — в Румынии, в Сербии, в несчастной Болгарии, которой, к стыду нашему, мы своими руками привили эту язву, — и конституцию, и суд, отделенный от государственной власти!

Как же безумны, как же ослеплены были те quasi-государственные русские люди, которые задумали обновить будто бы Россию и вывести правительство из смуты и крамолы посредством учреждения какой-то палаты представителей! Как были легкомысленны те, которые готовы были уступить им и принять сочиненный рецепт, как лекарство от болезни, состоявшей в расслаблении власти. Кровь стынет в жилах у русского человека при одной мысли о том, что произошло бы от осуществления проекта графа Лорис-Меликова и друзей его. Последующая фантазия гр. Игнатьева была еще нелепее, хотя под прикрытием благовидной формы земского собора. Что случилось бы, какая вышла бы смута, когда бы собрались в Москве для обсуждения неведомо чего расписанные им представители народов и инородцев империи, объемлющей вселенную, наполненной пустынями, империи, в коей иной приход Якутской области (1100 верст длиной) или уезд сибирский может вместить пространство целой Франции. Кому была бы от этого радость и победа, так это полякам, которые, несомненно, стоят, скрытые, в центре всякого так называемого конституционного движения в России. Тут было бы для них вольное поле деятельности, вольная игра — и гибель России.

Простите, Ваше Величество, что утруждаю Вас чтением этого длинного писания. Это — самая страшная опасность, которую я предвижу, для моего отечества и для Вашего Величества лично. Доколе жив, не оставлю этой веры, не перестану твердить то же самое и предупреждать об опасности. Болит моя душа, когда вижу и слышу, что люди, власть имущие, но, видно, не имущие русского разума и русского сердца, шепчутся еще о конституции. Пусть они иногда подозрительно на меня озираются, как на заведомого противника этой роковой фантазии. Я жив еще и не затворяю уст своих; но когда придется мне умирать, я умру с утешением, если умру с уверенностью, что Ваше Величество стоите твердо на страже истины и не опустите того знамени единой власти, в котором единственный залог правды для России. Вот где правда, а там — ложь, чужая, роковая ложь для судеб России.

Константин Победоносцев

Петербург, 11 марта 1883

Гродненской губернии в Волковысском уезде есть местечко Свислочь, издавна известное как один из центров польской культуры, бывшее некогда для всего Полесья тем, чем Вильна для Литвы. Прежде русское, место это совсем ополячено в XVIII столетии графом Тышкевичем, его владельцем. Оттого и теперь там жители, хотя большею частью православные, значительно ополячены и грамотность между ними польская.

В 1881 году назначен туда дельный священник Янушкевич, усердно принявшийся за дело возвращения местного населения к русской церковности и грамотности. Главным к

тому средством он избрал учреждение школы для девочек, так как через женщину распространяется преимущественно культура, а теперь там почти ни одна женщина не читает по-русски.

После долгих хлопот ему удалось согласить приход к открытию школы и получить от учебного ведомства денежное пособие. В январе 1882 года училище открыто и туда ходит до 40 девочек. Священник весьма разумно принялся за дело, и нужно поддержать его, что мы и стараемся по возможности делать.

Могущественным средством для поднятия этой школы и для привлечения к ней народа было бы проявление Высочайшего к ней внимания.

Посему я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество, не благоугодно ли будет в знак внимания Вашего и одобрения пожаловать Свислочской школе лично от Вас икону Божией Матери. Этот дар произвел бы на месте самое благодетельное действие и других усердных людей возбудил бы к подражанию.

А если бы притом Ваше Величество изволили пожаловать рублей 200 денег на приобретение хороших русских книг для школьной и приходской библиотеки, это послужило бы вдвойне к оживлению доброго начинания. *Константин Победоносцев*

Петербург, 28 марта 1883

15

Не устаю просить у Вашего Императорского Величества.

В настоящую минуту при св. синоде разрабатывается вопрос об устройстве церковноприходских школ, — вопрос первостепенной важности для государства. Народ у нас пропадает, раскол и секты держатся от невежества: люди вырастают, не получая первых, самых основных, понятий о Боге, о церкви, о заповедях. Этому невежеству не поможет ученье, криво устроенное, не приспособленное к жизни, — оно может еще более развратить простого человека, отрывая его от жизни и действительности.

Для блага народного необходимо, чтобы повсюду, поблизости от него и именно около приходской церкви, была первоначальная школа грамотности, в неразрывной связи с учением Закона Божия и церковного пения, облагораживающего всякую простую душу. Православный русский человек мечтает о том времени, когда вся Россия по приходам покроется сетью таких школ, когда каждый приход будет считать такую школу своею и заботиться об ней посредством приходского попечительства и повсюду образуются при церквях хоры церковного пения.

Ныне все разумные люди сознают, что именно такая школа, а не иная должна быть в России главным и всеобщим средством для начального народного обучения. В этом смысле наша комиссия получает заявления отовсюду, от самых дельных представителей земства, и от духовенства, которое заметно оживилось, прослышав, что его не оставляют в забвении, но полагаются на его деятельность. Без сельского священника обойтись невозможно и, кроме его, не за кого взяться в этом великом деле посреди пустынных пространств, в коих раскинуты наши приходы. Мы надеемся, что вскоре повсюду проявится епархиальное движение в этом смысле. Между тем первый опыт сделан в могилевской епархии новым, прибывшим туда, архиереем Виталием, который имел возможность перед отъездом туда ознакомиться здесь, в Петербурге, с нашими предположениями.

Обратившись к духовенству своей епархии, он устроил в Могилеве (или, правильнее сказать, восстановил древнее, существовавшее с 1602 года) Богоявленское братство именно с целью заводить по возможности при всех приходах народные школы и заботиться о поддержании их.

Это первое начинание необходимо ободрить; думаю, что достойно и праведно ободрить его высочайшим вниманием, которое, несомненно, вызовет подражание и в других местах.

Не благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству дозволить выразить внимание Ваше к этому учреждению каким-либо денежным даром, например, в 1.000

рублей.

Когда это станет известно, многие будут этим утешены, и найдутся, без сомнения, и другие благотворители.

Константин Победоносцев

Петербург, 28 марта 1883

16

Всем сердцем радуюсь, что настал, наконец, ожидаемый день и въезд Вашего Величества в Кремль благополучно совершился. Со слезами смотрели русские люди и молились горячо за Вас. Теперь да благословит Бог перейти остальные дни до священного коронования в тишине и уединении, в виду Москвы, в зелени цветущего Нескучного сада!

Вчерашнее письмо отослано мною кн. Мещерскому немедленно. Я обрадован был запискою Вашего Величества, ибо и сам желал просить разрешения явиться к Вам еще прежде коронации. Буду ждать указаний дня и часа от Вашего Величества.

Константин Победоносцев

10 мая 1883

Дом синодальной типографии.

17

Возвращая при сем всеподданнейшее прошение г-жи Жадовской, смею доложить, что, по мнению моему, просьба ее к Вашему Величеству никак не может быть удовлетворена.

Она пишет, что была замужем, но разведена, причем вина (вероятно, прелюбодеяние) принята ею на себя; она обвинена и осуждена церковным судом на безбрачие. Стало быть, теперь, если б она захотела выйти замуж, новый брак ее не может быть повенчан.

Теперь, по словам ее, она вступила в связь, прижила ребенка и просит снять с нее запрет, наложенный решением синода, и дозволить ей вступить в брак.

Таких просьб поступает немало на имя Вашего Величества, и по всем этим просьбам объявляется согласно данному еще при покойном Государе Высочайшему повелению, что они не могут быть удовлетворены.

И действительно, если бы верховная власть взяла на себя снимать запреты, налагаемые церковным судом по закону церковному, от этого произошли бы крайние затруднения и немалый соблазн. Брак у нас — таинство, и совершается не иначе, как в церковной форме. Священник, по долгу звания, подчиняется в делах церковной дисциплины и обряда исключительно церковной власти. Итак, если церковная власть запрещает ему совершение брака, как незаконное, а власть гражданская предписывает совершить этот брак, то есть совершить таинство там, где оно не допускается церковной властью, совесть священника ставится в положение невозможное. Вот почему и у нас верховная власть никогда не вмешивалась в дела сего рода. При покойном Государе бывали злоупотребления его именем; однажды в Ялте исправник Зефиропуло, пользуясь своим положением, приказал именем Государя священнику совершить незаконный брак, но покойный Государь, когда я докладывал ему об этом деле, изволил сказать мне, что он никогда не давал подобных приказаний. Особливо при нынешней легкости вступления в брак и разлучения супругов такие Высочайшие повеления могли бы послужить к усилению распущенности. Ныне люди, легкомысленно женившись, вскоре, при малейшем несогласии, думают о разводе и устраивают его так, что которая-нибудь из сторон берет на себя вину прелюбодеяния, в надежде, что потом можно будет попросить о снятии запрета на вступление в новый брак. Бывают случаи, что после нового брака супруги вскоре же задумывают новый развод. Итак, если б можно было иметь людям надежду на снятие церковного запрета посредством монаршей милости, от этого еще более пострадала бы строгость и прочность брачного союза.

Вот почему верховная власть всегда избегала прямых разрешений на совершение

брака. Но в некоторых случаях покойный Государь принимал просьбы о прекращении дел о незаконности брака а, уже совершенного. Здесь нет прямого вмешательства в церковную юрисдикцию. Брак совершен священником, хотя и вопреки церковному запрещению; супруги живут вместе и прижили детей. Начинается дело о незаконности брака, большею частью по доносу. В таких случаях объявляется иногда Высочайшее повеление: приостановить в консистории производство о незаконности брака. Таким образом брак остается фактически, как он был первоначально записан, то есть в виде законного.

Такие Высочайшие повеления объявлялись неоднократно и от имени Вашего Величества, по моему докладу. Вот единственное возможное средство в подобных случаях. Пусть г-жа Жадовская ищет, как ей угодно, помимо участия верховной власти, способа обвенчаться; затем может и не возникнуть вовсе вопрос о незаконности этого брака, а если возникнет, тогда уже может она обратиться к монаршему милосердию.

Долгом почитаю присовокупить, что дела этого рода, т. е. брачные, равно как и дела об узаконении незаконных детей, всегда требуют особой осторожности, ибо здесь не все зависит от сознания невинности супругов или детей и от сострадания к несчастным и невинным. С вопросами этого рода часто связаны права законные третьих лиц, — родственников, других детей того же лица, наконец, честь другого, законного семейства, и нередко — неприкосновенность прав наследственных.

Если б Вашему Величеству угодно было согласиться с вышеизложенными соображениями и по этому делу, то не благоволите ли приказать объявить просительнице, как объявляется многим другим, что ее ходатайство о разрешении ей вступить в брак вопреки запрещению, наложенному св. синодом, не подлежит удовлетворению.

Константин Победоносцев

23 мая 1883

18

Долгом почитаю доложить Вашему Императорскому Величеству о нижеследующем:

1. Мне известно, что здесь, в Историческом музее, основанном под покровительством Вашим, с нетерпением ожидают, не угодно ли будет Вам посетить его. Граф Уваров расположил для обозрения предметы древности, весьма интересные и приведенные им в порядок. Знают все, до какой степени занято все время Вашего Императорского Величества: но люди, посвятившие свой труд этому предмету, были бы огорчены, если б не довелось Вам хотя на полчаса приехать посмотреть, что они сделали, и дать им ободрение на будущее время.

2. Сегодня я слышал, что Ваше Величество изволите переехать нынешним вечером в Петровский дворец и уже не вернетесь в Москву, но прямо поедете на Николаевскую дорогу, и притом не 29-го, как было объявлено в расписании, а завтра же, т. е. 28-го числа вечером.

Народ, которому не объявлено об этом изменении, будет очень смущен и огорчен, когда узнает утром 29 числа, что царя нет уже в Москве.

Если к моей должности принадлежало попечение об этом предмете, мне казалось бы всего проще и всего лучше: Вашему Величеству, после всех празднеств, отдохнуть день или два в совершенном спокойствии, в виду Москвы, в Нескучном, и потом прямо оттуда по Калужской улице, через Кремль и Мясницкую ехать на станцию Николаевской дороги. Это было бы радостное и спокойное прощание с Москвою и народом.

Но я не смею настаивать на этом предмете, ибо лица, до коих он прямо относится, могут видеть особливые причины действовать так, а не иначе.

Во всяком случае однако осмеливаюсь доложить, что если Вашему Величеству благоугодно выехать сегодня из Москвы окончательно, то не изволите ли на пути в Петровский дворец остановиться у Иверской часовни и зайти туда. Это и для народа может послужить некоторым знаком прощания с Москвою.

Константин Победоносцев

Смею обратить внимание Вашего Императорского Величества на прилагаемое письмо Рачинского. Это один из бесчисленных воплей, раздающихся теперь повсюду, из всех концов России. Во время коронации особенно слышался этот всенародный зов к правительству об исцелении этой ужасной язвы, разъедающей народ, — об освобождении от кабака, перед всеильною властью коего бессилен народ, бесплодны и отдельные усилия лиц, вступающих в борьбу с кабаком и кабатчиками.

Рачинскому, живущему безвыездно в деревне, посреди народа, виднее чем кому-либо все это зло. Он успел сделать у себя многое, привлекая и детей, и отцов крестьян, и местное духовенство к союзу трезвости: но все эти усилия разбиваются о кабачную силу.

Кабак есть главный у нас источник преступлений и всякого разврата умственного и нравственного, — и действие его невообразимо ужасно в темной крестьянской и рабочей среде, где ничего нельзя противопоставить его влиянию, где жизнь пуста и господствуют одни материальные интересы насущного хлеба. Кабак высасывает из народа все здоровые соки и распространяет повсюду голое нищенство и болезнь. Необъятная Россия состоит из пустынь, но нет такой пустыни, нет глухого уголка, где бы не завелись во множестве кабаки и не играли бы первенствующей роли в народной жизни. И чем дальше, тем хуже. Уничтожение кабака есть решительно первая потребность, есть необходимая мера для спасения России. Борьба внешними мерами против нигилизма не будет иметь успеха, покуда стоит в нынешней силе кабак, и Рачинский говорит совершенно справедливо, что кабаки — главный проводник нигилистических теорий в народ, то есть постепенное развращение той единственной здоровой среды, в коей хранятся зиждущие инстинкты и зиждительные начала народной и государственной жизни.

Это первая потребность. Наряду с нею другая. Чтобы спасти и поднять народ, необходимо дать ему школу, которая просвещала бы и воспитывала бы его в истинном духе, в простоте мысли, не отрывая его от той среды, где совершается жизнь его и деятельность. Об этом великом деле я не перестаю думать, в согласии с И. Д. Деляновым. В эту минуту окончено уже составление положения о церковноприходских школах. Но когда оно станет приводиться в действие, необходимо будет обратиться за помощью к госуд. казначейству. Бог знает, будет ли успех в этом ходатайстве, но деньги, сюда положенные, конечно, будут много плодотворнее тех миллионов, которые назначаются на многие ученые учреждения.

Нельзя достаточно оценить всю громадную важность этого предмета, и он достоин усиленного внимания Вашего Величества. Здесь, можно сказать, самые ключи будущего благосостояния России. Вот почему обращаюсь к Вашему Величеству с усерднейшею просьбой. Знаю, как дорого время Ваше, но, если осуществится мысль о поездке Вашей в Данию, благоволите взять с собою прилагаемую книжку (которая, если не ошибаюсь, была уже раз мною представлена) и прочтите ее. Я уверен, что, начав читать, Вы не оторветесь от нее до конца, — так она живо написана, так дышит действительною истиной и касается такого важного для России предмета. Я велел напечатать ее в большом количестве и распространяю повсюду, для возбуждения людей к доброй деятельности.

Вот первые, главные народные потребности настоящей минуты. А наряду с ними другие, столь же существенные и которые тоже не ждут. В связи с кабаком — местное крестьянское управление или самоуправление до того расстроено, что повсюду иссякает правда. Власти, разумно действующей, нет, слабые не находят защиты от сильных, а силу захватили в свои руки местные капиталисты, то есть деревенские кулаки-крестьяне и купцы, кабатчики и сельские чиновники, то есть невежественные и развратные волостные писаря. Необходимо водворить здесь порядок, но боюсь, что едва ли водворят его проекты, сочиняемые в Кахановской комиссии.

Наконец, суд — такое великое и страшное дело — суд, первое орудие государственной

власти, ложно поставленный учреждениями, ложно направленными, — суд в расстройстве и бессилии. Вместо упрощения он усложнился и скоро уже станет недоступен никому, кроме богатых и искусных в казуистической формалистике.

Но уже пора мне и кончить. Прошу извинения за то, что утруждаю Ваше Величество; но дело так важно, что я не утерпел написать несколько слов по поводу письма Рачинского, которое вновь возбудило мысль мою и заботу.

Константин Победоносцев

Ораниенбаум. 30 июля 1883

20

В предупреждение неверных слухов, которые могли бы дойти до Вашего Императорского Величества, спешу доложить о том, что происходило сегодня в заседании комитета министров.

Докладывалось в присутствии великого кн. Михаила Николаевича дело, им первоначально возбужденное, об учреждении в Тифлисе правительством и на счет государствен. казначейства закрытого училища для женщин мусульманок. Дело это было внесено в комитет по Высочайшему повелению, вследствие разногласия у И. Д. Делянова с кн. Дондуковым и великим князем.

Я принужден был по совести, согласно с Деляновым, возражать против предположенного учреждения. Самая задача его, по мнению моему, поставлена неверно, и правительство поставило бы себя по этому учреждению в ложное положение, обязываясь на казенный счет воспитывать мусульманок в духе мусульманской религии и наблюдать за исполнением ими мусульманских обрядов. Уверяли, что некоторые из знатных мусульман в Тифлисе желают дать своим дочерям европейское образование; и если б они сами составили план и захотели устроить заведение на свой счет, с надзором только от правительства, — можно было бы только радоваться. Но когда само правительство русское берет на себя это дело и роль, так сказать, блюстителя за воспитанием в строго мусульманском законе, — положение становится фальшивым. Русская начальница, по указаниям шейх-уль-ислама и муфтия, заседающих в попечительном совете, должна наблюдать, чтоб девиц учили догматам о многоженстве и о магометовом рае. Это положение невозможное. Вот что старался я доказать, и затем, согласно с министром финансов, утверждал, что странно на такое дело расходовать из казны 40 т. р., когда казна должна отказывать за неимением средств в удовлетворении самых существенных и неотложных нужд коренного русского населения, когда в 17 епархиях духовенство ниществуется и остается без жалованья, когда нет денег на школы грамотности для крестьян. Затем я указал, что на самом Кавказе есть вопиющие нужды, на которые нет денег. Грузины невежественны, духовенство живет в невежестве и нищенстве, и не на что обучать его. Я указал, что в Озургетах в духовном училище 700 грузинских детей живут, как звери в саклях без окон, ходят полунагие зимою и готовят уроки при свете костров, у коих греются: денег нет, чтоб устроить для них помещение. Я помянул, что прежде хоть общество распространения православия за Кавказом расходовало 63.000 руб. на пособие причтам; но теперь оно впало в несостоятельность и ничего не дает.

Тут прервал меня великий князь: мне в голову не пришло, что это общество, во время управления его расстроившее дела свои, составляет чувствительную струну его. Он встал с места и объявил Рейтерну, что не может оставаться, так как сказанное мною составляет критику на его администрацию.

Рейтерн стал успокаивать его, и он опять сел, а я изъясил свое удивление, в чем его Высочеству угодно было усмотреть критику его администрации, до коей я ни единым словом не касался, а хотел только показать, какие есть на Кавказе нужды, несравненно серьезнее и основательнее, чем учреждение мусульманского женского училища на счет государственный.

Дело кончилось благополучно. Почти все присутствовавшие в комитете выразили мнение в том смысле, что учреждение такого у заведения на средства казны нежелательно; а если некоторые тифлиские мусульмане желают такого заведения, то подобно тому, как бывает при учреждении гимназий, само общество может собрать для сего средства; впоследствии же правительство может дать с своей стороны пособие такому учреждению.

Таким образом, дело кончилось благополучно и без разногласий; но о вышеприведенном эпизоде долгом считаю доложить Вашему Императорскому Величеству, так как он до меня касается и может дойти до сведения Вашего в неточном виде.

Константин Победоносцев

Петербург. 4 октября 1883

21

Примите, Ваше Императорское Величество, сердечное мое поздравление на пороге нового 1884 года. Да будет над Вами и надо всем домом Вашим в наступающем году благословение Божие и Божия милость!

Вот в третий раз в течение Вашего царствования приходится Вам вступать в новый год и переносить через порог тяжкое бремя власти над целым миром вверенных Вашему правлению в самую трудную для правления эпоху. Народ сердцем чувствует, как трудно Вам, и молится за Вас горячо всюду. Промысел Божий, возложив на Вас это бремя, указал Вам и судьбу, которая вся в руках Божиих, соединенная неразрывно с судьбами народа, который держится в течение веков только верою в Бога и надеждой на Государя. Если может что ободрить и укрепить Вас, — так это вера в промысел Божий и в молитву народную.

Молю Бога, да сохранит Вам тихую радость в доме и в семье, и да пошлет Вам счастье — находить людей разумных, верных, крепких мыслью и волей, горящих сердцем, твердых в слове, прямых и правых, а не двоедушных и своекорыстных слуг.

Боже, благослови наступающее новое лето для Вас и для России!

Константин Победоносцев

31 декабря 1883

1884 ГОД

22

Из письма Вашего Величества вижу, что Вам желательно несколько оттенить нынешний ответ кн. Долгорукову.

И мне кажется, что есть к этому основание. В адресе кн. Долгорукова есть нота, которую желательно покрыть другою нотой. Тут сказано: вот-де недавно дворянство заявило свою готовность верно служить престолу. А вот сегодня я безмерно рад, что могу выразить подобное заявление от всех прочих сословий.

Тут звучит что-то неладное: как будто можно было опасаться, что прочие сословия питают какое-то иное чувство или не желают то же самое выразить. И вот, слава Богу, тягота спадает — и другие выражают то же.

Вот неудобство — оттенять то или другое сословие в смысле какого-то преимущественного права на преданность престолу и отечеству. В этом все равны, но положение каждого сословия не одинаковое. Дворянство, действительно, имеет особую постановку, как сословие издревле служилое и потому имеющее особливую сословную честь. Вот почему, хотя ни от кого нельзя ожидать совершенства и безусловной добродетели, дворянство, по историческому своему положению, более чем всякое иное сословие, привыкло, с одной стороны, служить, а, с другой стороны, — начальствовать. Вот почему дворянин помещик всегда благонадежнее, нежели купец помещик и в народе будет иметь

больше доверия, а о купце знают, что он прежде всего имеет в виду свой барыш в хозяйстве. Вот почему в настоящем нашем положении в высшей степени важно, чтобы дворяне землевладельцы стремились как можно более жить в своих имениях внутри России, а не скоплялись в столицах. В этом смысле дворянству принадлежит, действительно, передовая роль, но непременно в связи с тою обязанностью, которую на него наложил история. Но из этого никак не следует, что дворянство, сравнительно с другими сословиями, отличается особливим свойством преданности царю и отечеству. Примеров противоположных немало в каждом сословии, и мы видим, сколько было дворян изменников в смутную пору в России.

В этих мыслях изготавлен мною ответ кн. Долгорукову, который поспешаю представить на благоусмотрение Вашего Величества.

Константин Победоносцев

26 февраля 1884, 6 ч. вечера

23

Простите, Ваше Императорское Величество, что являюсь беспокоить Вас. Но дело идет о таком важном интересе и о такой серьезной опасности для России, что я не могу удержаться. Благоволите прочесть прилагаемые заметки по несчастному делу об элеваторах, в коем мнение большинства превышает мое разумение. Или я совсем потерял разум, или решение большинства, если оно осуществится, будет пагубно для России и возбудит справедливый ропот в самых важных слоях населения, — ропот о том, что важнейшая отрасль нашей промышленности, хлебная торговля, продана в руки американцам. Вот почему дело это я считаю чрезвычайно важным и осмеливаюсь представить свои соображения на благоусмотрение Вашего Величества.

Журнал заседания вчера готов был и сегодня подписан.

Константин Победоносцев

Петербург. 27 февраля 1884

24

Несколько лиц, под видом учредителей, обратились к правительству с просьбой о разрешении учредить в Америке общество для устройства в России элеваторов, с правом устраивать склады и принимать хлеб в залог под закладные листы, или варранты.

К сожалению, в числе сих просителей на первом месте русские имена: ген. — лейт. Дурново и кн. Демидов. За ними стоят настоящие заводчики дела: разорившийся герцог де Морни и двое, называющие себя американцами, никому не известные факторы Мартин и Фишер. Очевидно, что у всех этих лиц, и всего менее у Дурново и Демидова (не умеющих управлять своим хозяйством), нет серьезной цели предпринять и вести дело элеваторов.

Цель у них явная: получив от правительства концессию, продать ее, конечно, за дорогую цену в Америке, где, без сомнения, найдутся на нее покупатели. Да и теперь, по всей вероятности, уже обещана им значительная цена.

Между тем осуществление этого плана, искусно придуманного и обещающего выгоду некоторым его изобретателям, грозит серьезною опасностью главнейшей народной промышленности и может впоследствии возбудить серьезные затруднения для русского правительства, поставив его в обязательные отношения к Северо-Американскому государству.

Одно уже удивительно и очень странно. До сих пор права и привилегии всякого рода предоставлялись только известному лицу или известному образовавшемуся обществу. В настоящем случае никакого общества еще нет, и нет в виду никакого устава этого общества. Оно только еще предполагается к учреждению и должно быть учреждено в Америке и состоять будет, по тамошнему закону, исключительно из американских граждан и управляться законами и интересами американскими. Стало быть, ныне идет речь о

предоставлении прав чему-то неизвестному, еще не существующему. Теперь русское правительство, не видя устава, должно заранее наложить на себя обязательства относительно иностранного учреждения, имеющего действовать в России. И, стало быть, когда это учреждение образуется и издаст свой устав, русское правительство обязано будет подчиниться ему, что бы в нем ни было написано.

И все это для того, чтобы как можно скорее, теперь же утвердить план и предположения учредителей, которые сами, по всей вероятности, никогда не будут членами общества, а если и будут, то не получают в нем голоса, так как они не американские граждане.

Кроме того, по мысли учредителей, предполагается предоставить будущему обществу право выдавать варранты, или закладные листы на хлеб, тогда как в нашем законе нет еще никакого постановления о варрантах.

Основанием к такому решению учредители выставляют удовлетворение существующей будто бы у нас настоятельной потребности в учреждении элеваторов и доказывают, что наша хлебная торговля от того оживится, и что ничто не мешает будто бы русским капиталистам устраивать свои элеваторы и входить в конкуренцию с американским обществом.

Что элеваторы для нас нужны, в этом никто не сомневается. Но что наш хлебный вывоз остановился, это зависит совсем не от отсутствия элеваторов, а от того, что хлебным рынком иностранным завладела Америка, удешевив при помощи своих капиталов и промышленности до последней степени и производство хлеба, и подвоз его, и фрахт. Очевидно, для нас обстоятельства нисколько не изменятся от того, что у нас устроены будут элеваторы, да притом еще теми же американцами. Что касается до конкуренции, то как она возможна будет русскому капиталисту противу американской компании, когда она раз уже утвердится на месте.

Впрочем, об одних элеваторах учредители не стали бы и хлопотать. Важно то, что они себе испрашивают вместе с элеваторами и под предлогом устройства элеваторов.

Они испрашивают себе право устраивать вместе с тем хлебные склады и принимать в них хлеб на хранение с выдачею так назыв. варрантов, или закладных листов. Здесь-то в этом пункте и кроется главная опасность.

Как скоро элеваторы и склады устроятся, в руках у компании будет страшная монополия, к которой волею-неволей должна будет пойти в кабалу вся русская хлебная торговля. Очевидно, что американцы, ныне владеющие хлебным рынком в Европе и состоящие в прямых отношениях со всеми крупными агентами всех хлебных рынков, захватят в свои руки все, — и мимо этого пути сбыта хлеба через компанию все другие пути или заглохнут, или будут крайне затруднены. Средства для погрузки хлеба, а может быть, и для фрахтования грузов все попадут в руки компании. Хлебные цены тоже будут исключительно в ее руках. Стало быть, кто привезет хлеб, тому некуда будет сбывать его, кроме компании. Мало того: если цена станет невыгодная, складывать хлеб останется возможным лишь в складах той же компании. Учредители позаботились заранее определить такие условия сроков и тарифа за хранение, что складчики попадутся в эту сеть, как в ловушку, и многие принуждены будут на срок или отдать сложенный хлеб компании за что придется, или оставлять его вовсе. Легко представить себе, в какие тиски попадет тогда наша хлебная торговля.

Мало того. Иностранная компания получает право приобретать земли и арендовать их в портах. Мы, кажется, достаточно уже испытали, какие последствия происходят от того, что иностранцы допущены у нас к свободному приобретению недвижимых имуществ. Масса иностранных имуществ в России — это великое зло, грозящее бедою и в международных отношениях. Отдельный иностранец всегда состоит у нас в привилегированном положении, ибо он состоит под двойною охраной — и под охраною русского закона, и, что главное, под охраною своего консула и посланника. Во сколько же раз эта привилегия будет сильнее относительно большой, многокапитальной и притом американской компании. Сколько предстоять будет затруднений и нашему правительству, особливо по отношению к

правительству Соединенных Штатов, где, как всем известно, все ныне основано на денежном интересе и подкупе, где народные представители в конгрессе служат прежде всего представителями частных и торговых интересов, и где промышленные компании составляют едва ли не господствующую силу в государстве? Притом еще замечу, что ничем не ограничено право предполагаемой американской компании для всех ее предприятий в России ввозить сюда и рабочих, всех своих агентов и деятелей из Америки: отсюда еще новое зло, коего последствия предвидеть невозможно.

Не буду входить в нравственную оценку тех из учредителей, кои носят русские имена и сами богатые люди. Бог им судья. Но как не подивиться, что в эту ловушку, расставленную учредителями под предлогом пользы для России, попались 38 голосов в составе Государственного Совета!

Меньшинство состоит из 8 голосов. В числе их 9-м был бы военный министр, но он случайно должен был выйти из собрания в то время, когда слушалось дело.

Но и большинство не согласно между собою. Оно тоже разбилось на 2 мнения по вопросу о привилегиях, коих испрашивают учредители.

Меньшинство полагает вовсе отклонить предложение учредителей, как несоответственное с важнейшими интересами русской промышленности. Во всяком случае, если б и допустить обсуждение сего дела, то никак не теперь, когда приходится судить, не имея всех данных и не видя ничего ясно. Речь о предоставлении каких-л ибо прав американской компании в деле, так тесно связанном с важнейшими интересами России, может быть во всяком случае не прежде, как тогда, когда образуется в Америке эта компания и представлен будет законно утвержденный устав ее.

(Без даты)

25

Я уже имел честь докладывать Вашему Императорскому Величеству о возникшем с прошлого года движении эстов к православной церкви. Движение это до сих пор продолжается при усиливающемся противодействии местных пасторов и помещиков, составляющих администрацию. В виду этого противодействия и всякого рода нареканий на духовенство, я не переставал и не перестаю приглашать местного рижского епископа ко всевозможной осмотрительности и благоразумию в этом деле. Не имею до сих пор причины пожаловаться на недостаток того и другого.

Между тем были у меня с объяснениями по этому делу ревельский супер-интендант Шульц и предводитель дворянства бар. Врангель. Я удостоверил того и другого, что отдельные присоединения происходят не внезапно, а с должною осмотрительностью, и что из этого дела всячески устраняются всякие сторонние побуждения; напротив того, внушается крестьянам, что они не должны рассчитывать ни на какие материальные льготы и преимущества.

Однако они продолжают волноваться и хлопотать здесь, чтобы всякое дальнейшее движение было остановлено мерами правительства, хотя я старался уверить их (в чем уверен сам), что чем спокойнее будут они относиться к этому движению, тем скорее оно успокоится.

Супер-интендант Шульц возбудил уже в министерстве внутренних дел формальное ходатайство о восстановлении состоявшегося в 1845 году и потом отмененного Высочайшего повеления о том, чтобы между записью желающих присоединиться и действительным присоединением соблюдался был шестимесячный срок.

По этому ходатайству министерство внутренних дел спрашивало моего отзыва.

Дабы разъяснить вполне это дело и вывести его начистоту, а вместе с тем показать все вредные последствия, бывшие у этого срока, я поручал состоящему при мне дельному чиновнику д. ст. с Крыжановскому изучить по рассеянным в архивах документам всю историю этого дела.

Окончив эту работу, он составил записку, весьма интересную и основанную на самых точных данных. Записка эта отпечатана в небольшом количестве исключительно для правительственных лиц.

Долгом почитаю представить ее на усмотрение Вашего Величества, на случай, когда Вам благоугодно будет и потребуетя разъяснить себе это дело.

В конце записки, на стр. 65, изложены сведения о том, как совершалось присоединение в прошлом году. Отсюда видно, что ни одно не происходило внезапно, но по испытании присоединявшихся и не ранее во всяком случае двух недель со времени заявления.

Константин Победоносцев

Петербург. 3 марта 1884

26

Рассчитывая, что покуда длится путешествие, у Вашего Величества может быть более досуга, нежели в обыкновенное время, позволяю себе с последним курьером переслать прилагаемые три книжки харьковского журнала «Вера и Разум» и обратить Ваше внимание на помещенные здесь статьи проф. Надлера «О религиозном развитии Императора Александра I». Статьи хорошо написаны и очень интересны и поучительны. Они содержат в себе печальную повесть о роковых недоразумениях высшего правящего сословия, о народе и его потребностях, — недоразумениях, коими наполнена новая история России с XVIII столетия.

Судя по нашей погоде, думаю, что морская Ваша прогулка должна была удался вполне. Да хранит Вас Господь до благополучного возвращения!

Константин Победоносцев

Ораниенбаум. 24 июня 1884

27

Вот уже третью неделю слушается в комитете министров дело о несовместимости с некоторыми должностями государственной службы участия в управлении делами акционерных обществ и службы в этих обществах.

Дело это представляется мне очень важным по своему нравственному значению и требующим большой осмотрительности в решении.

Не подлежит сомнению, что есть некоторые государственные звания и должности, с коими совсем несовместимо участие в акционерных предприятиях. В последнее время случаи этого рода составляли обыкновенное явление. Члены Госуд. Совета, сенаторы, генерал-адъютанты и пр., состоя членами правления в банках, в железнодорожных, страховых и т. п. обществах, в то же время принимали участие в суждении по делам государственной важности, касавшимся до этих самых предприятий, являлись по оным ходатаями в разных учреждениях и т. под. Смешение в этом деле личных интересов с государственными доходило до бесстыдства.

Двигательною силою в этом было желание обогатиться, нажить большие капиталы без большого труда. Нередко случалось, что люди, неспособные ни к какой практической деятельности, пользуясь только своим положением на службе или при дворе, давали свое имя для участия в самых непрактических и искусственно сформированных предприятиях, для того только, чтобы осуществить своим влиянием и ходатайством, затем создать фиктивную ценность акций и приобрести себе большой капитал.

Этот соблазн подлежало прекратить непременно относительно больших людей и важных должностей государственных.

Но независимо от этих крайних случаев, в коих имелось в виду обогащение, есть множество случаев совсем иного рода, относящихся до средних и мелких должностей в составе чиновничества. Здесь уже дело идет не об обогащении, а лишь о приобретении

средств для домашнего быта посредством внеслужебных занятий. При всеобщей дороговизне жизнь стала трудна повсюду для семейных чиновников. Многие из них, при государственной службе, искали себе посторонних занятий и случаи к тому представлялись в разнообразной деятельности по промышленным предприятиям, по работе в конторах, агентствах, правлениях и т. под. Отрезать всем этим людям пути к пополнению домашнего их бюджета дополнительным частным трудом без ущерба для службы было бы и несправедливо, и, вместе с тем, не только не полезно, но и очень вредно для государственной службы. Невозможно забывать, что у нас всякий человек, получивший где-нибудь образование, стремится к государственной службе, число чиновников умножилось до крайности при образовании новых учреждений, и повсюду ощущается крайний недостаток в способных чиновниках. Наиболее способные и деятельные из них находятся именно в средних и нижних чинах управлений и канцелярий. Безусловное запрещение для них посторонних занятий заставило бы именно способнейших вовсе оставить службу, и интересы службы от того пострадали бы. Кроме того, несомненно, что для оставшихся на службе это запрещение непременно послужит поводом просить для себя дополнительных вознаграждений, пособий, аренд и т. под., что, в общей массе, падет значительным придатком расхода на госуд. казначейство (и теперь уже некоторые директора департаментов заявляют, вследствие ожидаемого запрещения, необходимость просить об аренде).

Эти мысли я выражал в комитете министров при обсуждении дела. Цель нынешнего закона, конечно, не прекращение злоупотреблений. Напрасно было бы ожидать, что этот закон прекратит их. Главная причина злоупотреблений состоит в том, что не смотрят за делом те, кому смотреть следует. Очевидно, что когда начальник сам не понимает дела или невнимателен и равнодушен, то примет и подпишет все, что ему представляют докладчики и исполнительные лица. И члену высшего государственного учреждения, и чиновнику, в какой бы должности ни был, никакой закон не помешает действовать пристрастно. Хотя бы он официально и не носил на себе звания директора компании, он может все-таки из личного интереса, и еще тем удобнее под прикрытием, действовать в ее пользу.

Цель закона, по мнению моему, совсем иная: охранить достоинство государственной службы и чувство нравственного приличия, о коем все забыли с того времени, когда в 50-х годах возникло у нас движение акционерных компаний, поднялась биржевая горячка и пошли в ход акции. Перестали уже стыдиться; и лицо, состоящее в должности, большой или малой, считало уже как бы правом своим, никому не сказываясь, ни у кого не спрашиваясь, вступать в службу по компаниям, хлопотать по делам их privately и открыто, так что у иных на первом плане деятельности стала уже эта служба частному интересу, а служба государственная явилась как бы придатком и орудием для достижения личных целей. Вот это фальшивое понятие и следует уничтожить, напомнив всем забытую основную мысль о долге службы.

Итак, некоторые высшие должности и звания должны быть объявлены безусловно несовместимыми с учредительством и со службою в акционерных правлениях. Что касается до остальных, подчиненных должностей, то должно быть объявлено, что чиновник, состоящий в должности на службе и обязанный ей посвятить свою деятельность, не вправе принимать на себя другие должности и занятия в частных предприятиях, не заявив об этом своему начальству. Начальству представляется рассудить, возможно ли допустить это без ущерба для службы и без нарушения основных правил служебной честности, — и кроме начальства никто рассудить об этом не может. На то и поставлен начальник, а если он плох или сам не честен, то уже дальше и искать нечего.

В комитете министров согласились с основною мыслью этого рассуждения, но подробности редакции затянулись на три недели, за отсутствием некоторых министров (военного и морского) и за некоторыми недоразумениями. Сегодня, наконец, приняли окончательную редакцию.

Но в ней есть одна статья, из-за которой преимущественно я и решился обременять

внимание Вашего Величества своим многописанием.

Предложено подвергнуть безусловному запрещению всех состоящих на действительной службе в военных и военно-медицинских чинах сухопутного и морского ведомства. Сюда входит, следовательно, вся армия, в больших и малых чинах, безразлично.

Признаюсь, что для меня очень сомнительна польза такого безусловного запрещения, а напротив того, я весьма опасаясь неблагоприятных от него последствий. Вредно и безнравственно, что здесь в столице есть генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и пр., пользующиеся своим положением для устройства своей фортуны в разных акционерных и других предприятиях; но если подумать обо всей России и о целой армии, — какая беда для службы от того, что тот или другой поручик или майор состоит деятельным членом того или другого предприятия? Некоторые из них нуждаются и в техниках членах, кои встречаются в среде офицерской. Наконец, сколько есть бедных офицеров, которые, не имея возможности прожить жалованьем, питаются от этих занятий. Не справедливее ли было бы, выделив высшие чины и должности, вообще поставить эту деятельность в зависимость от усмотрения и согласия начальства.

Но тут дело идет еще и не об одной справедливости. Важно, по мнению моему, очень важно, то впечатление, которое произведено будет на всю армию внезапным принятием такой крутой меры.

Вашему Величеству, конечно, не безызвестно, что теперь в военной среде слышится и без того глухой ропот на многие меры и распоряжения высшего военного управления по сокращению штатов и содержаний, по нововведениям относительно службы и производства и т. под. Говорят уже, что не стоит служить в военной службе, что офицерство стеснено и обрезано, что на полковую службу и в армии, и в гвардии уже не обращается внимания такого, как было прежде, и т. под. Не умею судить, насколько основательны эти жалобы, но то несомненно, что они слышатся отовсюду.

Несомненно, что этот ропот усилится с изданием нового закона, а мне кажется, что не следует пренебрегать этим особенно в нынешнее смутное время брожения умов.

Притом вот что важно. Говорят повсюду, что мысль обо всех этих ограничениях исходит от Вашего Величества. Не сомневаюсь, что от Вас исходит верная и вполне справедливая мысль общая о необходимости поднять достоинство службы и служебных званий; но едва ли все подробности применения возможно признавать исходящими от Вас лично. Между тем, мне известно, что, например, многие из членов комитета министров готовы были заявить свои сомнения относительно благовременности предполагаемого ограничения военных чинов; но их останавливала задняя мысль о том, что на это уже есть непременная воля Вашего Величества, — и, кажется, таково мнение самого военного министра.

Смею думать, Ваше Величество, что весьма нежелательно было бы, с изданием нового закона, давать ход тому мнению или слуху (а он наверное пойдет), будто это безусловное ограничение армии исходит непосредственно от Вашего Величества.

Думается мне поэтому: не благоразумнее ли было бы в настоящее время выделить из общего указа статью о военных и военно-медицинских чинах, и по этой статье предоставить военному министру составить особо свои предположения. По специальности предмета соображения эти могли бы быть внесены на рассмотрение военного совета (имеющего свою законодательную постановку). Тогда, по крайней мере, было бы прямое об этом деле суждение военного совета, в связи с правилами и условиями военной службы, — и дело было бы ясно. А теперь комитет министров, видимо, как бы устранил себя от рассуждений по этому предмету, как бы специально военному.

Константин Победоносцев

Петербург. 27 ноября 1884

Долгом почитаю представить вниманию Вашего Величества две любопытные записки, составленные профессором здешней духовной академии Троицким, к которому я иногда обращаюсь для исследования возникающих спорных церковных вопросов. Сообщаю потом эти записки и министерству иностранных дел, которое ими пользуется.

Одна из этих записок касается любопытного, все более и более выступающего вопроса об упадке церкви в тех славянских землях, где введена, по западному образцу, конституция. В ней выражены очень верные, по мнению моему, мысли.

С невольным вздохом обращаешься к прошедшему и спрашиваешь: как могла русская государственная власть прийти к роковой, к ложной до ослепления мысли ввести сочиненную по западной мерке конституцию в освобожденной Болгарии? Правда, что это произошло в то время, когда самые фантастические идеи господствовали во внутренней политике нашей; но, казалось бы, во внешней политике одно чувство самосохранения должно было предупредить нас, что мы налагаем сами на себя убийственную руку и разрушаем вековые предания русской национальной политики... Недавно еще я имел по этому предмету разговор с кн. Дондуковым, которого иные считают виновником этого дела. Он с негодованием отвергает это обвинение, уверяя, что его проект был совсем переделан в Петербурге под влиянием гр. Шувалова и при посредстве комиссии, в которой председательствовал добрый, русский по душе, но — увы! — бесхарактерный, гибкий и уступчивый до полного самоуничтожения кн. Урусов... Это была великая, роковая ошибка — и, Бог знает, возможно ли когда-нибудь исправить ее!

Статьи греческих газет показывают, какой благодарности может ожидать Россия от тех, за кого проливали кровь свою, когда разрушаются прежде соединявшие нас с ними узы единой веры и когда ветер потянул их от Востока к Западу.

Другая записка относится к возникшему недавно вопросу о признании вселенским патриархом новой сербской иерархии. Патриарх (лицо во всяком случае еще сомнительное) ссылается теперь на угрожавшую опасность от соединения сербской церкви с карловицкой митрополией. Автор записки доказывает, что это опасность мнимая, и в конце указывает, куда должна стремиться наша политика, — указывает, по мнению моему, верно.

По этому последнему предмету почитаю не лишним доложить Вашему Величеству, что сведения наши о церковных делах Востока и славянства, и сношения с тамошними людьми постоянно умножаются, хотя были прежде очень скудны. Года три тому назад мы отправили одного, очень даровитого и хорошего по душе кандидата духовной академии Пальмова в поездку на Восток и по всем славянским землям для изучения тамошних церковных дел и церковной истории. Он вернулся недавно, объехав и главные центры, и темные углы, и привез массу любопытнейших сведений. Теперь учреждается для него в здешней духовной академии кафедра истории славянских церквей, именно с целью распространения точных сведений об истории и нынешнем положении там церковного дела.

Константин Победоносцев
Петербург. 22 декабря 1884

1885 ГОД

Простите, Ваше Величество, что я слишком, может быть, часто утруждаю Ваше внимание своими писаниями. Но что же делать, когда сердце не терпит в таких делах, в коих только у Вашего Величества можно искать крепкой опоры и живого движения к правде.

Печальное яacobштадтское событие вынуждает обратить зоркое внимание на этот именно угол, который как будто ускользнул совсем от внимания правительства. А между тем, здесь едва ли не самое опасное польское гнездо, какое только есть в России, — и с какою ловкостью оно устроено и укрыто от надзора!

Мне хочется объяснить в кратких словах, почему это произошло. Причины исторические и объясняются нагляднее с помощью карты.

Угол этот составляется из так называемого издревле Зельбургского благочиния, к коему принадлежат вся придвинская часть Фридрихштадтского уезда и весь уезд Иллуксткий — узкая полоса, на 9/10 своей фигуры примыкающая к Витебской и Ковенской губерниям.

По истории видно, что по обе стороны Двины было тут старинное владение полоцких князей с русским населением, вдававшимся в латышское. Тут велась долго упорная борьба между русскими, немцами, литвой и поляками. К XVI веку произошло разделение. Правый берег остался за Польшей (Лифляндские уезды — Динабургский, Режицкий, Люцинский); левый берег, под именем Зельбургского округа, вошел в Курляндию, состоявшую тоже под протекторатом Польши. Итак, вот с того времени поляки перемешались здесь с немцами в общем интересе (тогда Плятеры, Зиберы и пр., родом немцы, приняв католичество, превратились в поляков).

Население однако было чисто-русское и православное. Самый Якобштадт основан в 1670 г. русскими и назван по имени герцога Иакова. Иезуит Палевин в 1582 г., проезжая в Россию, останавливался в Иллуксте и не нашел во всем околотке ни одного дома католического. Но владыки полоцкие, к епархии коих принадлежал край, первые изменили, перешли в унию и стали распространять ее. Появились иезуиты, василианские монахи, и в XVIII столетии обращение в унию совершалось массами, — к концу его все население (кроме Якобштадта со старым его монастырем) было оторвано от православия. Совращения продолжались и по присоединении Курляндии к России (1795 г.), пока не совершилось воссоединение 1839 года.

Любопытно, что здесь, в этом Зельбургском округе, произошло явление, я думаю, беспримерное в Европе, — дружное единение немцев с поляками, донныне резко бросающееся в глаза. Немец сошелся с поляком в стремлении изолироваться от всякого русского влияния, и немцы, с своими особливими учреждениями, совсем закрыли от правительства поляка с самою усиленною его пропагандой: все исключительные русские законы, ограничивавшие польскую и латинскую пропаганду, не имели действия в этом крае. Зельбургский округ был впереди всех во время восстания 1863 года и отличался самыми дерзкими предприятиями. (нападение на транспорты, сборы для нападения на Динабург, укрывательство важнейших предводителей) и за всем тем, благодаря своему положению, он избежал администрации Муравьева, законов о покупке имений поляками и пр., за черту его не переходило лютеранство, и здесь, во дворах польских помещиков, свободно проживают и действуют «гости из Литвы и Польши».

Кн. Суворов, послуживший, к сожалению, орудием многих вредных для России предприятий, помог и в этом отношении польской пропаганде.

По присоединении Курляндии все унианские приходы остались в ведении полоцкой униатской епархии. Они оставались за нею и после воссоединения униатов. Эта принадлежность к Полоцку держала зельбургские приходы вместе с прочими воссоединенными на глазах правительства и под общим руководством новоправославной церковной власти.

Понадобилось разрушить и эту гарантию руками кн. Суворова. По представлению его приходы эти присоединены к рижской епархии в 1849 году, следовательно, укрыты от надзора власти, специально призванной к наблюдению за польско-латинскою пропагандой.

И вот с тех пор пропаганда эта действует в этом краю безвозбранно и без всякого контроля. Дошло до того, что в Иллуксте собралось на жительство до 40 ксендзов, возвращенных из Сибири.

Далее не стану обременять внимание Вашего Величества указанием на собранные у меня факты этой пропаганды. Я желал только указать на особое значение и исключительно привилегированное положение этой местности. Осмелюсь только указать еще на одно из неблагоприятных проявлений нашей неосмотрительности и польского

влияния в этом крае (на особом листочке).

Константин Победоносцев
30 января 1885

30

Доклад, который имею честь представить при сем, есть результат рассуждений, два года длившихся в синоде, и отвечает заявленному со всех сторон желанию благочестивых людей восстанавливать закрытые приходы и восстанавливать богослужение, прекращенное во многих сельских храмах со введением новых штатов 1869 года. К сожалению, сокращение церквей и закрытие старинных приходов, к коим народ привык, последовало именно в такое время, когда, с освобождением крестьян, оказалась настоятельнее прежнего потребность в храмах. А вышло так, что в это самое время кабаки приблизились к народу в самых мелких поселках, а церкви, напротив того, отдалились от него. Итак, во многих местах народ стал отвыкать от церкви, привыкая к кабаку. Немало воспользовался этим и раскол, особливо в глухих местах.

В последнее время со стороны синода делаемы были всевозможные облегчения к открытию закрытых приходов; за всем тем осталось еще их немало.

Нынешнее постановление синода имеет целью ввести постоянные правила к облегчению этого дела и к восстановлению в штате церковном диаконов, о чем давно уже многие приходы ходатайствуют.

Константин Победоносцев
15 февраля 1885

31

Имею честь представить Вашему Императорскому Величеству, во 1-х, экземпляр послания св. синода, изготовленного на 6 апреля; во 2-х, экземпляр изданий к тому же дню славянского благотворительного общества, предназначенных для бесплатной раздачи и уже разосланных в большом количестве (по числу приходов) во все концы России. В этой кипе собраны два жития на русском языке, написанные на премию от славянского общества. Первую премию получила девица Вильямс, года полтора тому назад вышедшая из Екатерининского института; а вторую — тоже девица. Третье житие — краткое, на славянском языке, с присоединением к нему молитвы и наставления, из старинных рукописей. И то, и другое примечательно тем, что содержит в себе предостережение против латинян, которые теперь выдумали присваивать себе Кирилла и Мефодия из политических целей, отвергнув изобретенную ими кириллицу.

Кроме того, изданы сохранившиеся в древних рукописях службы св. Кириллу и Мефодию.

Вот уже несколько лет продолжается со стороны рижской курии агитация по поводу Кирилла и Мефодия, направленная против православных славян и России. Главным ее деятелем служит епископ дьяковорский Штрамайер, задумавший объединить всех славян австрийских под знаменем католичества и внести ту же пропаганду в среду православных. К 6-му апреля он, при содействии Рима, давно готовит громадную демонстрацию в Велеграде. Эти приготовления заставили и нас озаботиться о торжественном, по возможности, праздновании этого дня в России. Дело успело огласиться повсюду, встречено с большим сочувствием, и теперь во всех городах и во многих селах готовятся празднества на 6 апреля с торжественным богослужением и крестными ходами. Думаю, что это торжество не останется без важных последствий и утвердит в народном сознании (что в особенности важно на окраинах) чувство национальности и понятие о просвещении, связанном с церковью. Действительно, нельзя не признать, что семя всей нашей исторической культуры заложено в азбуке, изобретенной Кириллом и Мефодием, и в книгах, ими переложенных на славянский

язык и доныне составляющих драгоценное достояние духа народного в России.

Итак, это торжество можно назвать всероссийским. Вот почему приходит на мысль: не благоугодно ли будет Вашему Величеству почтить его и Вашим присутствием в Исаакиевском соборе, где будет главное торжество, и после литургии, около 12 часов, молебен. Это было бы, по мнению моему, чрезвычайно важно для народного сознания.

В этот же день, перед литургией, будет происходить в соборе хиротония прибывшего на днях сюда из Цетинье архимандрита Митрофана Бана, поставляемого в митрополита черногорского. Приезд его именно к этому дню последовал весьма кстати. Он еще молодой, бодрого вида, учился в Заре Далматской, родом из Боккади-Каттаро, говорит пока лишь по-черногорски.

После хиротонии Ваше Величество, без сомнения, соизволите принять его во свидетельство добрых отношений наших к черногорскому народу. Между тем, не благоугодно ли будет Вам почтить его пожалованием ему от Вашего имени архиерейского облачения в том роде, как были изготовлены облачения для архиереев на коронацию.

Константин Победоносцев

Петербург. 3 апреля 1885

32

В последний раз, когда я был в Гатчине, Ваше Величество изволили говорить о проектах памятника в бозе почившему Государю в Кремле, и в особенности о проекте Антокольского, который, если не ошибаюсь, остановил на себе Ваше внимание, хотя и не вполне удовлетворял Вас.

Я тогда же высказывал всегдашнюю свою мысль, что памятнику в Кремле какое-то несвойственное место, и что лучшим здесь памятником служила бы небольшая церковь или часовня.

Но, кажется, решено уже быть памятнику.

В таком случае очень важно, какой будет памятник. Проект Антокольского, сколько мне известно, едва ли пригоден для предмета и для места. И что за памятник, — множество фигур, сидящих в полукруге? Это было бы, особливо в Кремле, странное и несвойственное зрелище. Притом для памятника требуется цельная, центральная идея, наглядно и поэтично объединяющая представление, а тут совсем нет наглядного центра. Да едва ли и способен уловить эту идею еврей, космополит по натуре и по свойству своего таланта.

Спустя некоторое время после этого разговора, случилось мне встретиться с Крамским. Крамской из всех художников, кого я знаю, более мне симпатичен, потому что у него душа живая, русская и религиозная. Он глубоко чувствует и глубоко понимает.

Тут я узнал, что Крамской носится с идеей об этом памятнике, и эта идея совсем им овладела. Коронация в Москве, коей был он свидетелем, потрясла его до глубины, и великий образ ее с тех пор не дает ему покоя, в связи с мыслью о памятнике. Мысль эта, как ему кажется, созрела в нем, и он додумался до проекта.

Я обещал Крамскому, когда он разработает свой проект, представить его на усмотрение Вашему Величеству непосредственно.

Теперь он разработал его и принес. Действительно, мысль его глубокая, и проект грандиозен и достоин предмета. Здесь есть идея, очень меткая и поэтичная.

Из прилагаемого описания (в двух вариантах) Ваше Величество изволите усмотреть, в чем состоит эта идея памятника. Мне кажется, что и Вам этот проект по идее покажется удовлетворительнее прочих.

Но против деталей я имею возражения, которые и высказывал вчера Крамскому.

В проекте слишком много фигур, которые подавляют его и отвлекают от центральной мысли. Группа выходит величественная, но громоздкая. Притом эти фигуры (министры, генералы и пр.), составляя аксессуар, соответствуют однако же известным деятелям эпохи и потому не могут быть совершенно безличными.

Казалось бы, что идея памятника много выиграет, если выразить ее лишь в четырех-пяти фигурах, из коих две только, — Императора и митрополита, — сосредоточат на себе внимание, а прочие (напр., знаменосец, мальчик с посохом и т. п.) будут действительно аксессуарными.

Крамской не мог не согласиться с этим замечанием, и переделка проекта в этом смысле не представила бы затруднений, если б только основная мысль была одобрена.

Мозаичная картина сзади памятника будет иметь существенное значение и представит великий момент в общей идее.

Итак, имею честь представить при сем рисунки Крамского вместе с записками его и последним письмом ко мне на благоусмотрение Вашего Величества.

На случай, если б угодно было Вашему Величеству иметь какие-либо дополнительные объяснения, предполагаю явиться в Гатчину в субботу, 20 числа, к 12 часам, если не получу от Вашего Величества других указаний.

Сегодняшние известия о здоровье гр. Толстого очень тревожные. Он не спал 18 ночей, ослабел очень, и на этой неделе в пятницу предполагают везти его в Москву. Сомневаются, благоприятен ли для него крымский воздух.

Константин Победоносцев

Петербург. 15 апреля 1885

33

Вернувшись сегодня из своей поездки, долгом почитаю доложить Вашему Императорскому Величеству, что все, что я видел и чему был свидетелем, оставило во мне самые отрадные впечатления. Казань всегда казалась мне самым замечательным в России центром умственной деятельности, и именно около церкви собралось там немало людей серьезных и добросовестных, неутомимых деятелей. На этот раз кружок еще значительно усилился прибытием новых лиц. В числе приехавших архиереев (саратовский, уфимский, оренбургский, астраханский, симбирский, вятский, пермский, екатеринбургский) я встретил двух в особенности интересных — оренбургского Вениамина, очень серьезного и деятельного, и старца Дионисия уфимского, который в течение 43 лет продолжал миссионерскую деятельность в Якутской области. По инородческому вопросу был налицо человек, в своем роде единственный и неоцененный — Ильминский, директор учительской семинарии; священник Василий Тимофеев, из татар, учредитель и начальник крещено-татарской школы; Яковлев, родом чуваш, посвятивший себя просвещению своего племени, учредитель 153 чувашских школ в Симбирской губернии, и несколько замечательных по этой же части профессоров казанской духовной академии, в том числе молодой Машаков, отъезжающий на 2 года в Аравию для специального изучения арабского языка и тамошнего ислама. По части раскола вызван сюда из Москвы первый знаток дела проф. Субботин; в Казани же имеется другой знаток, профессор Ивановский. Но что всего важнее, — вызвано в Казань несколько известных миссионеров — крестьян и священников, из Пензы, из Перми и Оренбурга, людей практически знающих дело раскола. Эти-то люди своими практическими указаниями и разъяснениями должны принести большую пользу собравшимся епископам, из коих многие знакомы были с этим делом лишь поверхностно и по книгам.

Итак, нынешнее казанское совещание будет, я надеюсь, много плодотворнее прошлогоднего киевского. Оно открылось 9-го числа торжественно, под председательством преосв. Палладия казанского, человека умного и распорядительного; затем все разделились на 2 группы: по расколу и по инородческому делу, и каждая собирается ежедневно 2 раза — утром и вечером. Дело пошло очень дружно при содействии названных мною лиц, и я не сомневаюсь, что из него выйдет немалая польза, притом Казань никогда не видала таких церковных торжеств: литургия совершается в соборе 8 епископами с большим торжеством и с превосходным пением.

Особенно любопытно и трогательно было мне слушать всенощную в крещено-татарской школе в прошлую субботу. Церковь вся наполнена была множеством крестьянских мальчиков, девочек и молодых сельских учителей, и все это собрание — до 150 человек — всею церковью пело всенощную на татарском языке; чтение и вся служба была тоже по-татарски. Поют они художественно, по временам переходя в некоторых молитвах и на слав. — русский язык. Но кто не слышал, тот не может себе представить всю особенность татарского пения детей и мальчиков, — сколько в нем жизни и выразительности, и такая задушевная простота. Такая же служба и пение в симб. школах на чувашском. Это совершение служб на туземных наречиях производит удивительное действие. Дети все отлично обучаются чтению и пению и, приходя в деревню, в своих семьях становятся миссионерами посреди родителей-татар, которые считались православными только по имени, не зная языка. Потом из них образуются учителя для сельских школ чувашских и татарских, и они у себя образуют службу и пение по тому же примеру, и из них же ставятся по мере возможности священники и диаконы в инородческих приходах. Это — великое дело, поднятое в Казани Н. И. Ильминским по стародавнему примеру первых казанских епископов Гурия и Варсонофия и Стефана пермского, — примеру, бывшему в забвении в течение 300 лет.

С такими приятными впечатлениями в прошлый понедельник оставил я Казань. В Нижнем Новгороде пробыл несколько часов в самом начале ярмарки, успел осмотреть только что открытую и интересную выставку кустарной и заводской промышленности, и не избег общей участи претерпевать великое кормление от купцов. За завтраком почтенный старик И. Н. Волков, подойдя ко мне, сказал: «Все мы просим доложить Его Императорскому Величеству, что когда потребуется, как было при Минине, так и теперь будет, — все мы готовы все отдать на защиту царя и отечества от врагов».

Затем меня ожидали еще новые впечатления во Владимире, где я не бывал еще до сих пор. Я пробыл там день и видел великую красоту в храмах. Вот когда бы Вашему Величеству выпало удобное время съездить во Владимир из Москвы на несколько часов, — великая честь и радость была бы для города, ныне позабытого и служащего лишь проезжею станцией железной дороги; а для Вас, я уверен в том, было бы делом самого живого интереса посмотреть на этот срединный пункт земли русской, — на гнездо Москвы и русского государства, — и видеть эти храмы, единственные по своему значению. Особенно с прошлого года, когда открыт возобновленный Успенский собор со стенною живописью XII века. Особенное чувство теснится в душу, когда вступаешь в этот величественный храм, единственный памятник, уцелевший в России от погромов древнего времени; когда подумаешь, что здесь, на этих самых хорах, великокняжеское семейство задушено было огнем и дымом при нашествии Батыя. Усердием здешнего достопочтенного архиепископа Феоноста восстановлено здесь много скрытого от древности. В стенах найдены заложенными великокняжеские гробницы, очищены, оправлены, украшены — и все какие имена! Это храм несравненный, а возле — Дмитровский собор великой красоты, и еще возле — собор Александра Невского, откуда вынута и перевезено в Петербург тело усопшего князя, — собор, восстановленный при Николае I во всей первоначальной красоте своей архитектуры. Я был и в Боголюбове монастыре, в старом соборе, у того самого слухового окна, в той самой комнате, где убийцы задушили Андрея Боголюбского. Все это в высшей степени любопытно, и все, вместе с окрестными полями, лугами и селами и церквями, преисполнено той красоты, которую так любит и на которую так отзывается душа северного русского человека. Но тут и переход от юга на север, потому что с юга до Киева прошел сюда Андрей Боголюбский и здесь поставил по образу киевскому золотые ворота, окрестил киевскими именами многие урочища и заложил, так сказать, на южно-русских именах и костях великорусскую господственную силу.

Константин Победоносцев

Ораниенбаум, 19 июня 1885

Может быть Вашему Императорскому Величеству любопытно будет взглянуть на группу собиравшихся в Казани архиереев, — все они уже разъехались, окончив свое дело.

А между тем 22 июля на Дальнем Востоке, в Иркутске, открылся другой съезд из семи сибирских архиереев, туда собравшихся. В числе их прибыл из Благовещенска преосв. Мартиниан, на пути в Симферополь, куда он переведен, и привез с собой архим. Гурия, своего преемника, коего хиротония состоялась тут же, в Иркутске, 22 июля. К этому времени прибыл туда же и граф Игнатъев. Корф, к сожалению, не мог подъехать к этому дню, как предполагал вначале, но прислал за себя забайкальского губернатора. От 1 августа преосв. Вениамин иркутский телеграфирует, что у них кончены совещания по церковно-гражданским вопросам и продолжатся еще с неделю совещания по церковным делам.

Известное Вашему Величеству дело о предбрачных подписках получает, слава Богу, достойный исход в тишине! Завтра, надеюсь, будут разосланы от синода указы, образец коих буду иметь честь представить Вашему Величеству. Вместе с тем и в министерстве внутренних дел приступлено к отмене инструкции 1865 года, развязавшей руки лютеранским пасторам. Когда узнают об этом, — ропота и раздражения будет много. Не сомневаюсь, к сожалению, что и здесь многие из так называемого высшего круга будут негодовать, со своей точки зрения, на то, что им представляется нарушением веротерпимости и цивилизации. Негодование это обратится, конечно, на меня, но я спокойно подвергаюсь ему, ибо чувствую и сознаю, что исполнил свой долг, обратив внимание Вашего Величества на это дело. Что касается до веротерпимости, то я не могу причислить к ней несчастную склонность нашу отдавать себя со связанными руками и церковь, и народность в руки иноверцам и иноземцам, смотрящим с презрением на нас и на нашу церковь.

Уезжаю сегодня в Смоленск и оттуда в Зальцбург через неделю. Стану следить с сердечною заботой за путем Вашего Величества в Немиров и в Киев: дай Боже, чтобы все совершилось благополучно! В Киеве смею обратить внимание Вашего Величества на 80-летнего, но еще бодрого старика Юзефовича, который, без сомнения, будет представляться; он радуется, что еще Бог дает ему встретить еще одного Государя в Киеве. Это самый старый и самый почтенный из киевских борцов за русское дело с полонизмом и украинофильством, был когда-то помощником попечителя в университете.

И в Немирове и в Киеве, конечно, многие польские графы и князья будут всеми силами стараться обратить в свою пользу присутствие Вашего Величества и прием у двора. Дай Бог, чтобы все, кому ведать надлежит, умели различить достоинство от хитрого происка.

Константин Победоносцев
Петербург, 6 августа 1885

Вернувшись из заграничной поездки 24 сентября и вступив в должность, долгом почитаю довести о сем Вашему Императорскому Величеству.

Приятно было отдыхать в Зальцбурге, но мир наш был возмущен вестью о безумной и возмутительной фантазии князя болгарского. Нетрудно было догадываться, что за спиною его тайно действуют силы, враждебные России. К несчастью, мы окружены врагами тайными и явными, и всякая комбинация событий, предосудительная или вредная для России, повсюду встречается с радостью и находит усердных поджигателей и пособников. Боже нас избави от нового пролития русской крови за такое дело, за которое, в конце концов, мы сами должны будем платить; а в этом болгарском движении ничего до сих пор не видно, кроме интриги с ловушкой, расставленною русскому благодущию. Пронеси, Боже, эту темную тучу!

По приезде сюда сразу встретило нас горе, и мы переживаем самые тяжкие ощущения

при виде страдальцы баронессы Раден, которая так плачевно доканчивает жизнь свою. Трудно представить себе, до чего она жалка и как она страдает. В несколько дней болезнь ее приняла ужасающие размеры. Все тело ее покрыто опухолями, — она уже едва движется, и трудно разобрать, что говорит она, но смотрит таким болезненным взглядом, который невозможно видеть без слез. К ней уже никого почти не пускают; надежды нет никакой, и только одного желать надобно, — чтобы скорее кончились ее страдания. Кто знал ее высокую душу и высокие качества ума ее и сердца, в совершенстве развитые, на того ужас нападает при мысли, до какого жалкого состояния может дойти человеческое существо, создание Божие, так богато одаренное. Без сомнения, Государыня Императрица глубоко пожалеет об этой потере, ибо некем заменить ее, — она была одна такая. Для меня и для жены моей — это великая потеря: мы имели в ней друга единственного, верную и твердую душу. Но ее кончина будет великою утратой для всего петербургского общества, даже для тех, кто не будет ее оплакивать. В ней была нравственная сила, которая многих сдерживала и на многих действовала бессознательно. Все ее знали и все были равнодушны к тому, что думает и как судит баронесса Раден, — для многих она была живою совестью. В маленькие тесные комнаты, где жила она, кто ни приезжал к ней с утра до вечера, за советом, за одобрением, с горем, с радостью, с сомнением; многие люди с нечистой совестью боялись ее и все-таки искали ее. Она хранила в себе лучшие предания минувшего поколения, и кто подходил к ней, тот старался быть приличным и умственно, и нравственно. И она — последняя в этом роде! Видеть теперь ее разрушение невыразимо больно.

Будем ждать теперь благополучного возвращения Вашего Величества. Пошли Вам Боже благополучное плавание и полное ощущение мира при возвращении Вашем.

Вашего Императорского Величества вернопреданный

Константин Победоносцев

Петербург, 26 сентября 1885

36

Слава Богу, что дождались благополучного возвращения Вашего Императорского Величества. Дай Бог, чтобы все были в добром здравьи и чтобы пребывание Ваше в Гатчине началось и продолжалось мирно и счастливо.

По уговору с Даниловичем, я предполагаю приехать завтра к ночи в Гатчину, чтобы поспеть в пятницу рано поутру к в. князю цесаревичу. В пятницу же, около 2 часов, попрошу позволения представиться Вашему Величеству.

Между тем, вот сегодня ночью Бог прекратил страдание Эдиты Раден. Она скончалась, и скорбь об утрате ее глубоко отзовется не только здесь, но и между всеми знавшими ее в целой России. Умирая, она молилась за Вас и за Императрицу, — немного не дождалась она приезда Ее Величества. Бедная много мучилась и умирала, можно сказать, каждый день в течение целой недели, но до конца сохранила взгляд и мысль, хотя не могла уже говорить. Заранее написала она в нескольких строках к Императрице последнее прощание и последнюю просьбу. Письмо ее вместе с сим отправляю.

Она родилась и умерла в лютеранском имени, но в душе любила православие и православную церковь и понимала ее. Самые близкие друзья ее были не немцы, а православные, горячо преданные своей церкви, например, Самарин. Близкое общение по духу с лучшими людьми в России и со многими духовными помогло ей понять дух нашей церкви, и она была чужда того узкого, горделивого фанатизма, который так часто встречается у немцев. Она любила наше богослужение и горячо молилась в нашей церкви, крестясь большим русским крестом; а в заведениях, куда ездила, подавала православным пример уважения к нашей церкви и к ее обрядам. Особливо в последние годы, с упадком сил и здоровья, она более чувствовала духовную скудость лютеранского обряда и чаще прибегала к утешению, доставляемому нашим. В прошлом году, после операции, мать Мария из Костромы (которая близка была к ней) прислала ей икону Божией Матери, и больная

поставила ее перед собой с утешением. Тогда она могла еще располагать собою, но теперь, на своем смертном одре, она была уже бессильна. Вокруг нее собрались родные, строгие лютеране, и к ней являлся сухой, узкий, суровый (как почти все они) пастор Гессе; он, конечно, позаботился, чтоб иконы стояли в другой комнате, и проходил мимо с презрением и с подозрительным взглядом. Но взгляд больной говорил русским ее друзьям, что ей мало этого и что душа ее просит иного, живого утешения. Как она была довольна, когда по ночам сестра милосердия читала ей русские молитвы, акафист Иисусу и пр. Как она радовалась, когда входила к ней на несколько минут мать Мария (приехавшая для того из Костромы) и осеняла ее большим русским крестом... Перед кончиною она указала мне и сестре свой портфель, где сложила последние свои распоряжения и в том числе письмо к Императрице. Тут мы нашли всего два-три листочка, но примечательно, что в числе их лежало переписанное ее рукою известное стихотворение Ф. И. Тютчева о лютеранстве:

«Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой;
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Но видите ль, собравшись в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит.
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит.

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь богу —
В последний раз вы молитесь теперь!»

И вот мы ее оплакиваем и скорбим еще, что будем хоронить ее не по-нашему. А сколько бедных будут ее оплакивать, — она делала много добра для бедных.

Константин Победоносцев
Петербург, 9 октября 1885

Получив сейчас приказание от Вашего Величества, я немедленно сообщу его Манассеину.

Слух об отставке Набокова, действительно, распространился, хотя я никому ни одного слова не говорил о чем-либо подобном. Впрочем, слухи этого рода повторяются беспрестанно, — и в прошлом году осенью, после поездки Набокова по России, в обществе ожидали того же. На этот раз слух особенно усилился и получил значение с прошлой среды. Всем стало известно, что Ваше Величество не приняли Набокова и потребовали к себе доклад с бумагами. В министерстве юстиции произошло смущение, и пошли разговоры по всему городу, с именами по крайней мере 6-ти кандидатов. Вчера вечером приезжал ко мне Набоков и спрашивал настойчиво, не знаю ли я чего-либо определенного, в виду распространившихся слухов. Я сказал ему, что ничего решительно не знаю, что быв в Гатчине в пятницу, не имел случая видеть Ваше Величество. Одно мне известно, — сказал я Набокову, — что Государь, особливо после дела Миронович, очень недоволен судебным ведомством и удивляется, — что выражал и прежде, — нерешительности твоих действий. Набоков был смущен и стал уверять, что его обвиняют напрасно, что он постоянно заботился об исправлении положения, успел уже значительно исправить его и готовит ряд мер по обдуманному плану. Конечно, — говорил он, — если Государь находит мои действия

недостаточно энергетичными, я готов сложить бремя управления, но мне было бы больно думать и чувствовать, что за мною не признается никакой заслуги в том, что я до сих пор делал и старался делать.

Сегодня появились телеграммы о вступлении сербских войск в Болгарию и об объявлении войны. Последние известия с Востока крайне смущают общее мнение, — все в некоторой тревоге и неизвестности. Все чувствуют, что события на Востоке не только обращаются против нас, но и направлены против России; у всех есть мысль, что под покровом и под предлогом союза трех императоров скрываются задние мысли и тайные цели, направленные против России и русской политики на Востоке. Недоумевают и спрашивают себя: есть ли у нас ясный и определенный план действия в виду непредвидимых и случайных событий на Востоке и в виду выяснившегося перед всеми ревностного участия Англии в интриге, против нас направленной?

Мне приходит на мысль: не полезно ли было бы в настоящих обстоятельствах пригласить к совещаниям, происходящим у Вашего Величества, графа Н. М. Игнатьева? Он знает близко и по личному обхождению всех главных деятелей в нынешней восточной драме, знает их прошлое и нынешние их отношения и мог бы, кажется, сообщить сведения и дать указания, полезные для русской политики в настоящем кризисе.

Константин Победоносцев

Петербург, 3 ноября 1885

38

Позволяю себе обратиться к Вашему Императорскому Величеству с тремя усердными ходатайствами о покровительстве и пособии трем добрым делам:

1. В Троице-Сергиевой лавре есть молодой достойный иеромонах Никон, из ученых, хилого здоровья, умный, усердный и отличной жизни. Он задумал посвятить себя добродетели — выбирать из знакомой ему старой и новой духовной литературы статьи, просто и тепло написанные, понятным для народа языком... и издавать их отдельными листками для раздачи народу, приходящему в лавру. Он обнаружил вкус и искусство в выборе, и издание, начавшееся с 1880 года, имело и имеет успех замечательный и приобрело, под названием троицких листков, популярность во всей России. Их разошлось уже свыше 10 миллионов, и многие из самых отдаленных мест выписывают их сотнями для раздачи. При этом, конечно, нет никакого расчета на прибыль, — единственный расчет — на поддержание издания, что возможно лишь с помощью благотворителей.

В прошлом году тот же Никон предпринял, в пользу тех же троицких листков, написать общедоступное житие препод. Сергия и издать его в роскошном виде, со всем старанием. Книга эта Только что появилась в свет, прекрасно напечатанная, с картинками и виньетками, изображающими церкви и древности Троицкой лавры.

Иеромонах Никон просит меня поднести эту книгу и троицкие листки Вашему Императорскому Величеству. Почитаю то и другое достойным Вашего внимания.

Если бы притом Ваше Величество сооблаговолили пожаловать некоторую сумму (например, 500 р.) в пособие на это дело, то есть на издание троицких листков для народа, это ободрило бы труженика и привлекло бы к его делу внимание и покровительство духовных властей.

2. По примеру владимирского Александро-Невского братства, здесь, в Петербурге, возникло с прошлого года братство пресв. Богородицы с целью попечения о сельских школах и вообще о духовном просвещении народа в здешней епархии (к которой принадлежит и Финляндия). Нужда в этом большая, — много бедного населения, много и нищеты и невежества и пьянства (особливо в Шлиссельбургском и в Новолadoжском уезде, по водяным путям сообщения). Люди принялись за дело усердно. Завязали живые сношения с приходами, оказались священники молодые, ретивые, но без всяких средств и без

нравственной поддержки в усилиях действовать на народ посредством школы. Дело это обещает много пользы и уже приносит ее, — уже успели отыскать и поддержать несколько хороших деятелей. Братство заботится также о распространении церковного пения в народе, издает книги и ноты. От времени до времени собираются общим собранием у меня в зале, читаются отчеты о школах, и очень хороший братский хор поет новые переложения старых церковных напевов. Учреждение это достойно внимания Вашего Величества, но нужд и требований отовсюду имеется много, а средства скудные. В прошлом заседании несколько членов разобрали несколько бедных школ под свое попечительство. А случаев, требующих помощи, много. Так, например, недавно отыскал около Новой Ладogi молодого священника, очень усердного, но совсем изнемогающего. Приход у него 200 душ — бедняки и много кабаков. Доходов никаких; жалованья 160 руб. в год — и все тут. Дома нет, живет в развалившейся избышке и тут же собирает детей для ученья. Теперь, с помощью одного здешнего купца, поддерживающего тамошнюю церковь, собираемся строить дом для священника и для школы вместе, на что отделил я из пожертвованной Кенигом суммы 1000 руб.

Не благоволите ли, Ваше Величество, в ободрение и в пособие братству пожаловать некоторую сумму, напр., 1000 руб.?

3. Прошу прощения, что уже много написал. Но вот и третья просьба: Заботился немало о церковноприходских школах во всей России. Это дело важное и, Бог даст, мало-помалу разрастется и даст плод; только спешить не надобно.

В систему этого дела входит учреждение при каждой духовной семинарии образцовой церковноприходской 2-классной школы, так, чтобы она служила и примером для всех прочих и вместе живым образцом для учеников семинарии, готовящихся к той же деятельности. В некоторых епархиях (напр., владимирской, рязанской, казанской, таврической и пр.) школы эти открылись уже и действуют. Первая школа этого рода открылась в Рязани при тамошней семинарии, одной из самых многочисленных (с лишком 600 воспитанников), из лучших у нас. Благодаря усердию и умению ректора и учителя школа эта стала так хороша, что может быть названа действительно образцовой, и охотников учиться так много, что всех принять невозможно. Все это содержится, конечно, на самые скромные средства.

Просят меня отсюда усердно прислать для школы портреты Вашего Величества и Государыни Императрицы. Мог бы я от себя послать, но приходит на мысль, что присылка портретов от имени Вашего Величества была бы знаком внимания к первому в этом роде учреждению, притом имеющему несомненный успех.

Если благоугодно будет, для этого достаточно было бы 50 рублей.

Константин Победоносцев

Петербург, 6 ноября 1885

Долгом почитаю доложить Вашему Императорскому Величеству о следующих обстоятельствах: Сегодня пришел ко мне молодой серб Стефанович, служивший прежде в конной гвардии, а ныне состоящий в запасе и проживающий здесь. Я знал его года четыре тому назад, когда он приезжал ко мне от митрополита Михаила.

Нынешнее состояние Сербии заставляет предполагать возможность переворота, и видно там что-то готовится. Вчера, говорят, выехал отсюда Хорватович, внезапно вызванный своею партией, враждебной Милану. По словам Стефановича, легко может случиться, что Хорватович в случае переворота станет во главе правительства. Глядя по обстоятельствам, и некоторые сербы того же согласия ждут только знака, чтобы ехать туда же, в том числе и этот Стефанович.

В этих планах имеется, по-видимому, расчет на митрополита Михаила. Что он будет делать в настоящую минуту, — не знаю; он находится теперь в Москве. Он горячий патриот

и человек способный к увлечениям. Не сомневаюсь, что в известную минуту появление его в Сербии может иметь большое значение для дел; но в подобных обстоятельствах очень важно не ошибиться в выборе минуты. По всей вероятности, митрополит Михаил подвергается теперь возбуждениям с разных сторон в Москве, и мне кажется, не следовало бы оставлять его без руководства, в связи с общим направлением политики. Видя, по словам Стефановича, что у них там кипит, и взрыв может последовать внезапно, я решился телеграфировать Михаилу, прося его приехать сюда. Он и сам собирался давно приехать в Петербург, и у нас по внутреннему управлению есть дела, кои могут служить поводом к его вызову для личных объяснений; но в настоящую минуту желательно еще знать его настроение и виды. Думаю, что он приедет завтра же. Сейчас поеду предупредить о сем Гирса, а между тем долгом почитаю доложить Вашему Величеству.

Константин Победоносцев

Петербург, 16 ноября 1885

40

Ваше Императорское Величество изволили обратить внимание на помещенную в газете «Новое Время» корреспонденцию из Кронштадта о необходимости назначить туда священника для проживающих в Кронштадте эстов и латышей, и изволите спрашивать: что предполагается сделать по этому поводу.

Дело это известно мне с начала нынешнего года. Оно поднялось с того, что в Кронштадт приехал из Эстляндии один из лучших тамошних священников, благочинный Тизик, отправлял требы для православных эстонцев и служил для них обедню по-эстонски. Это произвело возбуждение в эстонском населении Кронштадта, и возникло ходатайство об образовании там постоянного прихода и о назначении священника. Невозможно было вскоре же устроить это дело, — самый существенный вопрос представлялся о содержании священнику, а потом предстояло сыскать его. Место для богослужения во всяком случае отыскалось бы в одной из церквей.

В синоде заведена по этому предмету переписка с митрополитом, от которого получен в ноябре отзыв о размере содержания причту. Теперь предстоит изыскать источник, откуда взять деньги, и приискать священника, знающего язык. Вместе с тем я командирую одного из чиновников в Кронштадт собрать на месте необходимые сведения.

Но подобная же нужда обнаружилась и здесь, в Петербурге, для здешних эстов и латышей. Об удовлетворении ее тоже заботимся; но здесь труднее приискать церковь для богослужения. Церквей в Петербурге вообще слишком мало для православного населения, — народ едва помещается, и в каждой из них служатся ежедневно и ранние, и поздние обедни, между коими нелегко найти время еще для третьей литургии. Однако надеемся, что и это мало-помалу устроится.

Константин Победоносцев

Гатчина, 12 декабря 1885

1886 ГОД

41

По особливому интересу, который имеют для меня дела на острове Сахалине, позволяю себе обратить внимание Вашего Императорского Величества на генерал-майора Гинце, начальника о-ва Сахалина, который будет представляться Вам завтра, 3 мая².

² Так в подлиннике.

Я виделся с ним, и он произвел на меня весьма благоприятное впечатление, как человек серьезный, разумный, практический и преданный, с живым интересом [к] делу, которое на него возложено. Собранные мною сведения подтверждают это впечатление.

Сам он родом финляндец; служил до последнего назначения в войсках Приамурской области. Найдя на Сахалине природу, подходящую к финляндской, и имея способность хозяйственную, он взялся за дело практически. Злоупотребления администрации были на Сахалине значительные. Он постарался вывести их и водворить порядок, уничтожил по возможности пьянство и тайную торговлю вином (которою занимались начальники управления!) и приложил всю свою заботу к возбуждению местных промыслов и разработке естественных богатств острова. Так, например, он завел там гончарное производство и стал сбывать изделия во Владивосток; принялся за устройство дорог; стал вываривать собственную соль (до тех пор ее привозили на Сахалин), а без соли пропадают даром несметные богатства своей рыбы; так что дома берега кишат рыбою, а для потребления приходится выписывать ее; назначил премию за изыскание на острове известки (ее тоже привозят, а без нее строить нельзя). Теперь он употребляет все усилия, чтобы выпросить себе пароход, ибо без парохода немисливо сообщение по берегу из Дуэ с другими местностями управления, и местная администрация без парохода — как без рук.

Теперь его вызвало с Сахалина печальное обстоятельство. Он устроился там с семьей, но жена его не вынесла климата и поражена была параличом, так что он вынужден был привезти ее в Одессу и оставить там с семьею. Теперь ему предстоит ехать на Сахалин одному, без семьи, и это обстоятельство, тяжкое для семьянина, приводит его, по-видимому, в раздумье.

Между тем, желательно во всех отношениях, чтобы дело, им начатое, продолжал он же. Полагаю, что в этом много будет зависеть от милостивого внимания Вашего Величества к нему и к тому делу, на которое он призван; и вот почему беспокою Ваше Величество этим писанием.

Константин Победоносцев
2 января 1886

Только что узнал я, что Н. Х. Бунге представил Вашему Императорскому Величеству свою печатную записку с возражениями на записку г. Смирнова о финансовой политике. Это обязывает меня изложить пред Вашим Величеством историю о той и другой записке, в чем дело до меня касается, дабы предотвратить возможные недоразумения.

Положение наших финансов занимает в последнее время не одних только государственных людей, но, можно сказать, всех русских людей. Все чувствуют и видят, что дело стоит плохо и угрожает опасность; все сознают, — одни смутно, другие явственно, — ошибки нашей финансовой политики, продолжающиеся вот уже около 30 лет; все стараются искать выхода из нынешних затруднений. В этом ощущении сходятся все сословия — и государственные люди, и дворянство, и коммерческий люд, и крестьянство.

Немудрено, что в последнее время, едва не каждую неделю, появляется новая записка с разбором существующей системы и с предложением, как помочь горю. Записки эти печатаются свободно и распространяются и рассылаются высокопоставленным лицам.

Итак, ничего нет удивительного, ничего, думаю, нет и предосудительного в том, что товарищ обер-прокурора Смирнов принялся писать такую записку. Он мог считать себя человеком сведущим, потому что в прежней своей деятельности занимался исключительно финансовыми вопросами, и даже в 60-х годах совокупно с Н. Х. Бунге писал постоянно передовые статьи в тогдашнем экономическом журнале.

Написав эту записку, он читал ее мне, читал М. Н. Островскому, показывал графу Д. Л. Толстому. И я, и Островский в сущности согласны были с основными идеями записки и только советовали ему сгладить некоторые резкие выражения, что он и сделал. В этом виде

записка содержала в себе критику системы, продолжающейся не при нынешнем только министре финансов, но и при его предместниках, следовательно, едва ли могла быть истолкована в виде личного обвинения. Во всяком случае, предмет, к которому она относилась, — предмет великой важности для государства.

Главная цель Смирнова была представить свою записку Вашему Величеству, и он думал поднести ее через мое посредство. Но я решительно от того уклонился. Я хотел избежать всякого нарекания со стороны министра финансов; и кроме того, хотя по здравому смыслу я всегда, с 60-х еще годов, был противником господствующей у нас финансовой системы, но, не принадлежа к числу специалистов этого дела, не мог иметь в нем настолько определенного мнения, чтобы решиться нести свой взгляд и, стало быть, отстаивать его перед Вашим Величеством. По частным вопросам я считал своим долгом выражать свое мнение определенно в Государственном Совете, вопреки проектам министерства финансов (напр., по делам о соли, о пошлинах с наследства, о гербовом сборе, о питейных правилах, об учреждении податных инспекторов), но оставался в меньшинстве или вынужден был выслушивать иронические опровержения. Итак, во всех случаях, когда очень многие лица просили меня представить финансовые их записки Вашему Величеству, я всегда от того уклонялся.

Таким образом, записка г. Смирнова оставалась не более как личным изложением его взгляда на финансы и на средство исправить их, предназначенным для распространения в самом тесном кругу лиц, близко стоящих к делу. Она была напечатана в числе 40 экземпляров и сообщена прежде всего самому министру финансов, Абазе, Сельскому и затем некоторым министрам и членам Государственного Совета. Она была без имени и подписи, но всем было известно, кто ее автор. По прочтении ее и министр финансов, и Абаза говорили мне об ней с некоторым пренебрежением, но ни тот, ни другой не заявляли мне никакой претензии на то, что ее писал товарищ обер-прокурора. И, казалось, претендовать было не на что. Другие же лица заявляли свое согласие с мыслями, выраженными в записке.

После этого немало удивило меня, когда на днях получил я от Н. Х. Бунге записку, им напечатанную и разосланную ко всем министрам и членам Государственного Совета, в коей он принял на себя труд опровергать мысли Смирнова, называя уже его по имени. Еще более удивился я, увидев в конце записки, на последних строках, обвинение, косвенно направленное и на меня. Прежде печаталось немало записок и гораздо более резких опровержений финансовой нашей политики, но ни на одну из сих записок Н. Х. Бунге не считал нужным писать опровержения.

Подивившись этому, я, впрочем, нисколько этим не был смущен, и вскоре оставил это совсем без внимания, не выдавшись ни с кем в эти дни и не имев случая говорить о записке Бунге. Но сегодня только узнал от Островского, что Н. Х. Бунге представил свою записку Вашему Величеству: стало быть, придает и ей, и записке Смирнова особое значение. Это и вынудило меня утруждать Ваше Величество настоящим моим писанием.

Очевидно, министру финансов представилось или, — что вероятнее, — ему внушили со стороны, что записка Смирнова была, так сказать, пущена мною, дабы поколебать кредит его; конечно, ему было рассказано, что эту записку я представил Вашему Величеству, и он поспешил отразить ее. В таком случае внушено ему совершенно напрасное опасение. Вашему Величеству известно, что я не брал на себя представление Вам записки, да и вообще ни разу, кажется, не касался в своих объяснениях перед Вами финансовых вопросов.

Простите, Ваше Величество, это длинное писание, но для меня существенно важно, чтобы в мысли Вашей не оставалось недоразумения относительно участия моего в сем деле.

Константин Победоносцев
25 января 1886

тех условиях жизни, кои существуют в Томске, возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и настаивать на учреждении в Томске университета, что уже решено в д-те экономии государственного сената, с назначением денег, на первый раз около 70 т. р., из государственного казначейства.

Мысль об учреждении университета в Сибири (возникшую в период совершенного оскудения и падения наших университетов) я с самого начала называл несчастною и фальшивою; но сначала не хотели меня и слушать, а потом хотя и соглашались со мною, но возражали: «Что же делать? Правительство зашло уже слишком далеко; им обещано; приняты значительные пожертвования на сумму до 900 т. р.; построен большой дом; все готово; нельзя идти назад».

Но мне кажется, когда очевидна опасность, никогда не поздно возвратиться назад или, по крайней мере, остановиться, к чему и предлог есть — крайне затруднительное положение госуд. казначейства.

Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, особливо юристов! (а в Сибири предполагается открыть именно юридический факультет). Очевидно, туда поедут, увлекаясь высокими окладами, лишь очень молодые и слабосильные люди. Захотят наполнить университет и на первых порах вынуждены будут принимать и в студенты кого попало, а затем станут просить от казны денег на стипендии. Общество томское состоит из всякого сброда; можно себе представить, как оно воздействует на университет, и как университет на нем отразится.

Граф Игнатьев писал мне от 8 октября о своем проезде через Томск: «осмотрели пресловутый сибирский университет. Здание чрезмерно-роскошное; не знаю, наполнится ли оно и кем? и что из всего этого выйдет?»

Константин Победоносцев
26 января 1886

44

Простите, Ваше Величество, что часто Вас беспокою; может показаться, что берусь за дела, до меня не принадлежащие; но что же делать, когда люди ко мне обращаются? Почти всем я отвечаю: не мое дело, но иногда приходится остановиться ради правды или ради жалости.

Сегодня была у меня и сидела долго герцогиня де Феррари. История, которую она о себе рассказывает, похожа на сказку самого невероятного содержания, но когда ее спрашиваешь: что все это значит? она клянется, что сама ничего не понимает с тех пор, как ее, ни в чем не повинную 17-летнюю девушку, вывезли из России. Затем с отца ее берут подписку, что он отрекается от дочери, содержат ее на счет двора, следят за нею, переписываются об ней через министра двора и через дипломатов, представляют к ней чиновника, присланного из России, наконец, принимают участие в переговорах о ее браке — все это похоже на какие-то похождения княжны Тарakanовой из XVIII столетия. Ничего не понимаю тут, — и она уверяет, что ничего не понимает.

Передаю личное свое впечатление. Эта женщина совсем не похожа на авантюристку. Так, ее взгляд, манера говорить совсем искренние и совсем русские, и мне она внушает доверие. Ей 46 лет от роду.

Ваше представление о цели приезда ее сюда совсем расходится с тем, что я узнал от нее, и вот почему я решаюсь после того, что слышал от Вашего Величества на пути из Гатчины, еще писать об ней. Вы изволите предполагать, что она приехала сюда с какою-то претензией на деньги, в связи с спекуляцией какого-то иностранца *chevalier du Lys*. Она, напротив того, ищет очистить себя от всякой солидарности с этою спекуляцией, которая ее возмущает, и очистить себя и имя своего мужа от всякого подобного подозрения. Муж ее послал ее сюда единственно с этой целью. Он считается самым богатым владельцем в Италии, располагая капиталом до 50 милл. франков, и она не имеет претензии ни на какие

деньги. «Я в душе русская, говорит она, всем обязана государям Николаю I, Александру II, и мне счастье было бы видеть государя и императрицу и убедиться, что они не считают меня бесчестною и участницею какой-то гнусной спекуляции. Не знаю, что со мною будет, если я вернусь к мужу и не привезу с собой этого сознания. Я люблю его, и он меня любит, но у него вся кровь закипела, когда он услышал, что мое имя ставится в связи с этой гнусною проделкой. Вот вся, и единственная, цель моя. Я так несчастна, так несчастна, что на мне остается по-прежнему подозрение, в коем я неповинна»!

Представляю при сем записку, принесенную мне герцогиней де Феррари. Она принесла мне еще письмо на имя Вашего Величества. Все это представляю на благоусмотрение Ваше; мне казалось, что дело это не недостойно Вашего внимания, и если ошибаюсь, то прошу не причесть к вине моей причиняемое этим беспокойство.

Константин Победоносцев

Петербург, 16 марта 1886

45

Долгом почитаю представить Вашему

Императорскому Величеству только что выпущенную в свет тетрадь «Деяний епископов, собиравшихся в Казани» в прошлом году

Все эти акты тщательно изготавлялись и потом рассматривались в синоде. В числе их есть воззвание к паствам и другое, особое, воззвание к старообрядцам. Постановление собрания относится к предметам величайшей важности для епархий, в коих изобилует раскольничье и инородческое население.

Акты эти составляют поистине событие в русской церкви и, без сомнения, возбуждают всеобщий в народе интерес и произведут благотворное впечатление.

Одновременно выпущено от синода изъяснение о предмете, составляющем главный пункт пререканий о клятвах, наложенных московскими соборами XVII столетия на старые обряды. Клятвы эти утратили уже всякое значение со времени учреждения единоверия; тем не менее упорные учителя раскола дальше проповедуют, что русская церковь держит их под клятвою, и для снятия ее требуют созвания собора с вселенскими патриархами. Настоящее изъяснение составлено со всею необходимою в подобных случаях осмотрительностью и проверялось в каждой фразе со всех сторон в течение целого года.

Все эти вопросы, которые могут казаться мелкими и неважными с точки зрения интеллигенции, отступившей от народного быта, но они имеют величайшее значение для народа. Трудно себе представить, до какой степени, как живо и как глубоко народ интересуется этими вопросами: вся духовная жизнь народа — в церкви, и вопросы истины в церкви — для него вопросы жизни и смерти.

На днях еще, и именно в Петербурге, было живое тому свидетельство. Сюда приехал на короткое время из Оренбурга пензенский единоверческий священник Крючков, самый сильный из наших миссионеров. Происходя из крестьян, бывший раскольник, он овладел в совершенстве и знанием писания, и старых книг, и всеми приемами особой диалектики в спорах с раскольниками. Он очень умен и искусен, — говорит мастерски, просто, образно, ясно, приковывая к себе внимание, и действует неотразимо на всех, кто его слышит. В Уральском войске он произвел в прошлом году полнейшее потрясение у раскольников. Как раз в это же время появился в Петербурге знаменитейший из раскольных начетников Швецов, самый хитрый и ловкий агитатор, постоянно переезжающий между Москвою и Буковиной — тоже умная голова, но совсем иного типа, — тип иезуита-фанатика, мастер сбивать с пути и с толку всякого, кто с ним состязается. Очень важно было воспользоваться этим случаем, чтобы спустить Крючкова со Швецовым: не было сомнения, что Крючков одержит победу над Швецовым в виду всего народа, — и это было очень важно. И вот на прошлой неделе устроены были 4 беседы в зале духовной академии, чтобы тамошние студенты могли быть свидетелями. Эти беседы остались, конечно, неизвестны

официальному миру в Петербурге, но что происходило в народе, — трудно и описать. Без всяких объявлений, по одной вести из уст в уста, собирались в академию громадные толпы народа, — и православных, и раскольников. Едва третья часть могла поместиться в большой зале, и притом так, что человек прижимался к человеку в невообразимой атмосфере; остальные стояли в коридорах и на дворе. Собрание благословил архиерей, и порядок был полный, но можно себе представить, каков интерес народа к этому делу, когда люди забирались в залу, чтобы занять места, в 1 час пополудни, ждали до 4 часов открытия и потом стояли, обливаясь потом, вслушиваясь в каждое слово, не евши, не пивши, до 10 часов вечера. И правда, было что слушать, потому что искусство было с обеих сторон, а у Крюčkова речь живая, народная, умная. Противник его потерпел полное поражение во всех своих аргументах в виду раскольников, которые принуждены были негодовать против своего же оратора, и к полному восторгу православных, которые в этом споре научились сами, что им отвечать раскольникам в самых основных понятиях о церкви, об иерархии, об обрядах. К довершению эффекта, один из присутствовавших, раскольник-механик, бывший тут проездом на Кавказ, убежденный этим спором, присоединился к церкви. Вчера совершилось это присоединение в академической церкви при большом стечении народа, и сегодня Крючков уехал в Оренбург, где уже давно ждут его. Теперь по всей России, несомненно, разносится весть о петербургском состязании, которое служит предметом толков повсюду, в лавках между купцами и рабочими, в трактирах и в конных вагонах.

Константин Победоносцев
Петербург, 1 апреля 1886

46

Покуда еще здесь, не перестаю утруждать Ваше Величество докладами своими и просьбами.

Не благоволите ли дозволить на днях представиться Вам некоторым архиереям? Причина тому следующая:

1. Вчера приехал сюда вновь назначенный в Ставрополь кавказский из Томска епископ Владимир. Это человек, достойный внимания, а как и нынешняя епархия, куда он едет, тоже очень трудная (по разнообразию инородцев и сектантов), то к ободрению его послужит внимание Вашего Величества.

Преосв. Владимир с 1865 года состоял главным начальником и деятелем Алтайской миссии, которая имеет первенствующее значение в ряду наших миссионерских учреждений. Основателем ее был знаменитый Макарий, человек замечательный по духу миссионерства и по духовному влиянию на своих сподвижников. С 1879 г. Владимир состоял епископом бийским, викарием томской епархии, а в 1883 г. назначен в Томск. Тяжкое служение с большими разъездами развило в нем каменную болезнь, и по этому только поводу состоялся перевод его из Сибири в Ставрополь, где ожидает его тоже миссионерская деятельность.

В Бийске, то есть в центре миссии, преемником ему поставлен Макарий, сибирский уроженец, тоже человек замечательный по духу миссионерства и по энергетической деятельности. Дай Бог, чтобы силы ему не изменили. Алтайская миссия имеет очень важное значение, как орудие русской культуры и цивилизации между дикими племенами, из-за которых до сих пор происходит глухая, невидимая для администрации, но сильная борьба между русским влиянием и монголо-китайскою и тибетскою пропагандой. Одни миссионеры только и ведут, при особых средствах, эту борьбу в глухой пустыне. На всякий случай представляю Вашему Величеству только [что] полученный последний отчет Алтайской миссии, прекрасно составленный преосв. Макарием. Конечно, времени нет у Вас читать его, но благоволите пробежать отмеченные мною места, начиная с 13 стр. На стр. 42 прекрасно описано цивилизующее значение миссионерства на Алтае. На 15-й стр. приводятся факты усиливающейся с каждым годом ламской пропаганды из Тибета, — факты очень важные, совершающиеся вдали от администрации и неприметные для нее (по этому случаю нельзя не

пожалеть, что Томская губ. слишком рано отделена от генерал-губернаторства). С этими пропагандистами приходится бороться одному лишь миссионеру его слабыми средствами. Упоминаемый тут Чевалков — лицо в своем роде замечательное, — природный алтаец, теперь уже глубокий старик, с детства еще обращенный и обученный покойным Макарием. Немало таких самородков вывели наши прежние миссионеры, и эти люди работают в холоде, голоде и нужде — а кто их знает?

Миссия, это — в сущности государственное учреждение и делает государственное дело. А существует она на средства сравнительно ничтожные, отпускаемые московским миссионерским обществом (состоящим под покровительством Государыни Императрицы), коего доходы тоже скудны, да на частные пожертвования щедрых русских людей. Вот в этом пункте, в Кашагаче, куда направлена теперь усиленная дамская пропаганда, в сущности политическая, давно следовало бы учредить постоянный миссионерский стол, — да средств нет. Я давно прошу их, по указаниям уже прошлогоднего отчета, у миссионерского общества, но у них нет свободных денег. В самом Бийске не было даже архиерейского дома. Преосв. Владимир построил его с большими усилиями при помощи купеческих жертв и некоторой помощи от синода, но на днях, под вознесенье, дом этот сгорел и епископ остался без крова. Постараюсь теперь поискать в Москве, не найдутся ли благотворители.

Итак, вот причины, по коим беспокою Ваше Величество: не благоугодно ли будет принять преосв. Владимира и дать знать мне, в какой день и час.

2. Другие два — преосв. Палладий казанский и преосв. Серафим самарский желали бы иметь счастье представиться Вашему Величеству с благодарностью за полученные на пасху награды орденами. Пресса. Палладий желал бы сверх того поднести Вашему Величеству деяние казанского собора, происходившего в прошедшем году под его разумным и заботливым председательством. Преосв. Палладий весьма любим в своей епархии.

Константин Победоносцев

Петербург, 6 июня 1886

Устроившись в Кисловодске, почитаю нелишним представить Вашему Императорскому Величеству некоторые известия о здешних делах.

В Ростове-на-Дону я пробыл день и познакомился с некоторыми представителями здешнего купечества. Я нашел в них людей разумных, опытных и вполне русских по настроению. Все они любят свой город и придают ему важное значение на юге России, все гордятся тем, что вся сила в нем русская, и что ни один из инородческих элементов — ни еврейский, ни армянский, ни немецкий — не может в нем пробиться в силу и занять господственное в делах положение. Город, широко раскинувшийся по нагорному берегу Дона, разросся изумительно. С 1869 года, когда я видел его в последний раз, — его не узнаешь. По наружному виду он один из самых благоустроенных. Широкие улицы, обсаженные акациями, всюду проведена вода, устроен прелестный, тенистый городской сад, заведено регулируемое благоустроенное кладбище, образцовое по порядку и чистоте, общественные учреждения очень интересные. Город заселялся и строился в прежнее время очень правильно, — люди приходили неведомо откуда, селились и строились тайком, никого не спрашиваясь (целая слобода носит по этому прозвание Нахаловки), и теперь систематически производится регулирование всех строений, улиц и закоулков. Собор прекрасный, с благолепным служением и прекрасным хором певчих.

Меня интересовал особенно вопрос о том, как относится население к мысли о присоединении города к войсковому управлению. Сознаюсь, что я относился к этой мысли с некоторым предубеждением, опасаясь путаницы в административных отношениях. Теперь я убедился, что этого давно желают местные жители; все заняты этою мыслью в настоящую минуту, и весть о близком разрешении вопроса встречена радостно как в Ростове, так и в Таганроге. Городское управление тяготеет крайними затруднениями в разрешении важных

для города хозяйственных и административных дел, связанном теперь двумя сложными канцелярскими узлами. По всем делам надобно относиться в дальний Екатеринослав и в Одессу к генерал-губернатору, у коего иногда останавливаются на месяцы и годы, погрязая в канцелярии, дела живого интереса для города. Всех этих затруднений надеются они избежать присоединением к одному Донскому административному центру.

Здесь, в Кисловодске, вижу ежедневно с П. С. Ванновским и с кн. Дондуковым. С последним немало разговоров о здешних делах, которые не представляют утешительного вида. Повторяется и здесь горький опыт, который приходится России выносить со всеми спасенными и благодетельствованными инородческими национальностями. Выходит, что грузины едва не молились на нас, когда грозила еще опасность от персов. Когда гроза стала проходить еще при Ермолове, уже появились признаки отчуждения. Потом, когда явился Шамиль, все опять притихло. Прошла и эта опасность — грузины снова стали безумствовать, по мере того, как мы с ними благодушествовали, баловали их и приучили к щедрым милостям на счет казны и казенных имуществ. Эта система ухода за инородцами и довела до нынешнего состояния. Всякая попытка привести их к порядку возбуждает нелепые страсти и претензии. Ужасное событие с ректором семинарии отозвалось в кругу инородцев не негодованием на зверя-убийцу, а злорадством. По всему видно, что на этом не остановятся. На похоронах ректора экзарх произнес горячее слово, в котором выразил всю скорбь и все негодование на совершенное злодеяние. Эта речь показалась обидною безумным сторонникам убийцы, — и вот кутаисский предводитель дворянства пишет экзарху глупое и дерзкое письмо, с прикрытою угрозою, советуя ему оставить Кавказ. Копию с этого письма и с ответа прилагаю при сем. Кн. Дондуков, справедливо возмущенный этим поступком представительного лица, пишет министру внутренних дел и просит о высылке Кипиани из края, чтобы дерзость эта не прошла безнаказанно и не ободрила других.

Едва успел я прочесть эти документы, как получил телеграмму с известием из Озургет о новой выходке 18-летнего негодного ученика тамошнего духовного училища, исключенного за дурное поведение. Он напал на смотрителя училища и избил его до крови палкою по голове... Все это — явления, доказывающие, что необходима в здешнем крае общая строгая система мер для водворения порядка и уважения к власти. К несчастью, у здешних инородцев укоренилось понятие о том, что нынешнее управление стесняет их, а напротив того, надеются они на опору и защиту прежнего управления.

Погода прекрасная. Воздух здесь чудный и вокруг зеленые живописные горы. Дай Бог, чтобы Ваше Величество успели воспользоваться теперь теплым летом и облегчением от забот!

Вашего Императорского Величества
вернопреданный

Конст. Победоносцев

Кисловодск, 20 июня 1886

Ваше Императорское Величество изволили выразить некоторое удивление, почему убийца ректора Чудецкого не приговорен военным судом к смертной казни, а к каторге. В объяснение этого суд приводит, что преступник не достиг еще полного совершеннолетия (хотя о подлинном его возрасте нет вполне достоверных данных).

Но самое прискорбное в этом деле, по мнению моему, то, что суд производил это дело в публичном заседании, и подробный отчет об нем, с изложением всех речей, напечатан во всех газетах. Зала заседания наполнилась публикою, состоявшею в значительном числе из учеников разных учебных заведений и из грузинского элемента. Масса публики обнаруживала явно свое сочувствие преступнику, так что председателю приходилось ее сдерживать. И в присутствии такой публики защитник употреблял обычные приемы защиты,

то есть, снимая вину с преступника, старался обвинять начальство, доказывая, между прочим, что начальство нарушает права ученика, когда отнимает у него запрещенную книгу.

К сожалению, кн. Дондуков не был в это время в Тифлисе; но и в отсутствие его председатель суда имел полное право закрыть заседание, как объяснил мне П. С. Ванновский. Он хотел при проезде через Тифлис обратить на это внимание. К несчастью, у нас теперь и судьи так деморализованы и бесхарактерны, что не решаются действовать от себя в подобных случаях. А таких случаев повсюду много, и Бог весть, сколько деморализации внесено уже по разным углам России в праздную, плохо образованную и легко увлекаемую публику публичными заседаниями судов в делах подобного рода. А притом, когда заседание было публичное, то все газеты наперебой печатают отчет об нем, с легкомысленными, а иногда и безумными комментариями. Увлечение публики в свою очередь действует на судей. Это большое зло, и поистине необходимо прекратить его, а в военных судах огульное применение публичности вдвойне еще соблазнительно. В мае месяце Манассеин внес в Государственный Совет представление об ограничении публичности в судах. Нелегко будет провести его, несмотря на относительную его умеренность. Примечательно, что мы в России теперь только с трудом добиваемся права, которое давным-давно написано в обще-германском уставе, т. е. предоставление самому суду права закрывать заседание. Но германское правительство внесло нынешней весной проект закона о дальнейшем ограничении публичности, а мы боимся сделать и первый шаг в этом направлении.

Экзарх, коего положение здесь очень затруднительно и тяжело в виду поднявшегося грузинского безумия, приезжал сюда и прожил здесь неделю, в частых совещаниях со мною и с кн. Дондуковым. Много говорили о том, как поправить дело с семинарией. К сожалению, сколько не будет положено забот на внутреннее исправление, — не прекратить возбуждения извне, которое питается ослаблением коренных пружин власти в крае. Нельзя приравнивать здешнее управление к прочим частям империи: здесь необходимо вооружить главного начальника большим полномочием власти, а при образовании нового здешнего учреждения забота была о том, как бы ограничить ее. О самых настоятельных распоряжениях надобно списываться отсюда с Петербургом (например, о высылке отсюда безумных и вредных агитаторов), причем предположения начальника нередко не утверждаются или ослабляются, а от этого власть его теряет значение и дается повод всяким слухам и сплетням о власти, и надежда на поддержку из столицы вредным элементам. Так ото всех я слышу, что затруднения для власти увеличились после прошлогоднего пребывания здесь бывшего наместника, ибо воображение грузин и армян воспламенялось от нелепой надежды найти в нем поддержку и защиту от нынешнего управления. Здесь я познакомился с почтенным человеком, Марковым, директором тифлисской гимназии, который держит многолюдное и разноплеменное заведение в отличном порядке с давнего времени. Он педагог неутомимый и разумный, но он сказывал мне, чего стоит ему держать заведение в последние годы, — благодаря решительности характера и физической силе. Он принужден держать у себя револьвер в кармане, и не раз успевал своей решительностью останавливать дерзкие приступы и преступные попытки. Ему угрожают убийством, равно как и попечителю округа Яновскому. Оба они, однако, изнурены и ждут не дождутся, когда выехать из здешнего края. Так рассуждают многие серьезнейшие из здешних деятелей.

Вслед за убийством ректора признано было нужным распустить немедленно семинарию, хотя настало уже время экзаменов. Это было необходимо и потому, что негодная часть воспитанников рассчитывала действовать на экзаменаторов террором для послабления экзаменов. Итак, экзамены отложены до половины августа. Нет сомнения, что и тут не обойдется без попыток запугивания наставников. Поэтому я признал нужным послать из Петербурга вице-директора канцелярии тайного советника Чистовича для присутствования на экзаменах. Затем придется значительно изменить состав корпорации и всех наставников из грузин, известных по участию в интригах и поджигательстве, перевести из Тифлиса во внутреннюю Россию.

Я позволяю себе и отсюда утруждать Ваше Величество своими письмами о здешнем крае, в той мысли, что иное сообщение будет, может быть, и не бесполезно. На прошлой неделе осматривал я вместе с кн. Дондуковым в 45 верстах отсюда очень интересную колонию меннонитов Темпельгов, или Орбелиановку. Это выходцы из Таврической губернии, поселившиеся здесь лет 18 тому назад на арендном праве близ Верблюжьей горы, на землях князя Орбелиани. Тут ничего не было, кроме голой степи, а теперь цветущее поселение из 40 дворов, с большими садами и виноградником. Они первые стали разводить тут виноград и теперь собирают до 500 ведер вина с десятины. Хозяйство их подлинно примечательно. Но всего приятнее то, что все они прекрасно говорят по-русски, это — редкость в немецких колониях. Для детей своих они устроили в степи прогимназию (которая помещается в домике, не отличающемся от всех прочих). Все преподаватели, из их же среды, приготовлены воспитанием в университетах, и преподавание всех предметов ведется на русском языке. Нас встретил у дома старшины оркестр духовой, из них же составленный, музыкою, и свой хор прекрасно пел по-русски: Боже царя храни. Эта колония оставляет самое приятное впечатление.

Кн. Дондуков выехал отсюда 10 числа и отправился на месяц в объезд по Терской и Кубанской области. Здесь я познакомился с начальн. Терской области ген. Юрковским, с ставропольским — Зиссерманом, и с черноморским — Никифораки. Всех их вообще хвалят. Напротив того, слышны дурные вести о карском губернаторе Томиче; конечно, я не упомянул бы об этих вестях и слухах, если бы с Томичем не случился на днях скандал, после которого едва ли можно ему оставаться. Пишут мне из Тифлиса: «Здесь все внимание поглощено дуэлью карского губернатора с инспектором карского училища из-за жены последнего. Инспектор дал губернатору пощечину на акте в женском училище, где жена инспектора — начальница».

Не взыщите. Ваше Величество, за длинное письмо. Молю Бога, да хранит Вас невредимо со всем Вашим домом.

Вашего Императорского Величества вернопреданный

Константин Победоносцев

Кисловодск, 17 июля 1886

Позволяю себе еще беспокоить Ваше Императорское Величество словом о сахарном деле.

Каждый день приносит мне новые свидетельства о том, какое волнение в умах возбуждено этим делом во всей России. Все ждут, чем оно разрешится, в виду происшедшего разногласия. Не ошибусь, если скажу, что победа большинства произведет тяжкое впечатление. Общее мнение таково, что нынешняя попытка нормировки есть не что иное, как искусный план, составленный в пользу спекуляции на сахар, искусно проведенный при двукратном обсуждении дела.

Я лично не имею сомнения в том, что это дело настроенное и есть последнее звено в ряду неоднократных попыток направить все законодательство о сахаре в пользу крупных заводчиков. Первая из этих попыток была на моей памяти, в 1872 году, расстроена Чевкиным в департ. экономии, куда эти дела прежде направлялись и в то время собраны были для разъяснения дела ценные исследования, которые теперь не были в виду комитета министров.

Дело это имеет в моих глазах еще и другое важное нравственное значение.

Если в комитете министров составилось такое большинство, это надо приписать исключительно тому решительному влиянию, которое приобрел Абаза и на министра финансов, и на Сельского, и на Островского, и на Рейтерна, и на других членов, не имеющих возможности вникнуть в дело, но уступающих господственному тону Абазы в речах его. Я знаю двух или трех, которые накануне заседания решительно протестовали против нормировки, а в заседании пошли за большинством.

Но Абаза в самом департаменте экономии, где он председательствует, господствует почти без возражений. Своих противников, возражающих ему, он подавляет так бесцеремонно, что это становится тяжело для многих, а для дел решительно вредно. По множеству дел, которые д-т экономии рассматривает в соединенном присутствии с д-том законов, председательствует тоже Абаза и с тем же деспотизмом проводит, что ему угодно. Некоторые члены Госуд. Совета так возмущены этим, что уклоняются от участия в прениях. Такое преобладание Абазы — особенно в важнейших финансовых мерах — отзывается очень вредно.

Если теперь он выйдет победителем из этого дела, влияние его, несомненно, усилится, и в этом не будет ничего хорошего для дел Государственного Совета, который и без того оскудел крепкими силами.

Простите, Ваше Величество, если эти строки покажутся Вам неуместным вмешательством. Но дело представляется мне важным. Финансы — такое больное место в нашем государственном управлении, и всякая ошибка в финансовой политике влечет за собой такие гибельные последствия, что невозможно оставаться в спокойном ожидании, что будет дальше.

Константин Победоносцев
Петербург, 2 ноября 1886

50

При множестве бумаг, поступающих на рассмотрение Вашего Величества, я лишь изредка позволяю себе представлять на воззрение Ваше сведения о важных и любопытных явлениях церковного быта, хотя их очень много.

Почитаю нелишним обратить внимание Вашего Величества на письмо архимандрита Соловецкого монастыря Мелетия, на днях полученное мною. Дело идет об учреждении очень важном для Мурманского, совершенно пустынного и забытого края, — о восстановлении древнего Печенежского монастыря св. Трифона (которого память и до сих пор чтится лопарями). Для этого дела, о котором давно стараются и просят местные жители, собрано до 30 000 руб. добровольных пожертвований. Но оно не двигалось, пока синод не решился отдать его на попечение Соловецкого монастыря. Слава Богу, летом положено ему начало, как описано в прилагаемом письме. Кроме этого донесения, я имею еще интересные сообщения о том же от нового нашего консула в Финмаркене, Островского, очень усердного и знающего край человека.

Достойно примечания то, что писано здесь о древней церкви Бориса и Глеба, на самой границе с Норвегией, в так назыв. Пазрецьком погосте лопарском, в углу, отрезанном и от Мурмана и от всей остальной России. Здесь, в совершенной глуши и пустынности, один достойный священник, о. Щеколдин, посреди нищеты и скудости всякого рода, один сеет и поддерживает первоначальную культуру и религиозное чувство в лопарском населении. Этот священник открывает теперь у себя приходскую школу, в чем стараемся помочь ему. Чтобы оценить энергию такого скромного деяния, надо сравнить его с норвежскими соседями. В 10 верстах от него, через границу, живет в прекрасном казенном доме пастор, получающий 3200 крон (около 1700 р.) и даровые разъезды, доктор, с жалованием в 2600 крон, и шесть школ, в коих учителя получают 24 кроны в неделю. Щеколдин получает 700 р. бумажками и псаломщик его — 300 рублей.

Константин Победоносцев
27 ноября 1886

51

Смею утруждать внимание Вашего Императорского Величества делом, имеющим первостепенную важность для России, особенно в нынешнее трудное время.

Это — постоянное, изо дня в день, беспримерное колебание нашего курса и нынешнее беспримерное его падение.

Покуда мы не освободимся от этого бедствия, мы бессильны и принуждены терпеть обесценивание всех производительных сил государства, подчиняясь какой-то таинственной силе, управляющей извне ценностью наших денег. И это крайне позорно для нас, потому что с нами только происходит. стыдно подумать, что в маленьких государствах, — в Сербии, в Румынии, — монетная единица держит свою нарицательную цену, а наш рубль падает в цене по мановению берлинской биржи, без всякой рациональной причины. стыдно подумать, что Австрия, имеющая самые жалкие и расстроенные финансы, дает нынче едва не один гульден за рубль Российской империи, коей финансовое положение неизмеримо прочнее и выше австрийского. В то же время процентные наши бумаги держатся в высокой цене. Но ценностью нашего рубля играет в свою пользу бессовестно какая-то внешняя сила, причиняя нам ежегодную потерю свыше полутора миллиона, так что за весь период времени колебания курса мы отдали иностранным банкирам даром свыше двух миллиардов рублей!

С этим положением невозможно примириться. В случае войны оно грозит нам страшными затруднениями. Мы попали в кабалу берлинской биржи, — и, кроме ее, все остальные пути нам закрыты. В Англии, во Франции капиталы ропщут, что мимо Берлина нельзя иметь прямого дела с нами.

Что за причина этого явления? Неужели нет нам средства прекратить зло и восстановить ценность наших денег непоколебимо?

Немудрено, что эти вопросы волнуют душу каждого патриота русского. В последние годы особенно я предлагал их многим. Признаюсь, что ответы наших государственных людей не удовлетворяли меня: они были основаны на отвлеченной книжной теории, которая казалась мне не имеющей смысла в применении к России. Из нее все-таки не мог я понять, какие могут быть действительные, рациональные, внутренние причины колебанию нашего курса.

Напротив того, люди, изучившие практическую сторону дела, опытные знатоки жизни и биржи, постоянно говорили мне, что все колебание нашего курса основано на иллюзии, на обмане, и есть не что иное, как ловкая эксплуатация нашей простоты заправилами берлинской биржи и состоящими в связи с ними нашими государственными банкирами, сначала Щиглицом, потом Заком и К°, что положить этому предел не только необходимо, но и весьма возможно, если только с нашей стороны будет понятно, что с нами играют, и кто и как играет с нами.

Объяснения этих людей казались мне совершенно ясны и понятны.

Я просил одного из них, очень умного и сведущего человека, написать покороче и пояснее записку об этом предмете и на днях получил ее.

Предмет этот — величайшей для нас важности. Вот почему я решаюсь не только представить эту записку Вашему Императорскому Величеству, но и всеподданнейше просить Вас лично прочесть ее. Вашему Величеству представляется много записок, и нет возможности читать их все, но эта заслуживает особого внимания. Написана она ясно, без лишних слов, и дает ясное, непосредственное понятие о предмете самого животрепещущего интереса.

Константин Победоносцев
Петербург, 3 декабря 1886

В дополнение к тому, что я имел честь докладывать Вашему Величеству в прошлую пятницу, долгом почитаю представить следующее.

После того я виделся еще раз с Поляковым и расспрашивал его. Речь его кратко заключается в следующем: «Владеть железными дорогами на Востоке, значит владеть фактически страной. Итак, для нас было бы великою силой, когда бы дороги в Турции,

Болгарии, Персии и т. п. могли быть в русских руках.

Железные дороги в Европейской Турции и в Болгарии, построенные турецким правительством, ныне состоят на 50 лет в владении австрийских капиталистов, на акционерном праве. Управляют ими люди, присланные из Австрии (одна дорога — от Рушука до Варны принадлежит английской компании, коею построена. Болгарское правительство намерено было выкупить ее, но не могло за недостатком средств, а происшедший переворот вовсе остановил это дело).

Мне стало случайным образом известно, что есть план перевести турецко-болгарские дороги в английские руки, при участии совокупном английского правительства с австрийским. План этот может быть приведен в исполнение втихомолку, путями коммерческими (так как всякая акция представляет ценность, подлежащую вольной продаже), — подобно тому, как Англия втихомолку сделалась владелицею всех акций Суэцкого канала.

Это будет новым злом для России. Напротив, русское правительство, когда бы решилось действовать подобным же образом, — то есть путем коммерческим, чрез посредство частных лиц и под прикрытием частного интереса, могло бы тоже втихомолку перевести эти дороги в русские руки.

Имея это в виду, я попробовал вступить в дело под видом своего частного интереса и вошел в сношение, конечно, приватное и секретное, с лицами, у коих в руках пружины дела. Как эти дела суть обычные в коммерческой сфере, то мое участие и не могло возбудить подозрения, тем более, что ныне и подозрения нет на подобные планы русского правительства. Вначале оно было, потом сменилось удивлением, как это русское правительство уклоняется от всех подобных предприятий в виду важного политического их интереса; а, наконец, уже и на мысль не приходит в сферах коммерческих о возможности подобных комбинаций.

Чтобы устранить всякое подозрение, я выставил вперед посредничество в этом деле голландской биржи. В Амстердаме предположено мною составить синдикат для ведения всего этого дела, так что оно получило бы вид исключительно частного интереса.

Итак, я считаю вполне возможным, не горячась и не спеша, обыкновенным коммерческим путем приобрести акции железных дорог турецкой постройки.

А затем, чрез некоторое время, с такою же осторожностью и втихомолку русское правительство могло бы перевести эти акции в свои руки.

Но для успеха в этом деле требуется совершенный секрет.

Вы спрашиваете, отчего я не желаю сделать его известным министерству иностранных дел. Оттого, что мы научены горьким опытом. Во-первых, министерство иностранных дел не может соблюсти секрет: дело огласится в канцеляриях, отразится в переписке, и тогда все пропало. Во-вторых, министерство наверное станет возражать по своему обычаю: все подобные планы ему неприятны. Во всех подобных случаях мы слышим от него один ответ: „у нас и без того заботы много, а это дело доставит нам новую. Иностранные державы узнают, станут возражать, — и что мы им ответим? Пойдет переписка. Нет, оставьте нас в покое“. Министерство во всех подобных случаях мешало устройству на иностранных рынках тех важных для политики коммерческих предприятий, которые сами иностранцы, напротив того, совершают на нашем рынке свободно и беспрепятственно. Вот наша Домбровская дорога перешла уже вся в руки немцев и управляется теперь из Берлина, а мы не могли устроить нигде подобной операции.

Вот почему я не вижу в настоящем случае иного пути и способа, как обратиться к личному усмотрению Государя Императора. Если Его Величеству угодно будет признать этот план полезным для России и подлежащим к осуществлению, я с ревностью примусь устраивать дело для правительства и для пользы государственной, — и верьте мне, что я тут не имею в виду вовсе личного интереса. Если же Его Величество изволит признать почему-либо, что предприятие сего рода не входит ныне в виды правительства, я вовсе оставлю его и не стану хлопотать об нем».

Вот доселе шла речь Полякова. Конечно, всего легче было бы сказать ему, что дело это вовсе до меня не касается. Но мысль эта столь серьезная, что я счел долгом не уклониться от представления оной на воззрение Вашего Величества.

К тому еще почитаю нелишним добавить:

1. Мне известно, что несколько времени тому назад английская компания, владеющая Рушукско-Варнскою дорогою, предлагала одному из влиятельных и знающих лиц здесь, в Петербурге, продажу акций в русские руки. Но это лицо, обратившись в м-ство иностр. дел, встретило противодействие плану.

2. Известно мне, что князь Мингрельский, помышляя о возможности своего призвания в Болгарию, серьезно останавливается на мысли о необходимости устраивать там дороги русскими руками и в русских руках и на днях совещался об этом предмете с знающими людьми.

Если бы Вашему Величеству угодно было что-либо сообщить мне, благоволите дать знать — я по обычаю уезжаю сегодня, в 9 ч. вечера, в Гатчину.

(Написав это, получил телеграмму, что завтра не будет занятий у цесаревича.)

Константин Победоносцев

Петербург, 11 декабря 1886

53

Часто я утруждаю Ваше Величество письмами, но трудно удержаться, когда дело имеет важность, а мне кажется, что никто другой не доложит об нем.

На днях, по всей вероятности, будет представляться Вашему Величеству М. Х. Рейтерн.

Я имею основание предполагать, что на мысли у него просить об увольнении его от звания председательствующего в комитете министров. Поводы к тому, конечно, будут представляемы уважительные: болезнь, ослабление сил, наконец слепота, которая, как слышно, может вызвать четвертую уже по счету операцию.

Очень жаль будет потерять его и очень трудно заместить. Я поистине скажу, что во всю мою жизнь, присутствуя в бесчисленных заседаниях, я ни разу еще не встречал такого председателя, что для дел комитета очень важно. Голова у него замечательно свежая, дела он всегда знает отлично (несмотря на то, что сам читать не может), следит за прениями во всех подробностях, сохраняя полнейшее спокойствие и достоинство, резюмирует сказанное коротко и ясно и в трудных случаях с большим искусством проводит дело к решению. Когда он отсутствует, это очень явственно отражается на делах комитета (что особенно заметно было при гр. Палене). Притом Рейтерн держит себя вполне беспристрастно, даже по таким делам (как, напр., Остзейским), где можно было бы предполагать сторонние на него влияния.

Но мне кажется, что при некотором сопротивлении и при лестном для него внимании Вашего Величества он остался бы. Правда, что здоровье его пошатнулось, но не так сильно, как он думает (он мнителен). Глаза у него плохо видят, но голова совсем свежа. Жизнь он ведет самую регулярную, и я думаю, что, удалившись от дел, к коим привык, он скучать будет. Если бы потребовалось ему удалиться на некоторое время для лечения, возможно было бы назначить ему временного заместителя на случай болезни. Подобные назначения бывали: при покойном Государе по случаю болезни гр. Блудова назначен был в качестве заместителя или вице-председателя в комитете кн. Гагарин.

Притом еще доходили до меня стороною слухи, что Рейтерн был бы очень чувствителен к внешним знакам внимания Вашего Величества. Честолюбие не дремлет и иногда в старости еще сильнее разгорается. Я слышал, что он ждал себе к коронации титула или портрет. И теперь, вероятно, награда ободрила бы его.

Константин Победоносцев

Петербург, 16 декабря 1886

Сегодня слушалось в общем собрании Государственного Совета внесенное Манассеиным дело об ограничении публичности в судах. К сожалению, мы оказались в меньшинстве — 20, тогда как на противной стороне 31. Разногласие по вопросу, имеет ли право министр юстиции в исключительных случаях предлагать судам о недопущении публики.

В последнюю минуту многих сбил с толку граф Пален довольно странным аргументом, на многих однако подействовавшим: «Право публичности есть-де такое священное право, что, кроме суда, его может коснуться, по каждому делу, только верховная власть! И стало быть, когда министр юстиции присвоит себе это право, он тем самым присвоит себе право верховной власти». Стало быть, всякий раз, когда где-нибудь в маленьком городке потребуется, по сведениям, устранить публику, необходимо не иначе, как испрашивать Высочайшее повеление.

Как ни странно такое рассуждение, однако оно увлекло многих, кажется, и самого председателя.

Константин Победоносцев
10 января 1887

В особенных случаях я позволяю себе утруждать Ваше Величество просьбами о поощрении школьных учреждений присылкою иконы от имени Вашего.

Этот знак Высочайшего внимания к усердию местных деятелей в таком важном деле имеет великое значение и благотворительную силу, особливо в таких местах, где русскому и церковному элементу приходится бороться с иноверными и инородческими влияниями.

А где находятся усердные и энергические деятели, там учреждение приходских школ производит поразительное действие. В самое короткое время преобразуется быт и настроение крестьян, и в самые дикие углы проникает свет и осмысленность.

Я считаю великим делом — отыскивать такие явления (большею частью в глухих местах) и тотчас же обращать на них внимание. Видя это, местные деятели получают нравственную опору, и пример их вызывает других на подражание.

С этою целью посылаю я от времени до времени для объездов по селам состоящего при мне толкового человека обозревать начинающееся школьное дело. Так, объехал он летом Северо-Западный край, а осенью — Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. Этим путем добываются драгоценные сведения и завязываются живые связи. Так, например, недавно в глуши Таращанского уезда Киевской губ., посреди тьмы невежества, пьянства, в среде, зараженной штундою, отыскались 3 молодых священника, неведомые своему начальству, в нужде и унижении работающие с утра до ночи над просвещением темной массы, — один из них, например, успел в 2 года искоренить штунду в своем приходе, — и эти люди, имея по 5–6 человек детей да еще бедных родных на руках, должны существовать с семьей на какие-нибудь 200 рублей в год и истощаются в голоде и холоде. Если человек такой некорыстен, то положение его ужасно. Так, священник, о коем идет речь, за требы не берет. Доходов церковных бывает от 3 до 13 копеек в большие праздники. Было 3 свадьбы, — за две ничего не дали, за третью дали 55 коп. (Это там, где есть сектанты, в обыкновенных же условиях дают за свадьбу от 10 до 15 рублей.)

Можно себе представить, как важно для такого труженика получить пособие вовремя, а никто не дает ему. Узнавая такие случаи, я посылаю им что можно, — к счастью, имеются для того кое-какие средства из денег, пожертвованных Кенигом и другими благотворителями. Так, например, этим трем священникам послано к празднику по 250 руб.,

и они ожили духом.

Прошу прощения за это предисловие к моей просьбе. Она состоит в следующем.

В Могилевской губернии, в Климовецком уезде, есть молодой помещик Мещерский. Живя в деревне безвыездно, он со всем жаром принялся за школьное дело и в короткое время достиг замечательных успехов (прилагается краткая о сем записка). Узнав о нем случайно, я посылал к нему людей, старался доставлять ему пособия. Теперь дело его растет. Детей узнать нельзя, — из них составились целые хоры певцов, и вслед за детьми преобразуются родители. Действие школы распространяется дальше и дальше по уезду. Дело это вполне заслуживает милостивого внимания Вашего Величества. Не благоволите ли и на этот раз пожаловать икону от имени Вашего в центральную школу села Милославичей. Это придаст новую силу всему движению.

Константин Победоносцев

21 января 1887

56

Простите, Ваше Величество, что нарушаю покой Ваш своими письмами; но что делать, когда душа не терпит.

Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу прийти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на Императорских театрах и уже разучивают роли.

Не знаю, известна ли эта книжка Вашему Величеству. Я не знаю ничего подобного ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, на какую здесь становится Толстой.

Искусство писателя замечательное, — но какое унижение искусства! Какое отсутствие, — больше того, — отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса! Больно думать, что женщины с восторгом слушают чтение этой вещи и потом говорят об ней с восторгом. Скажу даже: прямое чувство русского человека должно глубоко оскорбиться при чтении этой вещи. Неужели наш народ таков, каким изображает его Толстой? Но это изображение согласуется со всею новейшею тенденцией Толстого, — народ-де у нас весь во тьме со всею своей верой, и первый он, Толстой, приносит ему новое свое евангелие. Посмотрите-ка, вот в чем ваша вера, — баба, убивая несчастного ребенка, не забывает окрестить его и затем давит...

Всякая драма, достойная этого имени, предполагает борьбу, в основании которой лежит идеальное чувство.

Разве есть борьба в драме Толстого? Действующие лица — скотские животные, совершающие ужаснейшие преступления просто, из побуждений животного инстинкта, так же, как они едят, пьют и пьянствуют: ни о какой борьбе с высшим началом нет и помину. В виду зрителя, можно сказать, проходят на сцене одно за другим: отравление мужа, несколько скотских кровосмешений, подговор матерью сына и жены к преступлению, наконец, страшное детоубийство, с хрустением костей и писком младенца, — и все это без борьбы, без протеста, в самой грубой форме, в невозможных выражениях мужицкой речи, с цинизмом разврата, с пьянством. И не видать тут живого лица человеческого, — разве что бледная Марина да старик Аким, — и тот какое-то расслабленное создание без воли, только натура добрая и покорная. Говорят, что конец нравственный. Не нахожу и этого, — покаяние Никиты на конце, посреди гостей, размертво пьяных, представляется тоже каким-то случайным явлением, которое ничего нравственно не закрепляет в этой развратной среде, ничего не решает, так что этот момент пропадает, можно сказать, в страшном впечатлении безотрадного ужаса в течение всех 5 актов драмы.

В том же роде есть музыкальная драма Серова «Вражья сила»; но какая разница! Там зритель глубоко потрясен, но совсем иначе, там форма чистая, там есть борьба, борьба со страстью, и покаяние преступника, увлеченного страстью, действительно венчает драму. А у

Толстого в драме даже страсти нет, нет увлечения, как нет и борьбы, а есть только тупое, бессмысленное действие животного инстинкта, — и вот почему она так противна. В «Преступлении и Наказании» у Достоевского, при всем реализме художества, через все действие проходит анализ борьбы, — и какой еще! — и идеал ни на минуту не пропадает из действия.

А это что такое? Боже мой, до чего мы дожили в области искусства!

День, в который драма Толстого, будет представлена на Императорских театрах, будет днем решительного падения нашей сцены, которая и без того уже упала очень низко. А нравственное падение сцены — немалое бедствие, потому что театр имеет громадное влияние на нравы в ту или в другую сторону.

Воображаю первое представление. Ложи наполнены кавалерами и дамами высшего общества, любителями и любительницами сильных дневных и ночных ощущений. Дамы в роскошных туалетах жадно смотрят на представление из чуждого им «мужичьего» мира, в котором живут и двигаются тоже люди, но похожие на животных. В каждом акте ощущают приятный «ужас»! В 5-м акте, по случаю детоубийства, с хрустением косточек и писком, матери станут плакать — о! какие фальшивые слезы... Разве не похоже будет на то, как в прошлом столетии собирались нарядные дамы самого образованного в Европе общества смотреть на публичную казнь и мучения преступников, и тоже плакали, между конфетами и мороженым?

Но это не все. Пьеса станет модною. Вся петербургская публика от мала до велика потянется в театр. Нравственный уровень нашей публики очень низок, равно как и вкус ее. Ложи наполнятся молодыми девицами и малолетними детьми (это наверное, ведь их берут же в театр на оперетки). Какова будет в нравственном отношении привычка смотреть в течение нескольких часов живую картину разврата, преступлений и дикого быта. Дети, вернувшись домой, станут повторять со смехом и шутками слышанные ими в театре фразы и слова, вроде: «однова дыхнуть, скуреха, осторожная шкура, в рот тебе пирог с горохом» и т. п.

Но и это далеко не все. Петербургские увеселения дают тон увеселениям во всей России. Ныне в каждом сколько-нибудь значительном городе есть театры, на которые переходит, развращая нравы праздной публики, всякая нечисть петербургских и московских сцен. Завелись уже по местам театры и в селах. В Москве заведен, в милостивом ведении местной администрации, под именем народного, театр под фирмою «Скоморох», где толпится, по ценам от 5 до 60 копеек, публика в рубашках и тулупах, слушая пьесы общего театрального репертуара, и в антрактах развлекается буфетом с водкою.

Драма Толстого облетит все эти уездные и сельские сцены. Представляю себе крестьянскую и рабочую, фабричную публику такого представления: что она из него вынесет? Картина преступлений возмутительных выступает перед публикой, как обыденное явление дикого быта, без малейшего возвышения духа: тут люди, живущие инстинктом, без идеи, возле всюду сущего кабака, увидят воочию, как просто и с какою легкостью совершаются в этой среде преступления. Рассказывают, что, когда Толстой, собрав крестьян и дворовых, читал им свою драму, чтоб видеть производимое ею впечатление, один из лакеев на вопрос об Никите отвечал: «все хорошо шло, да под конец сплоховал». Немудрено, что подобное впечатление вынесет масса зрителей, погруженных, подобно действующим лицам, в ту же тину одних материальных инстинктов и интересов.

А что почувствуют лучшие, здоровые, честные представители народа?

Они, несомненно, будут оскорблены в лучших своих ощущениях. Подумают так: «вот чем вздумали забавляться баре! Вот, видно, как они понимают народ. Неужели же вес мы, простые русские люди, в нашем домашнем быту такие скоты и мерзавцы? Стыдно. А если бы кто вздумал так выставить графов да князей, да больших бояр, — небось, не позволили бы, запретили бы давать пьесу. Это не то, что наш брат». Нехорошо, если так заговорят честные и нравственные русские люди.

Стоит подумать еще и о Том, как отзовется такое публичное представление русского

сельского быта у иностранцев и за границу, где вся печать, дышащая злобою против России, хватается жадно за всякое у нас явление и раздувает иногда ничтожные или вымышленные факты в целую картину русского безобразия. Вот, скажут, как сами русские изображают быт своего народа.

И то уже нехорошо, что в эту минуту драма Толстого, напечатанная в виде народного издания в громадном количестве экземпляров, продается теперь по 10 копеек разносчиками на всех перекрестках; скоро она обойдет всю Россию и будет в руках у каждого, от мала до велика. На заглавном листе поставлено: «для взрослых», но ведь это объявление само привлечет к книжке всех несовершеннолетних и малолетних, и, конечно, во всех учебных заведениях она уже и теперь читается с жадностью.

Что же будет, когда ее поставят на театрах!

Простите, Государь. Я высказал все и облегчил свою душу.

Константин Победоносцев

18 февраля 1887

57

Мне известно участие, принимаемое Вашим Величеством в судьбах северного края, который глож и приходил в запустение по мере того, как отнималась от него заботливая рука правительства.

Для местных деятелей, т. е. для оживления их, чрезвычайно важно живое свидетельство об участии Вашего Величества к этому краю.

Вот почему сожалел я, что приехавшему сюда архангельскому губернатору кн. Голицину не довелось лично доложить Вашему Величеству о нуждах своей губернии. Вас не решились беспокоить с просьбою о приеме его перед отъездом, а его самого порча дорог понуждает спешить, и он предполагал уже выехать завтра.

При личных с ним объяснениях я видел с удовольствием, что он любит край, относится к его нуждам деятельно и никак не желает оставлять его.

При последнем с ним свидании на днях я видел, что он уезжает отсюда с печальной заботой по случаю решительного закрытия архангельского порта и взятия оттуда двух последних военных судов, которое, по-видимому, решено в морском министерстве бесповоротно, несмотря на все просьбы и убеждения губернатора, считающего пребывание немногих военных судов в Белом море делом существенной необходимости для края.

Заметив, что я интересуюсь этим делом, Голицин доставил мне записку, которая, вероятно, неизвестна Вашему Величеству.

В виде важности предмета позволяю себе представить ее на Ваше благоусмотрение.

Константин Победоносцев

22 февраля 1887

58

По поводу нынешнего движения к православию в Прибалтийском крае и принимаемых правительством новых мер заграничные немецкие газеты наполняются невообразимыми сплетнями и клеветами. Рассказываются невероятные истории о преследованиях и стеснениях. Известно, что нет такой лжи, которой бы не поверили бы иностранцы, когда она рассказывается о России. К сожалению, и из русских, особливо из числа знатных здешних дам, с иностранного голоса тоже верят всяким нелепостям и кричат о преследовании будто бы лютеранства!

Я получил из-за границы; из Швейцарии, торжественное послание от членов евангелического союза. Видно, хотят они повторить бывшую в 50-х годах полемику; но тогда пытались замешать в нее дипломатию и обращались с претензиями и жалобами к кн.

Горчакову. Теперь обращаются, — что гораздо удобнее, — к обер-прокурору синода.

Я счел долгом отвечать им и на днях отослал свой ответ в Шафгаузен. Но для того, чтобы ознакомить, в случае надобности, кого следует с этим делом, я распорядился напечатать эту переписку, не для распространения в публике, в малом количестве 75 экземпляров.

Долгом почитаю представить эту брошюрку к сведению Вашего Императорского Величества.

Константин Победоносцев

28 февраля 1887

59

Все эти дни я провожу в каком-то тяжком отупении от того, что произошло 1 марта. В этот день я испытывал тревожное волнение по какому-то безотчетному чувству. Случилось, что 1 марта через 6 лет пришлось опять в воскресенье. Случилось еще, что ко мне поутру зашел в тот же час тот же самый человек, кто был у меня в самый час катастрофы 1 марта 1881 года, — и с тех пор лицо его всякий раз живо напоминало мне ужасную минуту.

Всего больше тревожит мысль о том смущении, которое это происшествие возбудило в душе у Вашего Величества: вот о чем всего больнее думать. Я хотел тотчас писать Вам, но удержался: и Вас не решался тревожить, и у самого в душе было очень смутно.

Тяжело теперь жить всем русским людям, горячо любящим свое отечество и серьезно разумеющим правду в жизни. Было тяжело, и есть, и, горько сказать, еще и будет. У меня тягота не спадает с души, потому что вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали. На крапиве не родится виноград, из лжи не выведешь правду; из смещения лени, равнодушия, невежества с безумием и развратом не возникает сам собою порядок. Что мы посеяли, то и должны пожинать. Всем неравнодушным к правде людям очень темно и тяжело, ибо, сравнивая настоящее с прожитым, давно прошедшим, видим, что живем в каком-то ином мире, где все точно идет вспять к первобытному хаосу, и мы посреди всего этого брожения чувствуем себя бессильными.

Но изо всех крестов, которые лежат на нас, всех тяжелее тот крест, на который провидение Вас обрекло, Ваше Величество. Я видел, как Вам тяжело было принимать его на свои плечи. И не достало бы сил нести его, когда бы не было в душе сознания и веры, что это — великая жертва, на которую Богу угодно было обречь Вас, и что уклониться от этой жертвы — значит обречь весь народ свой, всю Россию на полный хаос, на конечную гибель. Вспоминается пророчество Каиафы...

Я знаю, что в Вас есть это сознание и эта вера. Она, и только она одна дает Вам силу, чтобы не поникнуть головой посреди смятения жизни, дает спокойствие духа, необходимое для того, чтобы возможно было удержать в себе живость и крепость воли для державы правления.

В Западной Европе повсюду заговоры социалистов и анархистов и взрывы адских снарядов стали едва ли не ежедневным явлением. В Германии готовы были, — и только случай помешал, — взорвать императора со всей свитой при открытии памятника. Там это стало обычным явлением, — оттуда явилась эта зараза и по грехам нашим привилась к нам; но всякое этого рода явление у нас подхватывается врагами нашими, как орудие против нас. Правда, что у нас оно значит гораздо более, чем там, — и враги наши хорошо это знают, — и Бог знает еще, чья хитрая рука направляет, чьи деньги снабжают наших злодеев, людей без разума и совести, одержимых диким инстинктом разрушения, вырождков лживой цивилизации...

Нельзя выследить их всех, — они эпидемически размножаются; нельзя вылечить всех обезумевших. Но надобно допросить себя: отчего у нас так много обезумевших юношей? Не оттого ли, что мы ввели у себя ложную, совсем несвойственную нашему быту систему образования, которая, отрывая каждого от родной среды, увлекает его в среду фантазии,

мечтаний и несоответственных претензий и потом бросает его на большой рынок жизни, без уменья работать, без определенного дела, без живой связи с народным бытом, но с непомерным и уродливым самолюбием, которое требует всего от жизни, само ничего не внося в нее!

Боже, помилуй нас грешных и спаси бедную Россию и от своих, и от чужих!

Да подаст он Вашему Величеству силу не только терпеть, но и действовать посреди тяжких испытаний!

Веруем мы, простые русские люди, что он не оставит Вас и с Вами бедную, страдающую и верующую Россию!

Константин Победоносцев
Петербург, 4 марта 1887

60

Дозвольте, Ваше Величество, беспокоить Вас по делу, коему придаю политическую важность.

Сейчас дошло до меня, что Вы изволили приказать объявить на общем основании Каткову предостережение за статью в № 66 «Московских Ведомостей» и вообще за направление статей его по внешней политике.

Прежде всего, оговариваюсь, что я нисколько не оправдываю Каткова и не извиняю его и не имею в виду его личного положения; но имею в виду то значение, которое приобрели вместе с лицом его «Московские Ведомости».

Правда, как Вы изволили однажды и мне выразиться, что Катков забывается и принимает тон, несоответственный с его положением.

Но один ли он виноват в том? Виноваты во многом правительственные лица, которые поставили его в положение ненормальное и вскружили ему голову. Всякий забудется, если его выведут из пропорции и придадут ему несоразмерное значение.

Катков — высокоталантливый журналист, умный, чуткий к истинным русским интересам и к твердым охранительным началам. В качестве журналиста он оказал драгоценные услуги России и правительству в трудные времена. Он стал предметом фанатической ненависти у всех врагов порядка и предметом поклонения, авторитетом у многих русских людей, стремящихся к водворению порядка. То и другое крайность, но то и другое — факт немаловажного политического значения. Факт, с которым приходится считаться.

Вся сила Каткова в нерве журнальной его деятельности, как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное — мелочь или дрянь, или торговая лавочка.

Но зачем было делать из Каткова государственного человека? Были министерства, в коих ничто важное не предпринималось без участия Каткова. Этим его испортили и вывели его из пропорции. Он писал превосходные статьи, но можно было им радоваться, а не делать из них государственного события. Особенно в виду иностранной прессы и иностранной дипломатии, придававшей статьям Каткова значение статей, внушаемых свыше, следовало бы правительству избегать всего того, что могло быть истолковано в смысле солидарности правительства со статьями Каткова. Вот почему я не порадовался, когда прочел в газетах рескрипт, в прошлом году предложенный к подписанию Вашего Величества И. Д. Деляновым; не радовался, когда Катков приезжал сюда из Москвы на продолжительное время, и в здешнем обществе, живущем сплетнями, и в заграничной прессе поднимались вздорные толки, что с ним ежедневно совещаются о делах внешней политики. Мудрено ли, что по вопросам этого рода Катков, получая на статьи свои и записки одобрение из высших сфер, более и более выходил из пропорции?

Однако же, то ложное освещение, которое получил Катков и у нас, и за границей, есть несомненный факт. Все, что происходит с «Московскими Ведомостями», становится событием не только всероссийским, но и европейским. Падение «Московских Ведомостей»

есть великое торжество одной партии (к сожалению, именно партии врагов России и порядка) и великое уныние для другой партии, противоположной. Прибавлю еще, что Катков, при всех своих недостатках и увлечениях, очень дорог своей газетой именно теперь, в эпоху смуты, что когда его не будет, решительно нечем будет заменить его в нашей распушенной и бедной серьезными талантами печати; и, наконец, что эта минута, которой нельзя не опасаться, вероятно, уже недалеко, потому что Катков едва ли долго продержится.

Теперь позволяю себе обратить внимание, Ваше Величество, на последствия, вероятные в том случае, если будет на общем основании опубликовано предостережение Каткову за направление статей его по внешней политике.

Телеграф разнесет это известие по всем концам мира. Это будет замечательное политическое событие. Оно будет истолковано в смысле поворота нашей политики. Оно отразится на бирже. Оно вызовет торжественные демонстрации во всех больших городах и, между прочим, со стороны враждебных России партий. Внутри России произойдет крайнее недоумение и смущение. Притом, зная настроение и натуру Каткова, я уверен, что он вслед за предостережением прекратит издание «Московских Ведомостей». Это будет крайним смущением для массы читателей русских и, смею думать, во всяком случае будет утратой для правительства силы весьма значительной, силы нравственной.

Стоит ли всего этого статья, правда, неприличным и безумным тоном написанная?

Вполне понимаю однако, что невозможно относиться равнодушно к этому тону и к этой манере статей Каткова. Однако примечаю, что до сих пор никто властным тоном и властной речью не говорил еще Каткову, что ему необходимо воздержаться себя, что этот тон и эта манера не только не одобряются, но и строго осуждаются Вашим Величеством. Министр внутренних дел, — власть непосредственная над ним, — ни разу не имел с ним положительного объяснения по этому предмету. Напротив того, сам Катков мог иногда воображать, что статьи его угодны правительству.

Ваше Величество, Вы, конечно, поверите, что одно лишь старание о благе и о мире побуждает меня писать это письмо. Министр внутренних дел в отсутствии; я предвижу, что предположенная мера в настоящих обстоятельствах не будет иметь благих последствий.

Позвольте представить на благоусмотрение Ваше следующее. Можно достигнуть того же результата, но с избеганием нежелательных последствий, в другой форме. То же предостережение, но еще суровее и действительнее. могло бы быть объявлено Каткову от имени Вашего Величества, только не в официальной форме и без опубликования. Для этого Феоктистов мог бы съездить в Москву или гр. Толстой лично мог бы передать Каткову все то, что Вашему Величеству угодно было выразить. Тут Катков в первый раз положительно усмотрел бы неудовольствие и гнев Вашего Величества. Я не сомневаюсь, что он принял бы это внушение со всей покорностью и не замедлил бы или изменить тон, или вовсе уклониться от полемических статей по важнейшей политике.

Константин Победоносцев

Петербург, 11 марта 1887

Письмо это писано человеком верующим и глубоко изучившим писание и отцов церкви. Тон его торжественный. Оно оканчивается воззванием к царской власти: да сокрушит нечестие и нечестивых.

Сколько подобных воззваний присылается со всех концов России от простых русских людей, сбитых с толку, не понимающих, что вокруг делается, и ищущих выхода.

Понятно, что иного выхода они не видят, иного спасения не чают, как от царской власти. Преданием держится вера, что царь все может сделать, и что от его слова преобразится лицо земли русской.

Больно читать эти письма. Увы! Простые люди не знают, что все в учреждениях и людях весьма переменилось, и что приказывать стало уже не так легко, как прежде; понятия

у начальных людей смешались до того, что уже трудно различить добро от зла и правду от лжи; а власть связана множеством противоречивых законов и учреждений, коих сеть продолжает усложняться и запутываться. Простые люди не знают, — и хорошо, что не знают, еще, — что и в среде первых лиц государства, и в собраниях, обсуждающих законы, самые простые и здравые начала встречают упорное противодействие: до того перепутались мысли о правде и неправде даже у добрых и желающих добра людей.

Но, во всяком случае и во всех обстоятельствах власть повсюду и в особенности у нас в России, имеет громадную нравственную силу, которой никто не может отнять или умалить, если сама не захочет. Это право и сила — отличать добро от зла и правду от неправды в людях и действиях человеческих. Эта сила, если постоянно употреблять ее, сама по себе послужит великим рычагом для нравственного улучшения и для подъема духа в обществе. Когда добрые и прямые почувствуют уверенность в том, что они не будут перед властью смешаны безразлично с недобрыми и лукавыми, это придаст необыкновенную энергию росту всякого доброго семени. Главная наша беда в том, что цвета и тени у нас перемешаны. Мне казалось всегда, что основное начало управления — то же, которое явилось при сотворении мира Богом. «Различа Бог между светом и тьмою», — вот где начало творения вселенной. Там, где нет этого различия, — один хаос. Чтобы выйти из него, необходимо иметь ясное око, различающее свет и цвета и твердую волю, неуклонную в различении и в действовании.

Но и за всем тем — одна сила Божия может поддержать власть в великом и ужасном деле правления!

К. П.

25 марта 1887

62

В прошлый понедельник слушалось донское дело в Государственном Совете. К. Мирский не приехал в заседание. Кончилось тем, что один военный министр остался при своем мнении и, мне кажется, не по прямому убеждению, а в той мысли, что это мнение одно угодно Вашему Величеству.

Между тем та цель, которая поставлена Вашим Величеством, достигается несравненно действительнее и удобнее тем способом, на котором остановились члены собрания.

Ростов с Таганрогом составляют отдельное управление, которое, не сливаясь с Донским войском, вполне подчинено атаману в качестве генерал-губернатора. Этим разрешается задача вполне, и если бы, в виду местных обстоятельств, потребовалось еще усилить власть атамана противу положения об охране, все охотно бы на то согласились. Напротив того, слияние учреждений в войске Донском представляется до того нестройным, запутанным, невозможным к осуществлению, что для самой атаманской власти оно послужило бы помехою и источником бесчисленных недоумений, пререканий и столкновений. Ваше Величество, конечно, сами убедились бы в том, если бы имели возможность рассматривать подробности предположенного слияния. Мирский отсутствовал, а военный министр ссылаясь на него, что он, Мирский, не считает возможным для себя управлять иначе. Но решать вопрос с этой личной точки зрения совсем неблагоприятно. Так думает Мирский, но сидевшие тут же предшественники его Чертков и кн. Дондуков совсем иного мнения, и очень возможно, что если б удовлетворилось теперь желание Мирского, преемник его, в свою очередь, счел бы положение затруднительным для себя и ходатайствовал бы о новой перемене учреждения.

Вчера мы сидели в комитете министров до 6 часов за делом величайшей важности — о бакинском нефтепроводе. К сожалению, кончилось разногласием по существенному вопросу, и я вместе с Манассеиным, Овручевым, Посыетом и, кажется, кн. Дондуковым остался в меньшинстве. Но я не мог уступить, имея полную и очевидную уверенность, что осуществление проекта м-ва госуд. имущества грозит великим бедствием и Закавказью, и

России. И без того над нами висит опасность, что все важнейшие земли и промысловые заведения этого края перейдут скоро (многие уже перешли) в руки Ротшильда и иностранцев (против чего давно следовало бы принять меры), а если осуществится нефтепровод на предположенных основаниях, то этот результат представляется мне несомненным. Я решительно не умею объяснить себе, как министр государственных имуществ с мин. финансов не видят или не хотят видеть этой очевидной опасности. Предполагается бакинскую промышленность, уже развившуюся, искусственно перевести на берега Черного моря, и для этого дают компании нефтепровода монополию на 75 лет. Устройство его будет стоить 25 миллионов. Очевидно, что и деньги будут иностранные, и компания иностранная, и, кроме того, все заводы для выделки нефти в Батуми (без чего и нефтепроводу нечего делать) будут тоже иностранные. Итак, при помощи всеокрушающей монополии русская промышленность будет убита. Дай Бог, чтобы я в этом ошибался.

Константин Победоносцев
Петербург, 25 марта 1887

63

Зарудная приехала вчера, из Парижа, в тревоге о своем сыне. Она видела и Манассеина, и директора д-та Дурново и узнала от них все, что можно было сообщить ей. Сына ее переводят из крепости в дом предварительного заключения, чтобы доставить матери возможность видаться с ним. Дурново сказывал мне, что сам он постарается в интимном объяснении с ним склонить его к откровенности.

Обоих братьев Зарудных арестовали по указаниям на них, обнаруженным на черновом плане, найденном, кажется, у Шевырева, где показана была квартира одного брата в Петровском, под Москвою, и другого брата в Петербурге. Старший брат, по-видимому, случайно затронутый в этом деле, пояснил свои отношения и выпущен. К сожалению, живший у них в доме учитель Сосновский воспользовался беспорядочностью домашнего присмотра за детьми и постарался вплесть их в свою махинацию. Что касается до младшего брата, то об нем имеются показания, что Сосновский имел с ним свидание в кофейной на Михайловской улице, тут познакомил его с Шевыревым, под именем Кузьминского, и условился, что Кузьминский явится к нему в Петровское получить от него сведения о московских студенческих кружках. На вопросы о всех этих обстоятельствах Сергей Зарудный отвечает упорным отрицанием. Вот причина, почему он еще содержится. Едва ли успели уже завлечь его к какому-либо деятельному участию в заговоре, и молчит он, по всей вероятности, из ложного гонора не обнаруживать тайны и не открывать чьего бы то ни было участия. По всей вероятности, и мать его теперь, видя ближе, в чем дело, будет спокойнее.

И правда, родители прежде всего виноваты бывают. Где нет мирной и благоустроенной семьи, там дети рассыпаются по ветру. Семья Зарудных не была ни мирной, ни благоустроенною, родители жили в непрерывной ссоре в виду детей. Отец, с педагогическими фантазиями, оставлял детей вырастать на свободе, и мать не умела собрать их под крыло свое. Этого Сергея, выросшего в своенравии, уволили за какую-то шалость из пажеского корпуса. Затем мальчика правили одного в Киев держать экзамен в какое-то заведение, без призора. Он вернулся, не выдержав экзамена. Что с ним делать? Опять отправили его одного в Петровскую академию и оставили жить где-то в избе, Бог знает с какой компанией товарищей. Вот и результаты.

Когда подумаешь, что в большом городе благоустроенная семья стала у нас редкостью, и что пустота жизни общественной, с роскошью, со своеволием, дошла до крайности, — страшно за будущее поколение.

Но не одна и семья виновата. Сколько добрых и честных родителей плачутся на учебные заведения, куда отдали детей добрыми и откуда получают их домой развращенными и сбитыми с толку.

Высшее начальство видит, что неладно, пишет новые регламенты и уставы, сочиняет

новые правила учебного дела. Но что толку в том, что новая бумага является вместо старой, и новое приказание или подтверждение на место прежнего? Что толку, когда в действительности мало кто делает свое дело на месте, и живое дело, воспитательное дело ведется механически, так как бумаги пишутся в канцелярии! Строг и точен воинский устав, но что вышло бы, когда бы начальники на него положились и на нем успокоились? Что вышло бы из лагеря, если бы некому было смотреть, на своих ли местах часовые, не спят ли на посту и правильно ли смены происходят?

Константин Победоносцев
Петербург, 28 апреля 1887

64

Стоит, мне кажется, довести до сведения Вашего Величества следующее обстоятельство, по поводу коего повсюду слышатся неприятные толки и суждения.

Известия о поездках и путешествиях Вашего Величества печатаются официально в «Правительственном Вестнике» и читаются во всех углах России. Итак, надобно составлять их с крайним вниманием, чтобы каждое выражение соответствовало бы достоинству предмета и не могло послужить поводом к недоразумению, а тем более к соблазну.

К сожалению, дело это поручается иногда людям несведущим, лишенным общего образования и такта, — людям из разряда обыкновенных газетных репортеров. А те, кому надлежало бы наблюдать за их писанием, не всегда обращают на этот предмет должное внимание.

На беду, в последнее путешествие Вашего Величества взяли человека невежественного, некоего Прокофьева, обыкновенного репортера газеты «Новое Время» и разных других, и его реляции, совсем неискусно составленные, печатались под официальным титулом корреспонденции «Правительственного Вестника».

Видно, что это человек невежественный и совсем бестактный, когда он, упомянув о присутствии Ваших Величеств в хуруле, включил сюда, неведомо зачем, такую фразу: «Ее Величеству поднес бакша с жертвенника золотую курильницу, с которой Ее Величество и стояла во время богослужения».

Удивляюсь, как никто из начальствующих лиц не догадался удержать бакшу от поднесения курильницы Государыне Императрице. Этого не следовало допускать, и никогда этого не бывало при посещениях хурула, что случалось обыкновенно в Калмыцкой станице, а не в Новочеркасске, где никаких хурулов нет. Но положим, что так или иначе было это допущено! К чему было упоминать об этом в печати, как об обстоятельстве, заслуживающем внимания?

К сожалению, фраза эта пропущена в печати и возбуждает теперь толки. Не сомневаюсь, что в разных углах России простые православные люди, прочитав ее, станут качать головой и говорить или думать: что же это — неужели Императрица приносила жертву идолам?

Стоит обратить внимание на эти корреспонденции: они важнее, чем, может быть, кажется некоторым начальникам сверху. И стоит ли вообще держать при дворе особых корреспондентов этого разряда, чтобы передавать через газету известия о каждом передвижении Высочайших особ, и передавать, как иногда случается, в пошлой форме газетного репортерства.

Ваше Величество, конечно, не следите и не можете следить за всеми этими известиями, но иногда просто обидно видеть, как они составляются, и грустно думать, что за ними не наблюдают, как бы следовало.

Константин Победоносцев
Петербург, 12 мая 1887

Сейчас был у меня Катков в крайнем смущении, что он безвинно оклеветан перед Вашим Величеством.

Феоктистов явился к нему сегодня по поручению графа Толстого объявить ему неудовольствие Вашего Величества. Доведено до Вашего сведения, будто Катков писал и через Циона переслал в Париж к Гриви какое-то письмо с соображением о том, какие назначения в новое министерство могут быть приятны или неприятны нашему правительству.

Если б это было справедливо, то, конечно, Катков заслужил бы гнев Вашего Величества за такое активное вмешательство в политику.

Но Катков удостоверяет, что ничто подобное не только не происходило, но и в мысль не входило ему; и весть, о том пущенную, он может приписать только злонамеренной клевете; что никаких письменных сношений ни с кем из политических лиц за границей и с самим Ционом он не имел в последние месяцы и даже намеренно избегал сведений и объяснений, на которые напрашивались некоторые приезжие, дабы не навлекать на себя подозрений и не дать повода к сплетням. Что вся его политическая деятельность выражалась единственно в статьях «Московских Ведомостей», да в некоторых записках, кои были представлены Вашему Величеству и никому кроме того не сообщались.

Каткову можно поверить, что он не стал бы отпираться от своих действий.

А я позволяю себе о всем вышеизложенном довести до сведения Вашего Величества потому, что знаю на опыте и вижу ежедневно, каким могучим орудием интриги и злобы служит ныне сплетня и клевета, намеренно сочиняемая и распускаемая.

Трудно и поверить, до какого развития доведено это искусство.

Константин Победоносцев

Петербург, 18 мая 1887

66

Еще вчера я утруждал Ваше Императорское Величество письмом по делу о Каткове, и вот прихожу вновь с письмом, которое Сабуров умоляет представить Вам. Опасаюсь, что за эту докуку Вы меня осудите, но решаюсь и на это ради справедливости, которая побуждает при всяком обвинении выслушать обвиняемого.

Сабурова я не знаю и вижу сегодня в четвертый раз; никаких сношений с ним не имел; слышал только об нем в 1883 году от Гирса, обвинявшего его в интригах.

Но когда человек клянется, что невиновен в том, в чем его обвиняют перед Вашим Величеством, думаю, что по справедливости надо знать, что может он сказать в свое оправдание.

Константин Победоносцев

Петербург, 19 мая 1887

67

В прошлую субботу вернулся я из поездки, продолжавшейся одну неделю, и, может быть, теперь, при некотором досуге в Финляндии, Ваше Величество прочтете не без интереса кое-что из вынесенных мною впечатлений. В общем смысле они были довольно благоприятны.

Смоленская губерния давно мне известна, и город Смоленск привлекает меня и личными воспоминаниями, и необыкновенной красотой местонахождения и величия собора, в своем роде единственного. Губерния несчастная, бедная, со множеством разоренного дворянства; а в последнее время расстроена была управлением Кавелина, человека доброго, но совсем вялого и неспособного. Слава Богу, что он ушел, и что на его место назначен человек живой, честный, знающий дело и принимающий его к сердцу, независимо от

канцелярской переписки (Сосновский, бывший вицегубернатор в Харькове). Положение губернатора ныне повсюду затруднительно вследствие множества новых законов, опутавших всякую власть и перемешавших границы властей. Но именно по этой причине теперь, более, чем когда-нибудь, губернаторская должность получает важное значение. Распорядительный, честный и разумный губернатор, действующий и не боящийся ответственности за каждый шаг свой, служит именно теперь главною и единственной опорой порядка в губернии. Напротив того, человек неспособный, равнодушный, канцелярист на этой должности может принести громадный вред, станет орудием в руках ловких и недобросовестных эксплуататоров, коих всюду развелось много, и в самый короткий срок может произойти при нем такая деморализация местного управления, которую потом крайне трудно поправить. До чего может дойти при этом крупное и мелкое взяточничество, — трудно и представить себе: так изобретательно искусство чиновников поживиться от темного народа. Так, например, в Смоленске, в Заднепровской части (где бедное население), полицейский пристав имел в числе доходных статей такую. Там много отставных солдат, получающих из казначейства мелкие пенсионные выдачи по книжкам. Полиция периодически отбирала у них эти книжки, без которых нельзя получать деньги, и, держа их у себя по полугоду и более, выдавала только за известную плату, собирая по 1 руб. 50 коп. с человека. Несчастные должны были подчиняться, испытав на деле, что ни к чему не ведут жалобы.

Необходимы теперь более, чем когда-нибудь, дельные и притом прочные губернаторы. К несчастью, вошло в обычай переводить их из губернии в губернию часто, иногда через год. А губернатору для того, чтобы взглянуть в свою губернию, мало одного года. Можно представить себе, каково приходится губернии, где иной раз лет в пять сменилось два-три губернатора. Вот почему, принимая к сердцу интересы Смоленской губ., я испугался весною, когда узнал, что министерство предположило перевести Сосновского, как дельного губернатора, из Смоленска в Саратов, а едва прошел год, как он уселся в Смоленске, — и уговорил гр. Толстого оставить его. Теперь при нем поднялось значительно управление, и серьезные люди ожили, почуяв опору, а негодные стали бояться. И новый предводитель (на место умершего К. Оболенского) подает надежды добрые: человек молодой и серьезный — Хомяков, сын покойного московского поэта и философа-славянофила.

В Смоленской губернии происходит явление, на которое давно следовало бы обратить внимание: происходит польская колонизация, подобно тому, как совершается на юго-западной окраине колонизация немецкая; и видно, что поляки двигаются систематически. Краснинский уезд — лучший в губернии по качеству земель, коренной русский помещичий уезд, скоро станет совсем польский. Большинство имений куплено поляками, которые дают уже тон и уездному земству. Началось с поляков, сосланных во время мятежа и потом возвращенных. Им запрещено селиться в тех местах, откуда они высланы, но не подумали оградить от них Смоленскую окраину, давно обрусевшую. Они-то и принялись закупать имения в Краснинском уезде, а за ними потянулись и другие. Другая язва — евреи, которые набрались в этот край во множестве и все денежные дела в обедневшем Смоленске захватили в свои руки. Иные, записавшись в купцы 1-й гильдии (что нетрудно), закупают с публичных торгов большие имения и таким образом становятся помещиками. Жалость смотреть на старинные, разоренные помещичьи усадьбы.

Из Смоленска, по соседству, проехал я на два дня в Витебск, где не бывал еще до сих пор. Это уж край давней борьбы с польщиною и с латинством, — борьбы, длящейся до сих пор, но сильно оживившейся в последнее время. И, слава Богу, надежды на успех усиливаются, лишь бы только не опускать нам рук, лишь бы только серьезные русские деятели чувствовали непрерывную нравственную опору в администрации и в общей политике управления. Но в том и беда, что эта опора прерывается опять-таки в лице губернаторской власти. Здесь был губернатором фон-Валь (теперь он на Волыни), человек способный и деятельный, но лишенный русской жилки, сам немец, лютеранин, попавший под сильное влияние поляков.

При нем всюду проникли поляки, и русским людям опоры не было. Хорошо, что его

взяли отсюда; хорошо еще, что на место его выбрали Долгорукова.

Русские люди ожили и поднялись. Долгоруков, при всех недостатках, человек живой и деятельный: он поднял значительно русское дело в этом крае. К нему идут люди. Он успел сгруппировать около себя в губернии несколько очень дельных русских людей — предводителей и исправников. Предводители во всех уездах (кроме двух, в том числе губернского) русские; я знаю двоих: городокского — Бондырева и динабургского — Писарева, людей во всех отношениях крепких. В иных уездах успели составиться группы русских людей (предводитель, исправник, голова, церковный староста), дружно и плотно действующие. Особенно приятно было мне убедиться, что с помощью этих людей и некоторых замечательных деятелей из духовенства сильно двинулось дело устройства церковно-приходских школ, имеющее именно в этом крае особливую важность.

Но важнее всего это дело в Режицком уезде, посреди сплошной массы раскольников, в числе 60 000, и самого дурного, темного характера. Это беспоповцы, федосеевцы, переселившиеся сюда еще в прошлом столетии. Они опасны не пропагандой, которой влияние совершенно ничтожно в остальном белорусском населении, но той непроглядной тьмою невежественного разврата, в котором живут и возрастают целые поколения. Основное учение федосеевцев — безбрачие — сделалось между ними источником голого разврата, совершенного извращения семейной жизни, оправданием распутства, многоженства и детоубийств. Все это поддерживается связями с главным и богатым гнездом федосеевцев — с Преображенским кладбищем в Москве. Режицкие раскольничьи селения служат на весь край гнездом воров, конокрадов и злодеев всякого рода. Очевидно, что посреди этой тьмы лучшие, здоровые натуры остаются без опоры и без выхода.

Вот здесь-то выходом к свету может и должна служить только церковь с церковноприходской школой. До сих пор миссионерство в этом крае было крайне слабо и не развито, и по недостатку средств, и по недостатку людей. Существуют два прихода со школами, но этого мало, и людей находить трудно для тяжелой работы. Однако же, в последнее время — темная среда значительно тронулась, особенно благодаря истинно евангельскому служению в Таскатском приходе маленького, хилого, больного человека, иеромонаха Мелитона. Это была поистине ангельская, младенческая душа, исполненная любви и кротости. Он жил там лет 15 со старухой матерью, в совершенной бедности, работая день и ночь над школою, в которую успел привлечь даже девочек. Я знал его лично, — он от времени до времени приезжал в Петербург за книгами. Но его уже нет, — года два тому назад умер этот добрый старичок, — и конец его был трагический. Приобрел он себе в школу молодого учителя и полюбил его всей душою; вместе они трудились над школой и в церкви. Но вот однажды в соседней министерской школе появилась молодая учительница, как видно, из стриженных. Она, незаметно для Мелитона, соблазнила его любимца Ваню и стала учить своей науке.

Однажды, зайдя в комнату учителя, Мелитон [нашел] у него Ренана «Жизнь Христа», в русском (гектограф) переводе, и обомлел от ужаса. Стал расспрашивать и услышал грубые ответы. Потом вскоре застал у него учительницу, с наглым взглядом, с наглою речью. Старик не выдержал, заболел нервной горячкой и потерял рассудок. Режицкий купец Масленников, друг Мелитона, обращенный из раскола, рассказывал мне трогательные подробности о последних днях его жизни, как он в бреду поминал своего Ваню и сокрушался об нем.

На место Мелитона назначен толковый священник, и можно надеяться, что при помощи ревнителей в Режице дело не заглохнет.

В Витебске есть два собора — Николаевский и Успенский, оба замечательные громадностью и красотой размеров, особенно последний: оба достались нам из рук иезуитов и базилиан. Успенский собор исторически замечателен. Здесь православные мещане убили мучителя-фанатика Иосафата Кунцевича. За это казнен был целый город, Иосафат возведен в святые, а мещане присуждены разломать старый собор и на место его построить своими руками новый громадный. В 3-х верстах от города на восхитительном месте, на берегу

Двины, стоит Марков монастырь, основанный за 200 с лишком лет Марком Огинским, тогда православным. Деревянный собор, примечательной, оригинальной архитектуры, стоит тут 200 лет, крепкий и свежий, как будто вчера построен.

Еще о Витебске. Губернатор крайне озабочен начавшимся в последние годы и все усиливающимся наплывом в губернию латышей-католиков. Их поселилось уже до 150 000 душ на землях, приобретенных с помощью Крест. банка. И в то же время происходит по местам выселение православных крестьян-белорусов. Латыши отличаются трудолюбием и умением обработать самую бесплодную землю; но нельзя не тревожиться усилением латино-католического населения в таком крае, где вся политика должна быть направлена к усилению православного русского населения.

В Москве готовится на 29 июня съезд противураскольничьих миссионеров, созданных сюда со всех важных в этом отношении пунктов. Он будет происходить в единоверческом монастыре под руководством настоятеля, первого и самого авторитетного из наших миссионеров, — знаменитого Павла Прусского. К этому дню я отправляю туда Саблера, а из Москвы он должен проехать в Киев, где необходимо подумать со старым митрополитом об организации миссионерства против штунды, сильно распространившейся в этом крае. Дело это здесь совсем не организовано, а дело важное, потому что штунда, усиленно распространяемая пропагандистами из Германии, из Швеции, из наших баптистов и пашковцев грозит очень опасною язвою крестьянскому населению. Начинается с протеста против церкви, а ведет и очень скоро приводит, посреди невежественной массы, к протесту против властей и законов государственных.

Вот, Ваше Величество, и конец продолжительной моей реляции. Дай Бог Вам отдохнуть и освежиться на морском просторе. Но не раз приходилось, посреди здешних дождей и ветров, заботливо думать — благополучно ли Ваше плавание. Третьего дня, ночью, на морском берегу, где я уединяюсь теперь, дул такой свирепый и неистово воющий ветер, что я, проснувшись, стал бояться за Ваше плавание. Да хранит Вас Господь.

Константин Победоносцев

На даче, возле Сергиевской пустыни, 23 июня 1887

Вашему Императорскому Величеству известно, какую заразу пустил по всей России безумный Пашков, со своими последователями обоего пола, принадлежащими, к сожалению, к так называемому высшему обществу. Не зная ни своей церкви, ни своего народа, люди эти, зараженные духом самого узкого сектантства, думают проповедовать народу слово Божие, но на самом деле отвлекают народ от церкви, действуя приемами отрицательными, возбуждают крестьян и рабочих, не приготовленных к отпору учением, ругаться над иконами, крестами, церковными обрядами и духовенством. В духе самого нелепого фанатизма господа эти и госпожи не стыдятся подкупать бедный народ подарками и материальными пособиями. Таким образом они развели уже в разных губерниях, по городам и в особенности по селам, или узких и невежественных фанатиков, ругающихся над церковью, посреди селения и посреди самой семьи крестьянской, где водворяется неведомый доньше у нас религиозный раздор; или — толпу лицемеров промышленников, которые, не ценя вообще веры какой бы то ни было, притворством нанимаются в службу Пашкова в виде агентов и разносят отрицательные учения в невежественной среде, которую вообще нетрудно смутить баснями всякого рода. Одна из разносимых таким образом басен состоит в том, что будто бы уже в столицах все знатные люди, даже царь и царица, обратились в пашковщину или в штунду. А на самом деле народ уже видит, что есть графы и князья и богатые помещики, проживающие в имениях своих и распространяющие пашковщину.

К сожалению, в столицах между высокопоставленными лицами нередко встречаешь мужчин и дам, которые хотя сами не принадлежат к секте, но, привыкнув обо всем судить легко и сами не зная близко ни церкви, ни народного быта, склонны сочувствовать всякой

секте под видом религиозного убеждения и готовы возражать противу всякой меры, клонящейся к стеснению свободы сектантской пропаганды.

Вашему Величеству известно, что по обсуждении дела в особом совещании, несколько лет тому назад, состоялось высочайшее повеление — выслать Пашкова и бар. Корфа из России, объявив им, что в случае самовольного их возвращения или продолжении пропаганды имения их будут взяты в опеку.

Пашков и Корф жили с тех пор в Швейцарии и в Англии, но не только не прекратили своей пропаганды, но Пашков в особенности деятельно продолжает ее через своих агентов, к чему имеет он значительные средства в своем большом богатстве и во множестве имений своих по разным губерниям. Управляющими в эти имения ставит он ревностных сектантов, а как у него есть фабрики и заводы со множеством рабочих, то понятно, какие орудия пропаганды сосредоточены в руках его. Так, напр., в главном его имении, селе Матчерке, Моршанского уезда, Тамбовской губ., управляемом Антоном Чанилаш, заводский директор — поляк (ныне высланный) поставил на заводе в должность главных смотрителей 13 молокан.

С разных концов России приходит ко мне множество донесений об этой пропаганде. Пашковцы соединяются в разных местах со штундистами, баптистами, молоканами. Крестьяне волнуются, в сектантствах заводится раздор, ругательства сектантов возбуждают драки и насилия, а когда заводчики и ругатели отдаются под суд, суд нередко оправдывает их при помощи адвокатов, — они возвращаются с торжеством, и зло еще усиливается.

В таком положении дела я изумился на днях, узнав, что Пашков вернулся в Россию, находится у себя в селе Матчерке и продолжает свободно свою пропаганду.

Я не хотел верить этому и запросил тамбовского архиерея, который подтвердил вполне дошедшее до меня известие. Он присылает мне подлинное донесение местного священника, где, между прочим, сказано: «...5 июля Пашков приходил в дома обоих священников. Меня он не застал в доме и просил моих домашних, чтобы я повидался с ним. На другой день, 6 июля, я имел свидание в его доме. Разговор начался с того, что он укорял меня за то, что я делаю ему вред, — мешаю делать божье дело; затем разговор перешел на почву религиозного спора, из которого я убедился, что Пашкова — закоренелый сектант, не оставляющий мысли распространять свое лжеучение. На всех пунктах разговора я энергично возражал ему и заключил беседу тем, что всегда буду противодействовать ему всеми силами».

Получив такие сведения, я стал разведывать здесь в министерстве внутр. дел, каким образом Пашков очутился в России.

И что же я узнал! Что еще весною получено было всеподданнейшее прошение Пашкова о дозволении ему вернуться, что Рихтер доложил о сем непосредственно Вашему Величеству и что последовало разрешение.

Высылка Пашкова из России последовала по докладу министра внутр. дел, после обстоятельного совещания, в коем и я участвовал.

Итак, не могу не пожалеть всячески, что О. Б. Рихтер не рассудил за благо, прежде доклада Вашему Величеству об этом деле, разъяснить его справками, то есть войти в сношения и со мною (ибо у меня сосредоточены все сведения о Пашкове), и с министром внутренних дел. Тогда О. Б. Рихтер (который сам близко не знает и едва ли понимает вполне все значение этой пропаганды) увидел бы, что Пашков со времени высылки не прекращал своей пропаганды, что учение его распространяется, и что возвращение Пашкова в Россию грозит большим вредом. Я уверен, что и граф Толстой энергически возражал бы против удовлетворения просьбы Пашкова. И теперь, по сведениям, полученным мною из м-ва внутр. дел, оказывается, что Пашков, как только вернулся, первым долгом почел объехать главные гнезда пашковщины; был в Тульской губ., в известном гнезде кн. Гагариной, — в с. Сергиевском; был в Калужской губ. у девиц Козлятиновых, где тоже старое гнездо пропаганды, а ныне обретается и действует у себя, в с. Матчерке.

О всем вышеизложенном почитаю долгом довести до сведения Вашего Императорского

Величества.

Константин Победоносцев
30 июля 1887

69

Еще вчера я утомлял Ваше Величество длинным писанием и уже сегодня позволяю себе то же самое. Не могу утерпеть, когда нужно довести истину до сведения Вашего Величества, посреди того океана лжи и сплетен, в коем мы движемся.

Дело идет снова об известной истории с Катковым. Катков уже умер, и нечего было бы уже теперь нарушать мир над его могилой, когда бы дело касалось только личной его памяти. Но мне представляется необходимым разъяснение настоящего случая, дабы показать, какими средствами пользуется злоба и клевета, дабы очернить в глазах Ваших иного верного слугу Вашего Величества и России.

Каткова эта клевета измучила, тем более, что он не мог добраться до ее источника. Уже вернувшись в Москву, за несколько дней до паралича он писал мне:

«Что все это значит? Моренгейм ли был проводником взведенной на меня клеветы и в разговоре с человеком, который ничего не знал об его участии в этом деле, притворялся тоже ничего не знающим (Моренгейм дал такой ответ русскому, спрашивавшему его по поручению Каткова), или телеграмма, доложенная Государю, шла не от Моренгейма, а прямо от Катакази, и только подкреплена была именем посла? К моему великому счастью, Государь изволил поручить гр. Толстому сообщить мне ее содержание, так что я мог немедленно объявить этот якобы „верный факт“ безусловною ложью. Но могло случиться, — и на это, по-видимому, рассчитывалось, — что об этой клевете мне не стало бы известно, и я почувствовал бы только ее последствия, не ведая причины и не зная, в чем оправдываться».

Катков писал в Париж, желая добраться до истины.

И вот лишь по смерти его обнаружилась истина исследованием, которое с полной достоверностью раскрывает, кто виновник клеветы и интриги.

Благоволите, Ваше Величество, прочесть записку, переданную мне сегодня Ционом. В ней обнаруживается рука давно известного своей способностью к интриге Катакази. К сожалению, этот ловкий грек в последнее время успел втереться в доверие к великим князьям во время пребывания их в Париже, и это обстоятельство дало ему кредит, которого стали опасаться не только посол, но и само министерство иностранных дел. Неблагоприятные слухи о Ционе, дошедшие до Вашего Величества, идут, вероятно, от него же.

Константин Победоносцев
31 июля 1887

70

Вашему Величеству уже известно, что Айвазовский давал на сих днях обед всем приветствовавшим его по случаю 50-летия его художественной деятельности. На этом обеде хозяин каждому из гостей (коих было не менее 150-ти) подарил по картинке, им написанной и вставленной в фотографию. Я захватил две лишние картинки для того, чтобы переслать их Вашему Величеству; казалось мне, что теперь на чужой стороне эта мелочь из Петербурга на минутку займет Вас.

В то самое время как мы радовались, ожидая на днях Вашего возвращения, всех опечалила весть о внезапной болезни детей и о том, что придется ждать еще долго. Слава Богу, что болезнь, по-видимому, легкая; станем надеяться, что Бог поможет им вскоре оправиться. Успокоимся тогда только, когда узнаем, что все вы дома, в России. Между тем здешняя машина медленно и тяжело приходит в движение. Отсутствовавшие понемногу

возвращаются. 19 октября назначено первое заседание в общем собрании Госуд. Совета, но все как-то вяло без хозяина. О здоровье гр. Толстого имелись благоприятные сведения. Ожидали его в половине октября, но теперь говорят, что вернется уже к ноябрю.

Я только что вернулся из Москвы, куда ездил на один день, 11 октября. В этот день стараюсь быть там, чтоб участвовать в великом всероссийском торжестве, — в крестном ходе вокруг Кремля в воспоминание выхода из Москвы французов. Это — зрелище, которому нет сравнения, разве в коронационных торжествах: все московское духовенство в процессии, все святыни церковные, целый лес исторических хоругвей, несметное число народа на всем пути; процессия развивается лентою версты на полторы и идет часа 2 вокруг всего Кремля с пением, с колокольным звоном, с торжественным молебствием на вершине лобного места, посреди Красной площади, покрытой морем обнаженных голов. На этот раз 11 октября исполнилось 75 лет с великой эпохи 12-го года. И как нарочно после противного дождя со снегом на это время засияло яркое солнце. Прекрасно! Как приятны русскому сердцу эти живые и благоговейные, эти картинные воспоминания великих исторических событий! О, дай, Господи, чтоб все наши бедствия так славно завершались и чтобы всегда миловал нас Бог, как тогда помиловал!

Господь да хранит и милует Вас со всем вашим домом и со всей Россией!

Вашего Величества вернопреданный

Конст. Победоносцев

Петербург, вторник, 13 октября 1887

71

Сегодня слушалось в общем собрании Государственного Совета дело, которое еще раз доказало, как бессильны мы, русское стадо, перед напором двух-трех немцев.

В прошлом году еще, помнится, лифляндский губернатор в своем отчете распространился об обстоятельстве, давно уже затруднявшем министерство внутр. дел.

Остзейскими губерниями управляют совокупно с баронами и дворянами пасторы, все самого фантастического настроения. Не опасаясь ничего, отрицая все русские законы, они безнаказанно совершают противозаконные действия, совершают вопреки закону требы, крещение, браки и пр. между православными, в проповедях поносят и русскую церковь, и власти; один осмелился даже приводить крестьян к присяге на верность дворянству; один публично призывал молиться в особенности за тех членов царского дома, кои стоят за лютеранство, и т. д.

На практике ничего нельзя сделать с этими пасторами законным порядком. Из числа 139 пасторов 53 находятся под судом за подобные поступки, но дела об них с 1884 года лежат без движения, ибо лютеранские консистории и светские суды упорно отказываются давать этим делам ход, отрицая вину пасторов во всяком случае.

Губернатор указывал, что единственный способ пособить делу и сломить упорство — подвергать преданных суду пасторов, хоть в крайних случаях, временному удалению от должности распоряжением министра внутр. дел. В таком случае они лишились бы половины содержания, и, таким образом, суд принужден бы был производить и оканчивать эти дела.

На этом предположении Ваше Величество изволили сделать одобрительную отметку, которая подлежала исполнению со стороны министерства внутр. дел.

Но от слова как еще далеко до совершения дела!

В конце лета министр внутр. дел внес в комитет министров представление в вышеуказанном смысле.

Оно слушалось осенью. Встал барон Николаи и стал доказывать, что дело это не подлежит ведению комитета, а должно быть рассмотрено в Госуд. Совете, так как предполагает дополнение к статьям устава евангелических консисторий.

Взгляд, очевидно, натянутый, так как предмет представления чисто административного свойства.

К сожалению, в это заседание выехал, по важности дела, сам граф Толстой. Он только что вернулся из отпуска и был в каком-то болезненном настроении, говорил слабо. На предложение бар. Николаи он ответил согласием. Что было делать остальным членам (кои большею частью были иного мнения), когда министр, внесший представление, соглашается передать дело. Я возражал, но гр. Толстой не поддержал. Если б он уперся, дело решилось бы в комитете.

Этот поворот дела был уже нравственно неблагоприятен: весть тотчас перенесена в Ригу, и пастора ободрились.

Через неделю дело слушалось в соедин. деп-тах — законов и гражданском — Госуд. Совета. Министерство предложило другую редакцию закона, слабее прежней, но все-таки удовлетворительную: министр вн. д. в потребных случаях предлагает об устранении пастора консистории, и это предложение для консистории обязательно.

Резолюция состоялась единогласная, и дело перешло в общее собрание.

Встал Рихтер и взволнованным голосом стал говорить (я ждал от него более благоразумия) о кострах инквизиции, о Варфоломеевской ночи, об отмене Нантского эдикта при Людовике XIV, о преданности остзейцев правительству и т. п.

К нему присоединился граф Пален с подобными же речами. Оба выразили то мнение, что временное устранение пастора — столь важное дело, что его следует представлять на рассмотрение сената, который может распорядиться в таком только случае, если вина доказана очевидными доказательствами!

Говорили немало, и можно было бы собирать голоса, но те члены предложили передать дело в департаменты для нового обсуждения. К сожалению, председатель поддержал это мнение, и так дело затягивается вновь, и на месте упорствующие пасторы получают новое ободрение.

Рассмотрение дел этого рода в сенате отнимает у меры всю нравственную силу, перенося обсуждение в коллегия, то есть на спорное место, где голос хотя бы одного члена уже парализует силу решения. Притом с этим порядком соединено замедление производства, и открываются пути ходатайствам всякого рода.

А главное, что весьма опасно и о чем может быть не подумали сами г. г. лютеране, — что мера эта послужила бы опасным прецедентом и относительно латинских ксендзов. Тогда непременно поднимется и римская курия и потребует у русского правительства уравниения своих ксендзов с пасторами. Затруднение будет для правительства немалое.

Константин Победоносцев

Петербург, 21 декабря 1887

1888 ГОД

Прочитав записку Любимова, присланную от Вашего Величества, не нахожу в ней ничего такого, чем бы оправдывалось негодование, возбужденное ею у гр. Воронцова. В записке этой много верного и справедливого, а если он, будучи защитником нового университетского устава, старается показать, что этот устав не имел влияния на беспорядки, за это едва ли можно осудить его, хотя взгляд его на дело по необходимости несколько односторонний. Не понимаю также, почему Воронцову показалось, что в записке «безбожно исковеркана родная речь». Я нахожу, что записка написана ясным и правильным языком. А в письме Воронцова дело решается сразу таким решительным тоном по первому впечатлению.

На мой взгляд, нынешние университетские беспорядки существенно отличаются от прежних, бывших с 1862 года, именно тем, что в них не видно политической подкладки, а видно главным образом мальчишество, охватившее значительную массу разгоряченных студентов. В этом отношении они напоминают истории, и в прежнее время случавшиеся в

учебных заведениях большею частью из вздорных причин недовольствия на начальство. Только теперь все это происходило в громадных размерах. Невозможно относиться серьезно к требованиям, заявленным толпою; невозможно также оставить без строгого и решительного осуждения насилие и дерзость некоторых относительно инспекторов, каковы бы они ни были. Итак, теперь делать какие бы то ни было уступки, хотя бы и основательные, было бы ошибкою со стороны правительства. Теперь всего нужнее дать успокоиться молодым людям и дать замолкнуть всяким сплетням и слухам. Поэтому в совещании, бывшем у гр. Толстого, все согласилось с предложением Вышнеградского отсрочить открытие университетов до начала следующего семестра, т. е. до марта — отсрочить в принципе, дав возможность начать учебные занятия и ранее, если профессора поручатся в том, что беспорядка не будет.

Но из каких причин возникли эти беспорядки? (Какую связь имеют они с новым уставом? С действиями лиц начальственных в министерстве и в университетах?) Вот вопрос, который теперь служит темой разговоров. Гр. Воронцов предполагает решить его посредством какой-то следственной комиссии из 3 членов Государственного Совета и в результате отыскивать виновных, с тем, чтобы их казнить «беспощадно». Мысль эта представляется, по меньшей мере, странной. Это придало бы всей истории несоответственные размеры какого-то важного государственного события, взволновало бы умы преимущественно в той же молодежи, которую, напротив, должно успокоить, возбудило бы страсти, породило бы доносы и сплетни всякого рода, коих и без того много, — не привело бы в сущности ни к какому определенному результату, а между тем сразу сделало бы невозможным оставаться нынешнему министерству нар. проев, и связало бы по рукам всех его преемников. Едва ли что могло бы быть вредней этой меры в нынешнем положении дела.

Для меня совершенно понятно, отчего беспорядки возникли в нынешнем их виде. Вот как я объясняю себе это дело.

Ваше Величество изволите припомнить, что я был в числе противников нового устава в целом его виде. Я говорил: «Измените некоторые статьи, ограничьте выборное начало, усиливайте власть начальства, но не ломайте в корне систему всей организации! Вы разрозниваете студентов с профессорами, тогда как укрепление нравственной связи между ними и должно служить главным интересом деятельности и главной опорой порядка. От этого добра не будет. Зачем строить новое учреждение и еще с чужого образца, когда старое учреждение потому только бессильно, что люди не делают в нем своего дела как следует, и власть сама не пользуется своими правами?»

В Ропше, у Вашего Величества, я один был представителем этого мнения против гр. Толстого, Делянова и Островского. Трудно было Вашему Величеству не согласиться с двумя — настоящим и бывшим — министрами народн. просвещения в таком деле, в коем они прямые и ответственные хозяева. Новый устав был утвержден.

В университетах сразу оказалось множество профессоров, недовольных и раздраженных. Студентам новые порядки показались тяжелы.

Без сомнения, всякий серьезный и добросовестный из профессоров должен бы был, хотя и не сочувствуя новым порядкам, подчиниться им в силу закона, поддерживать их, применить к ним свою деятельность (ибо не все же в них дурное и невозможное к исполнению) и примирять студентов с уставом, а не возбуждать их против него.

Но далеко не все они серьезные. В числе их множество молодых, легкомысленных, самолюбивых, своевольных, есть немало с фантазиями в голове, с политической подкладкой, с желанием произносить возбуждательные речи на кафедре. К сожалению, таких немало именно в Москве, где они играют роль в обществе, в литературных кружках, а иные и при дворе кн. Долгорукого.

Итак, для успешного действия нового устава непременно нужно было образовать в среде профессорской здравый круг влиятельных лиц, которые бы вошли в дух его и оказали бы правительству нравственное содействие к его осуществлению. Вместо того образовался, к

несчастьем, кружок совершенно противоположного направления, — людей, приносивших с собою в университет желчный, раздраженный протест против новых порядков. Может быть, министерство могло бы действовать с большим искусством и тактом в принятии мер, в выборе людей и пр., но трудно вообще всякому действовать безошибочно при нынешней всеобщей распушенности умов и нравов, а притом министерство с новым уставом поставило себе задачу не по силам трудную и принуждено было проводить новые порядки во что бы то ни стало.

Итак, вот какие горячие элементы накопились в университетах и особенно в Москве! Несколько профессоров, уже заведомо вредных своею деятельностью, пришлось уволить; этим число недовольных и раздраженных кружков еще усилилось, и уволенные продолжали свою деятельность, хотя вне университета, но в университетской, т. е. профессорской и студенческой сфере. Раздражение питалось ежедневными слухами, сплетнями, рассказами о лицах, коим приписывались небывалые действия и слова о разных готовящихся мерах и т. под. Сплетня имеет у нас громадную силу, и это; по моему убеждению, величайшее зло, от которого мы терпим. Люди не находят прямых путей и пробираются окольными путями. Частные собрания, домашние беседы, клубные разговоры, газеты, — все это кишит невероятными историями и рассказами о людях и событиях, вносящими раздражение в общество. Переходя в Москву, слухи этого рода приобретают еще более фантастические формы; это всегда бывало, а теперь, при всеобщей болтовне, чрезмерно усилилось.

В 1886 году Ваше Величество посетили университет и были встречены энтузиазмом студентов. Но, — буду, как всегда, выражать по правде мысль свою, — если бы от меня зависело, я не решился бы устраивать этот прием в университете. Это — не то, что появление Государя в народе, что прибытие Государя в благоустроенное цельное, дисциплинированное учебное заведение. Университет в нынешнем положении есть толпа студентов (в Москве 3.500). Поневоле приходилось сортировать ее, отстранять массу лиц недостаточно благонадежных, допускать кружок некоторых профессоров, которые стояли и хмурились. Все это — недовольные, которые стали еще более усиливать раздражение. В массу молодых людей пущены были толки о подлостях, о шпионствах, — слова, которые способны сами по себе зажигать молодежь без всякой проверки. Вы изволили слушать студенческий хор, студ. оркестр, — учреждения, организованные инспектором. Вдруг поднялись толки, что все это заведено им ради шпионства, и что подло принимать в них участие. Инспектора Брызгалова я не знаю, — может быть, он и действительно имел иногда грубую манеру, не всегда действовал с тактом, — но мало ли каких начальников имели мы в прежнее время, и трудно инспектору студентов сохранить полную безупречность в виду поднимающейся на него травли. И теперь ходят про него рассказы, которых никто не проверял, и которые по проверке оказываются вымыслом, а между тем им верят по его пору.

Вот под влиянием каких действующих причин разгорелась, по моему мнению, московская история. Любимов правду пишет, что тут немало действовало крайнее легкомыслие нашего общества. Нередко родители, знакомые, вместо того, чтоб сдерживать и урезонивать молодых людей, сами еще возбуждали их под влиянием тех же слухов и сплетен и невообразимой путаницы понятий о долге и порядке. Наконец, — и то беда, что местная администрация идет иногда у нас вразрез с учебным начальством. Я сам был свидетелем в Киеве, как по поводу беспорядков генерал-губернатор и универс. начальство образовали из себя два лагеря и две партии, действовавшие друг против друга. Нечто подобное происходило, кажется, и в Москве. К сожалению, у нас многие, во власти сущие, не понимают, что можно видеть ошибки власти, можно глубоко скорбеть о них, но не следует выставлять их на позор, и в решительные минуты долг велит стоять на стороне власти.

Конечно, если бы в Москве сумели бы власти сразу потушить возникшие беспорядки, то все движение и ограничилось бы одной Москвою. Но от тамошней искры зажглось повсюду. В Петербурге козлом отпущения назначен ректор, — несчастная жертва — и жертва долга, потому что он добросовестно взялся за дело, на которое призвали его, но не рассчитал ни сил своих, ни условий среды, в которой пришлось действовать! Он человек

прямолинейный, но не выделанный, без всякой эластичности, которая требуется для администрации. А между тем про него сочинены чудовищные рассказы и, по слухам, зовут его «мерзавцем», хотя не могут объяснить, за что и почему так его позорят. Его поставили на это место потому, что он человек убеждения. Не знаю, может быть, удобнее был бы человек гибкий, без убеждений; но легко ли такого найти и выбрать?

Ваше Величество изволите писать, что в удобную минуту призовете меня для словесного объяснения по этому делу; но трудно предвидеть, когда найдется у Вас свободное для этого время; итак, я сел, чтоб написать по возможности обстоятельно свои мысли. Когда благоволите дать мне знать, явлюсь и дополню, что потребуется.

Письмо гр. Воронцова, без сомнения, одному лишь мне будет известно, по доверию Вашего Величества.

Константин Победоносцев

6 января 1888

73

Вчера вечером встретил я на балу Вышнеградского. Он был смущен внезапным падением нашего курса, — и так низко, как он до сих пор еще не падал. «А знаете ли, какая была ближайшая причина этого падения? — сказал он, — известие о решении московских присяжных по делу Кетхудова».

Решение, по правде, возмутительное. Украдено на почте чиновниками 120 т. рублей, посланных в Берлин, и присяжные признали вора невиновным.

Решение это состоялось под влиянием речи адвоката, доказавшего, что хотя деньги украдены, — но какие деньги? Посланные с ущербом для казны, и куда же? В Берлин, — центр биржевой спекуляции, высасывающей деньги у нашего народа.

Очевидно, что весть о таком решении должна была произвести впечатление в Берлине.

А теперь газеты, защищающие наш суд присяжных во что бы ни стало, принимаются оправдывать этот приговор такими же резонами.

И вот наши международные отношения, запутанные и без того уже всякими недоразумениями, сплетнями, газетными статьями, страдают теперь еще от нелепых приговоров суда.

Поистине, давно пора положить предел этому бесчинию судебных решений! Учреждение присяжных спито совсем не по нашей мерке, да теперь и повсюду, кроме Англии, оно колеблется. У нас присяжные, безо всякой дисциплины, без строгого руководства, случайно собранные, невежественные, остаются под влиянием адвокатских речей и всякого рода влиянием слухов³, общественной болтовни, происков и интересов, а председатели, которые имели бы характер, волю и опытность, чтоб руководить прениями, — великая у нас редкость.

Позволяю себе еще раз обратить внимание Вашего Величества на эту настоятельную нужду.

Правда, что не легко сделать это без участия прямой воли Вашего Величества.

Вот уже год прошел с тех пор, как министр юстиции внес в Государственный Совет проект закона об ограничении суда присяжных. Надобно было бы тотчас пустить его в ход, но гражданский департамент не расположен к тому. Дело затянули, придумав потребовать заключения от всех министров, к чему, думаю, и нужды не было. Итак, до сих пор дело лежит, так как, говорят, от 4 министров нет еще заключения. Так оно может недвижимо перейти и в следующий год, если не будет дан толчок сверху. Если б Вашему Величеству угодно было объявить великому князю-председателю решительную волю, надобно надеяться, что дело подвинулось бы.

³ Так в подлиннике.

Думаю, что Вашему Императорскому Величеству будут не без интереса некоторые подробности о нынешнем киевском торжестве.

Я приехал сюда поутру 11 июля, в тот самый час, когда происходило открытие памятника Б. Хмельницкому. В городе шли торопливые приготовления к празднику; но дело об устройстве его было в каком-то неопределенном состоянии, — каждый час распоряжения менялись, и пришлось довольно беседовать и с митрополитом, и с головою, и с А. Р. Дрентельном, чтобы примирить разногласия. Покойный А. Р. относился к этому торжеству с каким-то недоверием и подозрительностью; он опасался до болезненности, чтоб не вышло каких-нибудь манифестаций по поводу славян и славянского вопроса, и потому старался даже до щепетильности устранить всякое участие в торжестве гражданских и военных властей. Ему хотелось сжать все дело в рамки ежегодного празднования 15 июля, исключительно церковного.

А между тем, дело принимало широкие размеры, далеко за пределы этих тесных рамок: дело оказывалось торжеством поистине всенародным, и являлось одушевление замечательное. Ежечасно прибывали делегации из разных городов и учреждений. Из Нижнего голова с гражданами привезли великолепную хоругвь в дар Киеву; московские хоругвеносцы привезли 4 драгоценные хоругви; делегации из разных городов, особливо имеющих историческую связь с Киевом, привезли патриотические адреса; наезжали представителями разных епархий епископы из Нижнего, из Чернигова, из Петербурга и Москвы, из Кишинева и пр.; приехал митрополит черногорский со своим дьяконом. Приехали, несмотря на препятствия, из Сербии, Протицти Груич (бывшие министры и посланники в России); из Румынии — преданные России — кн. Богоридзе, Разновано и несколько других лиц (епископу Мельхиседеку румынское правительство, к стыду своему, не дало отпуска в Киев!). В Австрии правительство формально запретило давать паспорта в Киев; однако, прибыли из Галиции и из Венгрии с риском преследования те же галичане и словаки, которые были в Петербурге на день Кирилла и Мефодия и за то подвергались уже гонению. 13 числа явилось 11 крестьян из Галиции; они тайно пробрались через границу, — их устроили гостеприимно в лавре. Все эти люди благоговейно, со слезами на глазах, ходили по храмам и улицам киевским. Памятник Хмельницкому производил на них сильное впечатление; на нем надпись: «Волим под царя восточного православного», и эту надпись они пожирали глазами. Даже сербы, проходя мимо, говорили: «Вот наша программа, зачем нам искать другую».

Русских людей всякого числа прибывало множество, — и все было в радостном ожидании торжества. Необходимо было дать удовлетворение этому чувству; оно не удовлетворилось бы обычным церковным празднованием 15 июля. Я говорил по этому поводу с Дрентельном. От города готовился обед на 450 человек. Этого-то обеда особенно опасался Ал. Романович, — боялся речей со славянскою политикой, — и потому объявил заранее, что речей не будет, и всякая речь покрыта будет музыкой. Мне удалось, однако, убедить его, что необходимо дать высказаться патриотическому чувству. Я принял это на свою ответственность: говорить-де я буду один, и то, что я скажу, не будет опасно. На этом Дрентельн успокоился.

Погода установилась прекрасная. Город почистился, украсился и стал действительно чудно хорош, благодаря живописности своей. Церкви все почистились к празднику: в Софийском соборе сняли грязь и копоть, сняли верхний ярус иконостаса, так что нерушимая стена открылась вся. В Михайловском монастыре идут работы: там открыты недавно под слоем новой живописи интереснейшие фрески, как думают, той же эпохи, как и софийские.

13 числа служили торжественно заупокойную литургию в маленькой церкви св.

Николая на Аскольдовой могиле, и потом на площадке перед церковью, в виду множества народа, унизывавшего соседние вершины, служили соборную панихиду по всем воинам, убиенным на брани в течение 9 столетий! Это была трогательная церемония.

14 числа происходил акт в духовной академии, в старинной зале, увешанной старыми портретами. Это был, так сказать, первый акт торжества, оставивший во всех глубокое впечатление. Проф. Малышевский сказал с одушевлением прекрасную речь, в которой обозрел историю России в связи с Киевом, с церковью, с Польшей и латинством. Все были настроены торжественно. Затем началось чтение адресов от Москвы, от Нижнего, от других городов, одушевленных патриотическим чувством. Выступили с приветствиями митроп. Михаил сербский, черногорец Митрофан, греческий архимандрит Неофит. Напоследок я прочел любопытнейший документ, только что полученный из Лондона, — послание архиепископа кентерберийского Эдуарда киевскому митрополиту Платону. Прилагаю его при сем в русском переводе.

В тот же день вечером, в 6 часов, ударили ко всенощной. Мы пошли сначала в Софию. Всюду служило по несколько архиереев с превосходными хорами певчих, всюду — великое множество народа, всюду — благолепие. Простояв начало здесь, мы перешли в Андреевский храм, где совершалась главная всенощная. Лития совершалась вне храма, на высокой площадке, его огибающей, и так, в вышине, над городом, в виду чудной картины Заднепровья, все стояли со свечами, и шла процессия вокруг с осенением крестом на все 4 стороны. Сюда же вышли потом на величание «хвалите», и тут же было пение канона с акафистом. Подле меня стоял все время Александр Романович с женою... можно ли было подумать, что наутро его уже не станет.

Отсюда — в лавру. Там чудесная картина. В храме statt уже некуда от молящихся, а весь двор, облитый лунным светом, наполнен паломниками-богомольцами, которые группами сидят и лежат тут и тут же проводят ночь в ожидании утреннего колокола.

Все это хождение совершал Саблер со множеством иноязычных, которых водил за собою, показывая и объясняя им, — 5 румын, 3 сербов, трех молодых японцев (только что кончивших русскую семинарию в Токио и присланных в академию) и двух молодых англичан, которые накануне явились из Лондона и теперь с изумлением и, по-видимому, с восторгом смотрели на Киев, на народ и на нашу красоту церковную.

Сегодня, в 8 часов утра, ударили у св. Софии. Как хорошо было в церкви, и сказать невозможно; — все блестело и сияло, все торжествовало и пело! Я смотрел на Протича и Груича, — крупные слезы катились у них по лицу. Явились и два абиссинца, коих привез вчера Анненков; оба стояли в белой одежде и сверху в черных плащах (все это сшили им в Москве и в Петербурге), — оба стояли с достоинством и усердно молились, держа в руках свои книжки, с серьезными лицами; — видно было, что они в изумленном восторге ото всего, что видят. На них смотрела с крылоса умиленным взором землячка их, — черная девица (умница, проживающая в петербургском женском монастыре) в розовом платье и ярко-желтой шляпке.

Пели прекрасно. После обедни Платон сказал, несмотря на свое утомление, прекрасное слово о вере, и затем начался ход. День был совсем блестящий и знойный. Процессия двинулась от св. Софии, мимо Михайловского монастыря, вверх на гору, к памятнику Владимира, где служили молебствие, потом вниз, на реку, где устроена иордань, отсюда — к Рождественской церкви, где митрополит с возвышения благословлял крестом на все стороны: тут стоял хор из 500 мальчиков и девочек и пел тропарь св. Владимиру. Войска на проходе играли «Коль славен». Два хора пели все время на ходу. Новые блестящие хоругви несли московские хоругвеносцы, потому что здешние не сладили бы с ними.

Я не в силах описать всю красоту и величие этого хода! Киев — единственная местность, на которой может развернуться цельная картина шествия со всею массою народа, потому что здесь горы, с которых все видно. Куда ни взглянешь, все покрыто массою людей, с самою живописною постановкой: все вокруг, все вершины унизаны, а внизу на Днепре, против иордани, масса пароходов, униженных народом. Картина — единственная.

Иностранцы, бывшие с нами, совсем подавлены впечатлением ото всего, что сегодня видели, — тут сама собою сказывается вся мощная сила русского народа, одушевляемого верой, и в чертах симпатичных. Наши англичане верить не хотели, что все это собралось здесь само собой, без всяких созывов и приглашений.

Ход едва кончился в начале 3 часа, а в 3 часа надо было уже ехать к обеду. Этот обед останется у всех надолго в памяти. Хотелось, чтоб он не походил на обычные в этих случаях обеды, а носил на себе печать торжества религиозного и национального. Поэтому прямо после супа, когда еще вина не пили, начал я первую свою речь, которая должна была заключиться не тостом, а молитвой. Певчие на хорах начали, а собрание подхватило «Тебе Бога хвалим». С этой минуты обеспечено было особое настроение, которое затем и поддерживалось последующими речами. Нижегородский предводитель Демидов прекрасно сказал приветственный адрес нижегородцев Киеву. Вслед за последним тостом главные гости разъехались, остальные, вероятно, досиживают до ночи уже с самыми затейными речами и тостами.

Праздник наш омрачился, однако, внезапной кончиною Дрентельна. Весть об этом принесена в церковь еще в половине литургии и поразила нас, как громом. Он был весел и бодр сегодня утром и весело сел на седло, чтобы сопровождать по обычаю процессию, но едва сел, как удар поразил его, и он скончался тут же, прежде чем его сняли. Кончина эта, надо думать, была для него легкая, но ужасно подумать о несчастной жене его, с которой они дружно жили все время, — я знал его еще неженатого и потом видел его жизнь. Сегодня вечером я был на панихиде и видел ее: она сидит, окаменев, как убитая...

Теперь и для русских людей здесь вопрос великий, — кто его заменит? Он был очень тверд в своей политике относительно поляков и немцев, и если преемник его будет держаться иной политики, беда будет этому краю. К сожалению, Волынская губерния переполнена немцами, которые успели прочно здесь утвердиться.

Вечером, в 9 часов, я поехал к в. к. Александре Петровне, зная, что она нетерпеливо ждет меня; она уже поужинала и собиралась спать, но обрадовалась мне и с восторгом слушала, что я ей рассказывал, — лежала и плакала. Я был в первый раз у Ее Высочества по приезде, 12 числа, был во 2-м часу, — у нее накрывали стол, и она оставила меня обедать. Вывели и Илюшу, и Наташу; и тот, и другая с виду несколько абиссинского типа, и оба готовятся к духовному званию. За столом сидело человек 18, — какие-то домашние девицы в белых платьях, одна игуменья, старичок Лабзин, купец из Павловского посада со спутником-мужичком и с дочерью. Вел. княгиня благодушно всех угощала. Со мною долго говорила она, плакала, говоря об Вашем Величестве, об Императрице, о королеве греческой, которую обожает. Речи ее мне понравились, — она говорила многое разумно, а вид у нее самый здоровый и веселый. Очень добра великая княгиня.

Но вот как я уже утомил Ваше Величество своим длинным писанием. Сам я не имел еще отдыха с выезда из Петербурга, а здесь только ежеминутное нервное возбуждение заставляет меня забывать крайнюю усталость. Но я совсем удовлетворен всем, что сегодня видел и чувствовал. И сейчас обрадовала меня телеграмма, что Ваше Величество с Императрицей изволили участвовать в крестном ходе и на воде, и на площади. Послезавтра хочу двинуться обратно в Мариенбад и жду отдыха в вагоне.

Дай, Боже, Вашему Величеству здоровья и благоденствия и возможного отдыха, пока придет время для новых трудов.

Вашего Величества преданнейший
Констант. Победоносцев
Киев. 15 июля 1888

Мне доставлено сюда письмо великого князя Сергея Александровича, по содержанию коего Вашему Величеству угодно иметь в виду мой отзыв. Я имел уже случай и прежде

слышать желания и предположения Его Высочества относительно Высочайших наград, которые ему желательно привезти с собою в Иерусалим. Ничего не имею возразить против наград, означенных в списке. Напротив того, считаю их полезными для дела и отвечающими той цели, для коей великий князь предпринимает путешествие.

Вследствие того товарищ обер-прокурора, с согласия моего, представит Вашему Величеству всеподданнейший доклад в этом смысле.

Поистине скажу, что в иерусалимском деле, имеющем для нас большую важность, только Палестинское общество принялось делать и делает настоящее дело, привлекая к себе сочувствие русского народа и добровольные пожертвования, и потому, что взялось за дело не по-чиновничьи, и потому, что заправляет делом человек, душою ему преданный, русский, знающий и Иерусалим, и Россию, разумный и образованный — В. И. Хитрово. Его стараниями и привлечены к этому делу люди преданные. В настоящее критическое время, когда на Востоке ослабела, по милости западных интриг, материальная сила России, всего важнее охранять там источники нашей нравственной силы, незаметно для глаз, но существенно привлекающей к нам сочувствие местного населения. Этого нельзя достигнуть формальным действием бюрократических властей. Вот почему мне представляется полезным поощрить палестинских деятелей. На награды архим. Антонину косо смотрит Азиатский департамент. Но Антонин — единственный энергичный деятель наш в Палестине из лиц, облеченных властью. Своими учреждениями в Палестине, церквами, странноприимными домами он сделал то, что русский человек в его приютах чувствует себя дома, и русская церковь является в привлекательном благолепии. Характер его тяжел, это правда; но многое из неприятных с ним столкновений зависит от ложного положения, в которое поставлена миссия относительно консульства. Когда не будет Антонина, затруднительно будет и заменить его: люди мягкие и послушные будут жить в мире с консульством, но превратятся в чиновников — вялых и бездеятельных. Ложное положение миссии нашей нужно прекратить, но вдруг нельзя это сделать, о чем я имел уже случай однажды докладывать Вашему Величеству. Оно происходит от неестественной связи, в которую поставлена миссия с консульством и с Палестинскою комиссией. Русский консул должен стоять отдельно и не связан с хозяйством русских учреждений. Он должен быть беспристрастным их наблюдателем и справедливым защитником русских интересов в стране. Между тем, иерусалимский консул поставлен как бы хозяином в миссии, имеет в ней помещение и право распоряжения и даже получает значительную часть своего содержания не из казны, а из бюджета Палестинской комиссии, т. е. из суммы, которой прямое назначение — на миссию. В таком положении консул становится участником всех мелких хозяйственных и домашних сплетен и дразг, которыми изобилует иерусалимский быт. В эти сплетни и дразги он, как консул, впутывает и министерство иностр. дел, — отсюда масса переписки, основанной на таких взаимных пререканиях и жалобах, коим не следовало бы и доходить до министерства. С другой стороны, ложно и положение Палестинской комиссии, составляющей как бы часть Азиатского департамента и ведающей хозяйством русской миссии с особым бюджетом, куда входят и церковные сборы на миссию, и откуда производится расход на некоторых чиновников Азиатского департамента, заведывающих делами комиссии. У Палестинского же общества своя сумма и свой бюджет, хотя в сущности и то и другое учреждение должны бы служить общей цели. Итак, казалось бы, лучше и для единства действия, и даже для экономии дело Палестинской комиссии, отвязав от министерства, соединить с Палестинским обществом, тем более, что оба учреждения имеют теперь одного председателя — великого князя. Но до сих пор министерство так ревниво относится к своему праву заведовать Палестинскою комиссией, что поднимать об этом вопрос очень трудно сразу, — авось, он еще назреет.

Теперь Палестинскому обществу приходится считаться и с этой ревностью и со многими препятствиями и в самой Палестине, и в официальных сферах, дома, в России. В Палестине требует крайней осмотрительности и мудрости змеиной отношение к патриарху и к грекам, ненавидящим все то, что идет мимо их кармана. Всякая новая арабская школа,

новый приют, новая русская церковь — возбуждают со стороны греков сплетни, клеветы, жалобы, пререкания о власти и компетенции местного греческого духовенства. К сожалению, эта греческая интрига находит себе опору в России, в лице некоторых лживых ревнителей восточной греческой церкви; таков, напр., г. Филиппов, ядовитый ревнитель какой-то греческой автономии, готовый на обвинения русской церкви перед греками. Вел. князю известно, сколько из-за него было вначале недоразумений и сплетен с патриархом, и как, наконец, Филиппов, уличенный вел. князем в явной клевете, должен был оставить Палестинское общество; с тех пор не перестает тайно ему противодействовать. Этот эпизод с Филипповым случился именно по поводу учителя Кезмы, представляемого ныне к награде, о чем, если угодно Вашему Величеству, изволите спросить у великого князя. Теперь Филиппов, соединившись с кн. Мещерским, открыл в «Гражданине» арену для возвеличения патриарха и для клевет на русских деятелей в Иерусалиме.

Но довольно об этом предмете. Пользуюсь этим случаем, чтобы прибавить еще несколько слов о здешних местах. С одной стороны, не могу выразить, какое наслаждение доставляют здесь восхитительные красоты природы, посреди чудных гор и зелени, и на ярком солнце, и под облачным небом. С другой стороны, не могу выразить, до чего омерзительна здесь та масса клеветы и лжи, и ненависти, которая обрушивается на Россию и на русский народ в здешних газетах, — а здесь все читают газеты с утра до ночи. Газеты вообще — царство лжи, но австрийские и венгерские в особенности, и к ним, действительно, можно приложить слово Спасителя иудеям: «Вы отца вашего диавола и похоти его творите, он — ложь и отец лжи». — Кстати же и газеты почти все жидовские. Но и независимо от газет поразительно, как здесь и государственные люди, и дипломаты, не зная России, боятся ее и ненавидят инстинктивно. Дай Бог нам пережить это время и, будучи в мире со всеми, никому из них не верить. Все одинаково стремятся теперь задавить повсюду русский элемент — и ложью, и обманом, и, если можно, насилием... К киевскому празднику, казалось бы, не за что привязаться, но он не дает им покою: изо всех сил хотят доказать, что это было политическое фиаско. Слава Богу, что и на обеде политических речей не было: за последним кушаньем митрополит встал, и все за ним ушли; осталось небольшое собрание охотников до вечера, и тут, вероятно, в тесном кружке, много было речей. Теперь жидовские газеты стараются тут именно изукрасить политическую агитацию графа Игнатьева и, так наз., панславистов.

Но киевский праздник оставил и тяжкие воспоминания. Кончину Дрентельна не скоро забудешь, и кто его заменит? И меня лично постигло великое горе. Через 3 дня после праздника скончался там же человек незаменимый, правая рука моя, Крыжановский — чистая душа, горячее русское сердце, ум образованный. Он у меня вел главным образом и балтийские дела, и униатские, и чешские. С весны я послал его на Волынь — к чехам, и он там делал великое дело; его полюбили, ему верили... Сам он старый киевлянин, уже больной, работал изо всех сил для праздника, дождался его, радовался и не вынес. Кем заменить его, трудно и придумать!

Простите за длинное писание. Бог да хранит и да благословит все пути Вашего Величества, и да пошлет Вам людей разумных, честных, способных, с горячим русским сердцем, — о Боже, как они нужны!

Вашего Императорского Величества
вернопреданный

Константин Победоносцев
Зальцбург. 4 августа 1888.

Во Владикавказе — епископ Иосиф, человек старый и ума небольшого, но давно в этом краю и с самого начала управлял делами осетинской миссии. Он знает хорошо осетинский язык; издал словарь осетинского языка, единственный существующий, и значительное число

переводов богослужебных и назидательных книг с русского языка на осетинский.

Осетинские приходы и школы нуждаются в священниках и учителях. Этой потребности не могли удовлетворять воспитанники наших семинарий; они не могли подходить к простому, полудикому и бедному быту осетинских селений.

Итак, для этой потребности устроено года 2 тому назад особое училище в Ардонском селении, близ Владикавказа. С простым курсом, приноровленным к местной потребности, оно имеет целью готовить к служению детей осетин, не отрывая их от сельского быта. На первый раз дело это начато удачно; смотрителем училища св. синод назначил прекрасного молодого монаха, скромного и усердного. До сих пор все известия, получаемые с места и от духовного, и от гражданского начальства, весьма утешительны. Живущий в Ардоне начальник местных войск, быв в Петербурге, говорил мне об училище этом с большой похвалою.

В Новом Афоне будет, конечно, ожидать приезда Их Величеств епископ сухумский Геннадий, — первый епископ вновь учрежденной епархии, едва ли не беднейшей из всех епархий. О плачевном состоянии тамошних церквей я уже имел случаи представить особую записку. Бедное абхазское население не может устроить себе церкви; есть там и русские поселения без церквей. Потребность великая, а средств нет.

В такую епархию надо было искать епископа не из ученых, а простого, но усердного и хозяйственного. После долгих исканий выбрали опытного иеромонаха Троице-Сергиевской лавры, управлявшего там 28 лет хозяйством. Положение его трудное. Он не имеет еще покуда и постоянной резиденции, и устроенного дома; не имеет и своей церкви, потому что в Сухуме одна маленькая церковь, где и священнику тесно служить. На первый раз главным ему пристанищем служит Ново-Афонский монастырь, откуда он объезжает свою епархию.

Ново-Афонский монастырь — замечательное учреждение, благодательнейшее для целого края и в религиозном и в культурном отношении. Это — точно улей пчел, неутомимо работающих. Он составляет колонию Пантелеймоновского монастыря на Афоне и состоит в зависимости от него. Игумен Иерон, симпатичнейший старец, конечно, обратит на себя внимание Его Величества. Все, что возведено и воздвигнуто трудами монахов, в высшей степени замечательно. Помещение для Их Величеств будет устроено, конечно, в старой генуэзской башне, у монастырских ворот. Местность необыкновенно живописна, и воздух приятен очень. Если будет погода, и время позволит, как хорошо было бы, если б довелось Их Величествам подняться по устроенной монахами удобной дороге на высокую гору над монастырем, где наверху интересные развалины старого собора и следы целого города из первых веков христианства. Подняться туда верхом стоит небольшого труда, но кому это удавалось, тот не забудет своих впечатлений по редкой грандиозности видов, отсюда открывающихся.

Примечателен в монастыре казначей Иннокентий, из казаков, когда-то бывший удалым наездником. Примечателен старичок Захария, страстный любитель растений, собравший в маленьком садике своей кельи редкие экземпляры местной растительности.

В монастыре устроена школа для абхазских мальчиков, единственная в своем роде. Они и поют в церкви некоторые молитвы на своем языке, похожем на птичье щебетанье. При мне пели они «Отче наш».

По другую сторону Сухума есть другой монастырек, Драндский, составившийся отчасти тоже из афонцев; но он только что начинает устраиваться в порядке.

В прелестном Батуме, кроме многого другого, заслуживает внимания городское начальное училище, состоящее под ведением смотрителя Богданова и сестры его. Я видел там с величайшим интересом множество мальчиков и девочек 11-ти национальностей, собранных вместе и обучающихся по-русски письму и чтению. В связи с ним ремесленные мастерские. Двор стережет старый турок, очень симпатичный, большой любитель детей. Года два тому назад дом училища сгорел по несчастью; теперь, вероятно, оно в новом

помещении.

В Тифлисе много учебных заведений, и все стоят внимания, особливо 1-я гимназия (возле дворца), женская гимназия, учительская семинария. По внешности судя, они в большом порядке.

Но есть там малое и скромное женское епархиальное училище, на которое желательно было бы обратить внимание Государыни Императрицы. Как бы они были счастливы, если б Ее Величеству благоугодно было посетить их. Училище ведется прекрасно, скромно и стоит внимания. Девочки почти все бедные, большею частью голые сироты, но многие из них за воспитание и красоту оказываются бесприданницами: женихи являются сами. В прошлом году начальница сказывала, что из 17-ти выпущенных — все сироты — 8 оказались невестами при самом выпуске.

В Тифлисе новый экзарх — преосв. Палладий (бывший прежде вологодским, рязанским, тамбовским, казанским). Он имеет большую опытность и обладает тактом в обращении с людьми. Мягок в манерах, но настойчив. Щедр и гостеприимен. До сих пор из Грузии от местного населения слышны только похвалы ему.

У него два викария — Александр и Виссарион. Оба жалкие, но из грузин некого, кроме их, было выбрать.

В Кутаисе архиерей, тоже из грузин, преосв. Григорий, единственный представитель учености в грузинском духовенстве. Он довольно умен, академического образования, проповедник и издал на грузинском языке 2 тома проповедей, — едва ли не единственное в этом роде издание.

В Кутаисе, возле замечательных развалин старого громадного собора, помещается кутаисское духовное училище. Там у нас более 700 мальчиков — все беднота и голь. Если б Его Высочеству, в. к. цесаревичу угодно было посетить училище, стоило бы дать кое-какие деньги на угощение мальчикам — это для них великий праздник. А покормить детей — великое дело.

В Батуме, конечно, будет епископ мингрельский, красивый мужчина, родом из князей Дадианов. Он не замечательных способностей, но характера безупречного, держит себя с достоинством, строг с духовенством и имеет авторитет в местном населении, привыкшем почитать Дадианов.

Владикавказ примечателен еще тем, что там обилие сектантов разного рода (вообще их немало в Терской области). В последнее время туда сильно проникла и пашковская пропаганда. В последние годы явился сильным против них орудием местный священник Мамацев (родом из грузин), искусный, образованный и усердный. Толпы народа, иногда в несколько тысяч, собирались слушать его. Собрания, за недостатком закрытого помещения, происходили на площади. Но он возбудил такое сочувствие в местном населении, что в короткое время по подписке собрано было несколько тысяч рублей, и для него построен большой балаган, где, вероятно, и происходят ныне беседы.

31 августа 1888

Долгом почитаю представить вниманию Вашего Величества нижеследующее.

Теперь внимание всех русских людей, принимающих к сердцу благо России, занято вопросом: кто будет преемником Дрентельна в Киеве? Все чувствуют, как это важно, — будет ли продолжаться система управления в русском духе, или совершится опять несчастный поворот, вроде того, который был в Вильне и в Варшаве? Все зависит от лица; а ныне столько людей, колеблющихся в направлении, что поневоле приходится думать со страхом: кто-то будет, — русский ли человек по духу и разуму, или человек лишь по имени

русский, но духа иностранного.

Называют много имен, конечно, без всякого основания, ибо никто не может знать, кто имеется в виду.

Но в последнее время стали усиленно называть одно имя, которое возбуждает сильные опасения. Мне уже писали из Петербурга, что говорят о Владимире Бобринском, а теперь И. Д. Делянов пишет из Москвы, что там слух этот распространен сильно и возбуждает опасения. Не могу знать, есть ли что основательное в этом слухе, и было ли произнесено имя гр. Бобринского в советах Вашего Величества.

Но не могу умолчать, что, по моему мнению и по мнению многих русских людей, такое назначение было бы бедственным для края.

Бобринские все, сколько я их ни знаю, люди чужестранного воспитания, чужестранного образа мысли, космополиты в политике и исполненные либеральных фантазий. А гр. Владимир Бобринский (управляющий одно время министерством путей сообщения) известен в особенности своею деятельностью в прибалтийских губерниях, когда покойный Государь в начале царствования посылал его исследовать вопрос о движении к православию эстов и латышей. Тогда молодой Бобринский, попав совершенно под влияние баронов, представил дело в извращенном виде и был одним из главных виновников торжества немцев в этом вопросе.

(Без даты)

78

Ваше Императорское Величество.

Слава Богу! Вы возвращаетесь к нам невредимы, и благослови Боже день и час Вашего возвращения!

Но какие дни, какие ощущения мы переживаем! Какого чуда милости Бог судил нас быть свидетелями!

Мы радуемся и благодарим Бога горячо. Но с каким трепетом соединяется наша радость, и какой ужас остался позади нас и пугает нас черною тенью! У всех на душе страшная поистине мысль о том, что могло случиться и что не случилось истинно потому только, что Бог нас не по грехам нашим помиловал. Эта мысль долго еще не успокоится, — и вот два дня, как я не могу ничем спокойно заняться.

То же трепетное чувство, — я убежден в том, — охватит всю Россию. Как после страшного сна человек, просыпаясь, ищет руками и глазами увериться в том, что он не наяву чувствовал ужас, так после бывшего ужаса люди пожелают всюду стряхнуть с себя страх и ужас наяву. Бог внушил Вам остановиться и в Харькове, и в Москве, и слава Богу, — народ (Вас) там видел и обрадован. Но вся Россия теперь, можно сказать, жаждет увидеть и осязать наяву царя своего.

Для Вашего Величества это — один из тех редких дней, когда Бог открывается человеку в судьбах его. Но вместе с тем, смею думать, это такой день, когда особенно ощущается живое общение русского царя с народом, и народу потребно царское слово.

Смею представить эту мысль вниманию Вашего Величества.

Если бы Вам благоугодно было принять ее, то на этот случай представляю и образец манифеста, который соответствовал бы настоящей потребности!

Душа просится скорее увидеть Вас. Не смею беспокоить Вас в день Вашего приезда в Гатчину. Попытаюсь на другой день, если не изволите вскоре сюда пожаловать.

Все одним сердцем молимся, — да хранит Вас Господь на входах и на выходах Ваших.

Вашего Императорского Величества

вернопреданный

Константин Победоносцев

Петербург. 20 октября 1888

По делу о земских начальниках было три субботних заседания в соединенных д-тах Государственного Совета.

Все возражали, хотя и с разных точек зрения, противу проекта в том виде, как он был представлен. Но в сущности все возражения сводились к одному: гр. Толстой хочет устроить власть для крестьянского мира. Такую власть невозможно обособить и поставить правильно, без связи со всеми прочими властями. Необходимо, по крайней мере, поставить земского начальника так, чтобы он был властью в целом территориальном участке и в прямой зависимости от общих губернских властей. Иначе выйдет путаница.

Но граф Толстой во втором заседании заявил, что он разумеет своего земского начальника исключительно крестьянским, и от этого взгляда отступить не может.

Желательно было набежать в этом пункте разногласия, и потому в последнем заседании, 17 декабря, когда бар. Николаи обратился ко мне, я, по соглашению и с Островским и с Манассеиным, заявил следующее:

«В самом начале обсуждения, по предварительному вопросу, поставленному председателем, многие члены высказались в таком смысле, что реформа, предлагаемая гр. Толстым, неполна, недостаточна и потому неверна, ибо угрожает смешением властей, тогда как требуется главное всего единство власти. Для достижения этой цели необходимо организовать управление всего уезда, в котором найдут свое место и участковые начальники.

Если бы нам предстояло теперь (лет 10 тому назад) обсуждать предварительный вопрос: как следует приступить к реформе местного управления, я непременно присоединился бы к этому мнению.

Но в настоящую минуту дело, как оно поставлено министром внутренних дел, представляется в ином виде. Он говорит нам, что время не терпит. Прошло семь лет в работах о реформе местного управления; если теперь обратить их назад, пройдет еще столько же, и едва ли что будет сделано. Между тем в деревне неурядица усиливается, и вопрос о водворении там порядка — самый настоятельный, — крестьянство составляет главную силу государства и 90 % всего населения...

Нельзя не согласиться в этом с министром внутренних дел и потому необходимо остановиться на его проекте и принять его к обсуждению.

Действительно, крестьянское общежитие настоятельно требует власти и порядка. С 1861 года, когда издано крестьянское положение, опыт показал его недостаточность именно в этом отношении. Нельзя сказать, чтобы эти предметы и тогда оставлены были без внимания законодателем; но он предполагал, что крестьянские власти сами будут блюсти порядок; это не оправдалось и не могло оправдаться.

Никакое общежитие человеческое не может обойтись без полиции и суда. И в положении 1861 года находим зачатки этих учреждений, но хилые и слабые, неспособные к развитию, без крепкого начала. Сельская власть учреждена в лице сел. старосты и вол. старшины. В законе прямо указаны полицейские их обязанности, — в общем праве принимать необходимые меры для охранения благочиния, порядка и безопасности, предупреждать потравы, порубки, задерживать бродяг, делать дознания, задерживать виновных и пр., и пр.». Но эта власть осталась только на бумаге. Отчего? Оттого, что она бесформенная, выборная и лишенная авторитета, не связанная с источником авторитета в государстве. Власть, для того, чтобы быть властью действительною, должна носить на себе печать государства и иметь опору свою вне среды местной общественной и выше ее. Без этой санкции она не может действовать. Сельская власть, завися исключительно от выбора, б. частью беспорядочного, случайного или прямо развратного, чувствует около себя лишь гнетущую силу той же беспорядочной среды, которая ее выбрала, и ей только подчиняется, не имея другой, высшей опоры вне сельского мира. Итак, сошло на то, что эта власть потеряла всякое значение права и стала лишь тяжелой повинностью. В старосты выбираются самые плохие, захудалые мужики, обрекаемые на то, чтобы высиживать штрафы и пени,

налагаемые на них за чужие прегрешения. Действительная сила принадлежит кулакам и горланам сходки.

Надобно поставить в деревне действительные органы полицейской власти так, чтобы они имели опору вне деревни, как слуги государству и блюстители порядка; надо снабдить их инструкцией, коей они не имеют, и приставить к ним живое лицо для надзора и руководства.

Этой цели желает достигнуть министр внутренних дел посредством учреждения земских или сельских начальников. Нельзя отрицать необходимости подобного учреждения.

Министр внутренних дел хочет, чтобы оно было не территориальной властью, а в особенности крестьянским учреждением. Согласимся с ним и в этом. Нельзя оспаривать, что с этой точки зрения учреждение будет преимущественно крестьянское.

Преимущественно — это так. Но назвать его исключительно крестьянским едва ли решится и сам министр в. д. Он сам в своем проекте расширяет его за пределы крестьянской общины. Он привлекает к его ведомству не одних крестьян, но и мещан, и купцов, живущих в деревне, хотя и не принадлежащих к составу сельского общества, и даже живущих вне крестьянской территории лиц других сословий, по некоторым договорам с крестьянами.

На этом основании нам и следует обсудить проект в отдельных частях и подробностях, что весьма важно. Новый закон может или ухудшить положение, или улучшить его, смотря по тому, как определится положение новой должности и круг ее действий в ряду других учреждений. — Наряду с нею останется в той же среде сельского крестьянского общества действие и общей полиции, и мировых судебных учреждений. Если не определены будут взаимные отношения и пределы власти и компетенции, вместо пользы будет вред, и вместо упрощения и объединения властей — умножение властей в одном и том же предмете, — еще хуже прежнего. Необходимо связать земского начальника и с высшими властями, чтобы ясно было, от кого он зависит, и кто ему приказывает. В проекте это неясно, и земский начальник является в губернии властью, не подчиненною губернатору, который дает ему только предложения. Это будет аномалия, грозящая новым раздроблением властей.

Все это надо обсудить и упорядочить. Министр внутренних дел заявил нам, что он не станет отстаивать каждую отдельную статью своего проекта и готов на изменения, если убедится в их необходимости.

Итак, для чего нам делать разногласие, — в сущности не практического, а теоретического свойства? Мы можем прямо признать, что предлагаемое гр. Толстым учреждение есть преимущественно крестьянское, и на этом установиться, с тем, чтобы рассматривать проект по статьям, причем обнаружатся, если придется, разногласия мнений по отдельным предметам.

Вот что я говорил, надеясь, что этим путем дело выведено будет на правый путь, и мы избежим на самом пороге обсуждения и по предварительному вопросу разногласия.

И все готовы были согласиться с этим мнением, но, к удивлению моему и общему, не согласился граф Толстой, пожелав сделать разногласие. Какая ему от этого польза или польза делу, не могу уяснить. Только дело замедлится. Положим, что через месяц, при обыкновенном ходе производства, его мнение (к коему и я, и Островский должны были примкнуть) утвердится, т. е. сказано будет: обсуждайте учреждение, как крестьянское. Ведь все равно при обсуждении статей нельзя будет избежать разногласий, и весьма существенных, ибо все зависит не от идеи учреждения, а от его постановки в подробностях. А в том виде как изложен проект гр. Толстого, он, по моему глубокому убеждению, разделяемому весьма многими, может произвести только вред и не только не утвердит порядка, но вызовет беспорядки, породив смешение властей и крайнюю путаницу отношений.

Чем же объяснить это желание гр. Толстого произвести разногласие?

Я объясняю его себе только недоразумением. Гр. Толстой с самого начала во всех возражениях против его проекта заподозрил какую-то принципиальную оппозицию и стоит на этом впечатлении, сколько я ни убеждал его. К сожалению, по состоянию его здоровья, он

не выдерживает долгой беседы и вникания в подробности дела. Мне кажется, и в настоящем случае он заподозрит, что хотят свести рассуждение на какую-то неудобную почву, в чем-то уловить его напрасно. Настояв на разногласии, он только отдалил дело, на скорейшем решении коего сам настаивал. А в этом деле подробности постановки учреждения так важны, что обсуждение их непременно потребует и много трудов, и немало времени. Решить эти важные вопросы быстро и без внимательного, подробного обсуждения, значило бы и оставить на карту великий вопрос о водворении порядка и мира в сельском населении России.

(Без даты)

1889 ГОД

80

Позвольте высказать Вашему Величеству мои впечатления по поводу представления «Купца Калашникова».

После репетиции я вышел из театра как ошеломленный и не мог отделаться целый день от тяжелого чувства — будто после какого-то страшного кошмара.

Но я хотел еще проверить свои впечатления публичным представлением и был на нем.

Я вынес из него еще более тягостное чувство и убедился, что многие разделяют его со мною.

Ничего светлого, ничего возвышающего душу, ничего идеального, — это одна сплошная, живая, действующая перед зрителем картина чудовищного порока, разврата, насилия. Царь — чудовище; все около него — развратные, пьяные разбойники; народ — несчастные холопы; и церковь и вера — одно кошунство над верою! Как будто нарочно искусство хотело втоптать в грязь все идеалы русской земли — царя, церковь, народ. И все завершается невыразимо печальною, безотрадною похоронною песнью над человеком, казнимым в честь пороку и насилию.

В поэме или, правильнее, в песне-балладе у Лермонтова выходит поэтично; но перенесенное на сцену, в действии нет и не могло быть следа поэзии, — осталось одно действие, отвратительное, и, прямо скажу, недостойное искусства. Сценическая постановка старалась придать ему реальность, и реальность выходит фальшивая, неестественная, как бы тенденциозная. Кто видел обстановку монастырского жития Александровской слободы? Возможно ли, чтоб оргии опричников происходили там же, в церкви, где царь совершал свои моления? Но декораторы устроили палату совсем в виде церкви, расписали ее изображениями святых, и даже с венчиками около головы, что бывает лишь в церкви. И здесь вряд ли за буйною сценой происходит церковное пение (с мотивом, взятым из церкви, с словами из псалмов), царь канонаршит, и вслед за тем тут же пляска скоморохов и повальное пьянство.

Царь — чудовище, зверь и ничего более. И тут же, в посмеяние правде, слова молитвы за царя и беспрестанно поминается: царь православный...

Но история представляет нам страшную драму в жизни Грозного, с великою борьбою, которую один суд Божий решит по правде. В этой душе мы видим черты добродетели и с ужасом узнаем, как они исчезают в чертах зверя; но мы знаем, какая была борьба, как этот человек злодействовал и каялся, и страдал, и боролся с собою, и усиленно искал в своей совести оправдания своих злодеяний. Видим, как с ним вступали в борьбу, ради правды, ради царской чести его, прямые русские люди и становились мучениками правды. Есть драма А. Толстого «Смерть И. Грозного», — ее признали нужным снять со сцены; но там есть борьба, есть движение истории... А тут, в опере, ничего нет, кроме гнусностей, собранных в один момент, на одну сцену, и, можно сказать, в одну палату, изображающую собой церковь, и перемешанных с молитвою, которая, имея церковный вид, в то же время

представляется не иным чем, как страшным кощунством. Ведь в ежедневной жизни мы встречаем людей, которые строго соблюдают церковные обряды, не пропускают ни одной службы в церкви, а дома — развратничают и грабят; но если б эти люди в самой церкви, посреди молитвы и перемешивая с молитвой, совершали свой разврат и неистовства, — нам было бы невозможно смотреть на такое кощунство, мы убежали бы от этого зрелища...

И неужели это искусство? В третьем акте, под звуки музыки, дерутся на кулачках, прыгают, кувыркаются, проделывается недостойная искусства штука с татаринком... и, в конце концов, царская забава заключается отсылкою на казнь мужа, потерпевшего насилие от опричника... Эти слова Грозного имеют смысл в песне Лермонтова, — да ведь то песня, то сказка, родившаяся в фантазии поэта, и всякий чувствует, что это говорит поэт в лице Грозного! Но когда нам показывают на сцене живого Грозного, и эти стихи влагают в уста ему, — жутко становится и противно.

Я пишу эти строки ночью, после спектакля, под свежим впечатлением. Верите ли, Ваше Величество, что, выходя из ложи, я видел двух человек, у которых слезы были на глазах, и слышал вот какие речи: «Боже мой! Зачем это нам показывают такую картину, и зачем, зачем выбрали для этого такую пору, когда, можно сказать, что русская земля помолодела и вся устремила очи на Царя своего, распознавая в нем черты того идеала, который народ горячо, страстно желает распознать в Царе своем? В первый раз, когда давали „Калашникова“, в 1880 году, была совсем другая пора, — пора безумия, раздражения, великой смуты. А теперь! Теперь, положим, Царь и Царица в простоте и в чистоте своей мысли не видят, но мы, русские, мы, народ, чувствуем себя оскорбленными этою картиною, в которой все опозорено, что для нас составляет святыню!»

Такие речи слышал я сегодня, и нет сомнения, что у многих русских людей шевелятся в душе подобные мысли после этого представления.

Константин Победоносцев

11 января 1889

81

Несколько лет уже продолжают здесь, в Петербурге, в Москве и в других больших городах настойчивые ходатайства со стороны приказчиков, сидельцев и других рабочих и служебных людей о законодательном или правительственном распоряжении, чтобы на воскресные дни и большие праздники прекращаема была торговля в магазинах, лавках и др. заведениях. Эти ходатайства поддерживаются духовенством и многими ревнителями благочестия, с целью освящения праздничных дней и предоставления рабочему люду праздничного отдыха.

Несколько лет тому назад я входил по сему предмету в сношение с министром внутренних дел. Граф Толстой отклонил возбуждение вопроса о сем законодательным порядком, сославшись на существующий закон, в силу коего городским Думам предоставлено делать по этому предмету обязательные постановления.

Я, с своей стороны, не счел нужным настаивать далее, сознавая, что постановление закона по этому предмету соединено с затруднениями. Именно:

1. Закон о соблюдении праздничного дня должен иметь единство и цельность, должен быть проникнут одною мыслью; в противном случае он будет фальшивый и лицемерный. Понятен закон этого рода в Англии, где в праздник прекращается всякий шум и закрыты все торговые места и места увеселений. А где нельзя этого сделать, там законодательное прекращение всяких работ может обратиться лишь в поощрение лени и праздности. У нас в больших городах праздник отворяет широкую дверь не покою и тишине, а разгулу и разврату всякого рода, и всюду отворяются ловушки для привлечения праздной толпы. Открыты настежь кабаки и трактиры, и всюду кишат увеселительные заведения, рассчитанные на испорченные вкусы и низкие инстинкты толпы. Очевидно, что в эти места (а не в церковь и не в тишину домашнего крова, лишь у немногих благоустроенного)

направится масса служебного люда и в вечер субботний, и в воскресный день. Таковы печальные плоды новейшей цивилизации, проникнутой коммерческим началом! Нечего и думать, например, здесь, в Петербурге, или в Москве об устранении или даже ограничении в праздник увеселительных мест, которые, как грибы, разрастаются повсюду, принимая более и более характер вульгарный. Этому воспротивятся прежде всего самые власти и с финансовой, и с полицейской точки зрения, не говоря о побуждениях личных.

2. Другое затруднение тоже немалое. Оно представляется для законодательства всюду, где только возбуждался этот вопрос, донныне служащий предметом пререканий. При нынешнем развитии торговли, промышленности и вообще социального быта, многие производства требуют работы непрерывной и не допускают отдыха. Итак, при установлении законодательным путем прекращения работ по праздникам приходится исключать целые категории таких производств, которые не подлежат этому ограничению или подлежат в особой мере. Это — работа очень сложная и сомнительная, потому что закон бессилён со всею точностью означить все роды производств и определить соответственное экономическое и социальное значение каждого. Так, года 4 тому назад в Австрии был издан такой закон, с таблицею разных производств на нескольких страницах. Но он оказался в таком несоответствии с действительными потребностями жизни, что вскоре после издания послужил поводом к народным волнениям в Вене. И у нас, в Москве, с год тому назад Думою издано было подобное постановление, также возбудившее множество пререканий и ропот, так что в нынешнем году сама же Дума отменила его.

С другой стороны, в Думах и городских управлениях крайне трудно проводить постановления об ограничении торговли в праздники. Есть города, в коих эта цель достигнута (напр., Смоленск и нек. др.). Но вообще и особливо в больших городах достичь результата крайне трудно. Думы состоят большею частью из купцов, трактирщиков и т. под., и всюду образуется сильная партия, не допускающая никаких ограничений торговли, для них выгодной. О евреях, — великой нашей язве, которая проникла всюду, — и говорить нечего. В Западном и Юго-Западном крае дошло до того, что рабочее население все в кабале у евреев, и рабочему в праздник невозможно и думать о церкви, — еврей не пускает. В городах, напр., в Могилеве, Витебске и пр., видишь в церкви странный для нас обычай. После евангелия служба останавливается, ставятся ширмы и начинается исповедь. Спрашиваешь, что это значит? Это значит, что православным рабочим нет времени целый год для говенья, а как-нибудь, отпросившись у еврея, прибегают в церковь для исповеди и причастия.

Из вышеизложенного можно видеть, что вопрос об удовлетворении ходатайства приказчиков и сидельцев не принадлежит к числу легких. Но многие из хозяев сами ощущают необходимость запереть магазины по праздникам, но не решаются взять на себя добровольный почин, и просят предписание. Пусть-де прикажут нам, — тогда все закроем. А то как же я закрою свою лавку в гостином дворе, когда у соседа открыта? Известно, с каким трудом у нас в России люди соглашаются во взаимном интересе и как часто в подобных случаях для разрешения затруднений вызывают к правительству о приказании или предписании.

Не сомневаюсь, что из подобных побуждений проистекает и это прошение торговцев, которое представляю при сем на благоусмотрение Вашего Величества. Думаю, что если Вам угодно будет объявить им слово благодарности или похвалы, то этот пример найдет много подражателей.

Константин Победоносцев
Петербург, 20 мая 1889

Вашему Величеству известно, какую страшную язву в нашем народе составляет пьянство, с каждым годом возрастающее. Оно составляет главную причину и обеднения

крестьян и расстройств крестьянской семьи, и всякого рода беспорядков. Можно прямо сказать, что большая часть преступлений, в народе совершающихся, имеет причиною пьянство.

К сожалению, донныне питейный дом служит главным источником государственных доходов. В последнем законоположении думали облегчить зло, заменив кабак трактиром; но вышло еще хуже, ибо трактиры, коих заведение облегчено, фактически стали питейными домами, и притом тайная продажа вина, за которою уследить трудно, до того усилилась, что в иных селениях торгуют вином едва ли не в каждом доме. Таким образом, питейное дело, которое казна привыкла считать главным источником дохода, на самом деле становится источником народного обеднения, то есть истощения той самой платежной силы, на которой весь государственный доход основан.

Нельзя примириться с этим злом; на этом состоянии нельзя успокоиться.

В ту пору, когда освобождались крестьяне, нельзя было не опасаться, как бы свобода, внезапно данная, с ослаблением сельской дисциплины (хотя и суровой и нередко своекорыстной и произвольной) не повела к чрезмерному усилению пьянства в народе.

Тогда люди, принимавшие к сердцу эту великую заботу, предприняли привлекать народ к воздержанию от вина возбуждением нравственно-религиозного чувства, посредством учреждения союзов или обществ трезвости. Тогда это движение исходило от духовенства, преимущественно на юге России, где стали по призыву священников возникать одно за другим общества трезвости.

Но это движение встречено было враждебно питейно-акцизным управлением, из опасения, что пострадают от него питейные доходы. Министерство финансов очень решительно потребовало от духовной власти остановить и запретить общества трезвости. Синод не мог согласиться на столь решительную и постыдную меру, но вынужден был обставить это дело такими затруднениями, что все общества трезвости закрылись, а священники, заводившие дело, были парализованы, и затем в духовенстве укоренилась апатия к этому учреждению, соединенная со страхом ответственности.

С тех пор прошло много времени, и об обществах трезвости не было слуха. Между тем пьянство усилилось до того и губительные его последствия стали так очевидны в крестьянском быту и хозяйстве, что из среды самих крестьян послышались голоса, спасите нас от пьянства! Люди усердно стали думать опять об обществах трезвости.

При рассмотрении в Государственном Совете нового питейного устава предполагалось включить в него несколько статей, облегчающих противодействие пьянству в среде самого общества. К сожалению, существенные из них не были приняты, однако удалось провести одну статью, в коей косвенно упомянуты общества трезвости. Это нужно было для того, чтобы показать, что общество трезвости не есть какое-либо противозаконное учреждение.

С прошлого года оживилось вновь движение к трезвости. Мне уже доводилось докладывать Вашему Величеству о деятельности человека, поистине замечательного, — Сергея Рачинского, в одной из самых глухих местностей, в Бельском уезде Смоленской губернии. Вот уже более 20 лет, как этот человек, ученый, один из блестящих профессоров московского университета, оставив службу, поселился в своем родовом имении и все свои силы посвящает нравственно-религиозному культурному просвещению народа, устроив целую сеть сельских школ. Трудно и перечислить, сколько он людей поставил на ноги и сколько способствовал к оздоровлению темной среды крестьянской около себя. Многих он уже отвлек от пьянства, многие из его питомцев стоят теперь лучшими священниками, дьяконами, псаломщиками, сельскими учителями.

Видя около себя страшную картину пьянства со всеми его последствиями, он давно ищет средства помочь беде посредством общества трезвости, которое мало-помалу сгруппировалось около него.

Прошлым летом он решился выступить в публику с своим заявлением, которое появилось в «Русском Вестнике», потом перепечатано в «Церковных Ведомостях» и, разойдясь по всей России, привлекло к нему горячие отзывы отовсюду. В ответ на эти

отзывы он написал открытое письмо к приходским священникам, которое разослано на прошлой неделе во все приходы при «Церковных Ведомостях».

Прилагаю и то, и другое. Благоволите, Ваше Величество, прочесть эти листочки: я считаю долгом обратить Ваше внимание на это дело, важное в особенности в настоящую минуту.

Народ шевелится всюду и всюду ищет инстинктивно выхода из своей темноты и из бед своих. Россия велика и обширна; далеко не везде есть законные пастыри, которые могли и умели бы овладеть этим движением, руководить его, научить и просветить. Тут являются сектанты — деятели опасные. Они привлекают народ, между прочим, во имя трезвости, но в то же время отводят его от церкви и вместе с тем от национальности и, составляя секту, развивают в ней дух гордости, но настоящего просвещения не дают народу. Между тем нередко сектанты эти, обращаясь к православным, укоряют их и смущают такими словами: мы трезвы и богатеем, а вы в своей церкви пьянствуете и разоряетесь!

Вот еще причина, почему необходимо навстречу этому движению пустить из среды церковной здоровое движение к отрезвлению народа. Нет сомнения, что на этот призыв многие откликнутся.

Константин Победоносцев
Петербург. 12 декабря 1889

1890 ГОД

83

Я имел случай докладывать Вашему Величеству, что у братьев Юрия Ф. Самарина хранится интересная переписка его с баронессою Раден. Многие из этих писем — превосходные, написанные мастерски, как умел он писать и она умела.

Думаю, что некоторые письма, именно те, которые касаются до балтийских дел, будут иметь особый интерес для Вашего Величества. Писаны они неразборчиво, и я распорядился (с разрешения брата) переписать их и при сем имею честь представить.

Письма 60-х годов были в самый разгар полемики между Самариным и Эдитою Раден по поводу балтийских дел и особенно по поводу издания «Окраин». Произошел почти что разрыв между ними, но ненадолго. Оба они смягчились и между ними укрепилась дружба, связанная нежным чувством. Тон писем 70-х годов совсем изменяется, и они становятся еще интереснее. Последнее из представляемых писем не касается балтийских дел, — оно писано Самариным из деревни, и так хорошо, что я не колеблюсь обратить на него внимание Вашего Величества.

Константин Победоносцев
3 февраля 1890

84

Имею честь доложить Вашему Императорскому Величеству, что я вернулся из своей поездки в Пермь и Екатеринбург. Нужно было ознакомиться с этими местами и уладить в екатер

инбургской новой епархии некоторые довольно острые недоразумения в тамошнем епархиальном управлении, чего и удалось достигнуть. Приятно и интересно было трехдневное плавание по Каме. В Елабуге, в Перми, в Екатеринбурге довелось встретить немало замечательных русских людей, местных деятелей и щедрых жертвователей, и видеть учреждения замечательные, как, например, земскую больницу для сумасшедших в Екатеринбурге. Я проезжал несколько дальше, — на Березовские золотые прииски, и осматривал по дороге церковноприходские школы; был на Верхне-Исетском железном

заводе и на гранильной фабрике придворного ведомства, издавна запущенной и теперь только начинающей обновляться. От Перми до Екатеринбурга ездил со мною деятельный пермский губернатор Лукошков. Громадные пространства пермские изобилуют богатством неисчерпаемым. Недавно еще громадное рабочее население на заводах (есть заводы, где рабочих не менее 30.000) отчаянно бедствовало и волновалось за недостатком работ и падением цен; но в последние годы, благодаря охранительным пошлинам, повсюду работы оживились и рабочие вздохнули. Но в нынешнем лете два больших завода — Верхне-Уфалейский и Невьянский — постигнуты великим бедствием — страшным пожаром. И тут, и там сгорело по 1.000 домов, и если не успеют обстроиться к зиме, можно опасаться нищеты, воровства, грабежей и разбоев. Особливо грозит эта опасность Невьянскому заводу, так как вокруг него порублены все леса, и строиться нечем. Лес надо привозить издалека и потому просят от казенного управления из общих лесов 80 т. дерев, с тем, чтобы разрешен был перевоз их по жел. дороге бесплатно или по уменьшенной таксе, дабы можно было приступить к делу до осени. Убедясь в отчаянном положении рабочих и в неотложности нужды, я позволил себе телеграфировать о сем с дороги и министру госуд. имуществ, и мин. финансов; от последнего получил известие о разрешении перевозки бревен. Но большую нужду встретил я ныне на Волге и даже на Каме от небывалого доселе обмеления рек: затруднения крайние в перевозке грузов и убытки миллионные. Кама до сих пор славилась многоводием, а теперь и на Каме непрерывно остановки за мелководием. Эти затруднения отражаются, конечно, и на нижегородской ярмарке, где до сих пор еще мало движения.

В Казани успел я осмотреть интересную выставку. Там все в великом ожидании и в робкой надежде, — не приедет ли цесаревич. Я не смел ни убивать эту надежду, ни поддерживать ее. Я уехал отсюда сам с некоторою надеждой, слышав от Вашего Величества, что Император германский пробудет здесь недолго; но, приехав сюда, узнаю, что он останется едва ли до 14 августа.

Посреди лагерных занятий не осмеливаюсь утруждать Ваше Величество просьбою о личном докладе, но слышу, что Вы изволите переехать в Петергоф 1 августа, и тогда уже 2 числа попытаюсь, если найдется время, просить о приеме.

Константин Победоносцев

Сергиево. 29 июля 1890

1891 ГОД

85

В иностранных государствах, когда та или другая партия желает провести какую-либо меру или осуществить учреждение вопреки мнению или решению правительства, употребляются для сего такие средства: созываются митинги, приводится в движение газетная печать и таким образом производится агитация, которую выставляют, как выражение общественного мнения, и, наконец, достигают своей цели подбором голосов в парламентах.

У нас с 60-х годов тоже употребляются для сего подобные средства в иной форме. Известная партия начинает агитацию во влиятельных кружках общества, иногда преимущественно через женщин, а затем агитация эта отражается в кружках правительственных и нередко достигает своей цели, так что этим путем проводятся иногда и законодательство такие меры, которые вовсе несогласны с выраженным направлением правительства.

Вот один из таких примеров. Наряду со многими идеями, проникшими в наше общество с 60-х годов из Западной Европы, проникла и идея женской эмансипации и стала волновать умы, распространяясь. Явились фанатики уравнивания женщин с мужчиной во всех правах общественных, учреждения женских курсов и допущения женщин в университет.

Под влиянием этих идей учреждены были в 70-х годах курсы при медико-хирургической академии, выпускавшие женщин-врачей с правами. Известно, какое вредное нравственное действие имели эти курсы. Правда, что иные из кончивших курсы женщин заявили и еще заявляют в разных местах полезную свою деятельность, но в массе слушательниц происходило самое безобразное развращение понятий, и трудно исчислить, сколько их развратилось и погибло.

Курсы эти были закрыты по Высоч. повелению в 1882 г., к великому негодованию всех поборников женской эмансипации.

И они тотчас же открыли агитацию о восстановлении их в ином виде, если можно, еще более решительном. Поднялись толки и в обществе, и в печати, причем на первый план выставлялась всегда польза, которую могут приносить женщины на врачебном поприще.

В этой агитации руководящую роль взяли на себя дамы из общества. Некоторые из них, дабы достигнуть цели, заявили значительные денежные пожертвования на учреждение высших врачебных курсов. Эти пожертвования и стали предлогом к возбуждению вновь вопроса, казавшегося решенным. Но главные жертвовательницы известны, как фанатические поборницы самой идеи женской эмансипации.

Это средство подействовало, и последствия показывают, как искусно было оно придумано.

Со стороны частных лиц, некоторых земских деятелей, бывших преподавателей и слушательниц возникли ходатайства на Высочайшее имя об упрочении будущности курсов. И вот в том же 1882 году по Высочайшему повелению открыто совещание нескольких министров по этому предмету. Объявлено, что Государь Император не препятствует такому учреждению, лишь бы оно было не казенное, а частное, и содержалось на частные средства а, из пожертвований.

Тогда совещание признало, что можно допустить на будущее время к медицинскому образованию лиц женского пола, для приготовления ученых акушерок к специальному лечению женских и детских болезней. Это специальное учебное заведение должно быть учреждено в размере средств, имеющих образоваться от пожертвований в ведомстве м-ва нар. просвещения.

Для разработки положения о сем составлен комитет под председ. товарища мин. нар. просвещения.

Комитет действовал с 1883 по 1891 год, собирая сведения и заслушивая специалистов.

Ныне из комитета вышло уже нечто новое, далеко за пределы размеров прежде предположенных, именно:

Вместо учебного заведения образован целый женский университет, под названием женского медицинского института, который предположено устроить в Петербурге, о чем уже состоялся в 1891 году всеподданнейший доклад министра народного просвещения. В этом институте предполагается уже полный университетский курс, и он будет выпускать уже не ученых акушерок, как предполагалось прежде, а женщин-врачей, с полным правом лечения всех болезней. Итак, дело сводится в 1891 году, даже с излишком, на то самое, что в 1882 году было уничтожено.

Составлен устав с обширным штатом, в коем исчислено на одно лишь жалованье директору, профессорам и пр. до 52.000 руб., не считая еще многих других расходов — на устройство дома, снабжение, библиотеку, на учреждение пансиона, и т. п. Эти расходы даже не исчислены, а они будут громадные⁴.

Неизвестно, на какие средства все это будет устроено, а уже министр н. пр. внес устав женского института на утверждение Госуд. Совета, и 18 мая он принят соединенными департаментами.

На какие же средства можно рассчитывать? Оказывается, что ныне имеется в

⁴ Ежегодное содержание медицинского факультета в Томске стоит казне 200 000 р. в год. (Примеч. подлин.)

распоряжении не более 30.000 р. в год — процентов с пожертвованного капитала. Ничего, — отвечают, — мы можем открыть институт, когда половина исчисленного (и то не вполне бюджета в 52 т. р.) будет обеспечена, а там — что Бог даст.

Решение это встречено будет с восторгом всеми сторонниками высшего уравнения женщин с мужчинами. Но удовлетворительно ли оно для правительства? В этом позволительно усомниться.

Является учреждение странного вида. Оно называется как бы частным, но организовано в виде университета и дает права на звание врача. Оно открывается, не имея достаточных средств для своего обеспечения даже самыми необходимыми принадлежностями. При нем состоит какой-то попечительный комитет из жертвователей и других лиц, кои должны будут заботиться о доставлении ему материальных средств. Устав его утверждается прежде точного исчисления всей суммы, какая потребна будет при его открытии, и предполагается открыть его лишь на кое-какие средства.

Ясно до очевидности, что за сим последует, и что, без сомнения, тайно имеют в виду зачинщики и поборники всего этого дела.

Откроют этот институт с разрешения правительства, пригласят профессоров, наберут девиц, продержатся кое-как некоторое время и затем обратятся к правительству, которому затем предстоять будет или закрыть учреждение, или поддерживать на средства государственного казначейства (на большую сумму) целый университет женский, не им, не правительством задуманный, но, так сказать, навязанный ему — и кем же навязанный? Кружком поборников женской эмансипации, то есть такого направления, которое составляет оппозицию мерам правительства.

Можно сказать с уверенностью, что правительство изберет последний путь, ибо будут доказывать, что нельзя же распустить девиц и уничтожить такой храм науки, уже пущенный в действие.

И таким образом план оппозиции удастся вполне, а правительство окажется в несвойственной ему роли быть исполнителем не собственной воли и не своего решения.

Покойный граф Д. А. Толстой предвидел все это и в своем отзыве министру нар. просвещ. от 19 апр. 1889 года (помещенном в печатной записке Госуд. Совета) восставал решительно против предполагаемого учреждения (еще не предвидя, что из него выродится не только заведение для акушеров, но целый женский университет). Он справедливо опасался, что это учреждение будет усиленным повторением прежних женских курсов и станет, при нынешнем настроении молодежи, наплывающей в столицу, центром вредной агитации и источником беспорядков.

Вот каково положение дела, затруднительное для правительства.

Чтоб выйти из него, надлежало бы, кажется, отклонить рассмотрение и утверждение в Государственном Совете внесенного туда устава, до тех пор по крайней мере, пока образуется такой капитал, процентами с коего могло бы быть снабжено, устроено, пущено в ход и поддерживаемо, по самому точному расчету, учреждение, в размере не университетского, но такого заведения, которое имелось в виду в 1883 году.

Май 1891

Поездка моя в Псков была крайне интересна и поучительна. Для русского человека древний русский город, исполненный исторических воспоминаний, кажется святынею, и в этом смысле Псков — на первом месте: здесь каждая пядь земли или полита кровью, или носит на себе след исторического события. Едешь, и говорят.: здесь волновалось вече; отсюда Александр Невский шел на ледяное побоище; тут граждане псковские встречали Василия Ивановича — первого рушителя псковской свободы; здесь юродивый Николай, с куском кровавого мяса, остановил кровожадного Грозного; а вот и мощи этого юродивого в соборе; отсюда, с колокольни, Стефан Баторий смотрел на приступ 8 сентября; вот свежий

пролом, заложенный в одну ночь псковскими гражданами и женщинами — и так на каждом шагу. Старая псковская стена — поистине великая святыня, подобная севастопольской, — Грозный не решился двинуть свое войско, и одни граждане отстояли свой город против целой армии первого полководца Батория, к удивлению всей Европы, и на спасение всей Руси, ибо если б не устоял Псков, не устоять бы и Москве. И это спасение приписал народ не себе, а заступничеству матери Божией, — в отчаянную минуту, когда враги ворвались уже в город и спасения не было, пронесли по стенам древнюю икону Печерскую, вынесли из собора мощи Всеволода-Гавриила — «князь святой, сам спасай свой город». И чудо совершилось, — мужики, женщины и дети прогнали сильных рыцарей. Все это помнит народ с горячею молитвой, и ежегодно с 3 по 15 октября совершается великое торжество в память осады — крестный ход из Печерского монастыря вокруг стен всего города, со вселенскою панихидою у пролома, и тут же празднуется другое избавление Пскова в 1812 году, тоже приписываемое чуду великой милости Божией.

Почти все церкви в городе древние, старинного типа XIV и XV столетия, с звонницами вместо колоколен. Два прекрасных женских монастыря и одна община сестер со школою. Мужской монастырь один и совсем убогий; но этот монастырь — драгоценность дальней старины, едва ли не единственное церковное здание, оставшееся в целостности с XII столетия. Это монастырь Спасо-Мирожский. Но эта драгоценность возбуждает скорбное чувство. Несколько лет тому назад открыто, что на стенах собора под слоем штукатурки, сверху донизу, таятся фрески XII столетия, в высшей степени замечательные. Начали смывать штукатурку; работы поручены академику Суслову и начаты. Церковь заставлена лесами, и то, что открыто до сих пор, превосходно. Но вот беда: года полтора тому назад все работы прерваны, академик Суслов уехал на другие работы, кажется, в Суздаль, и дело покинуто. Это дело еще не погибло, но вот что прискорбно и вот что смущает псковитян: производители работ, вероятно, для исследования кладки старого здания, отбили всю штукатурку наружной стены собора, и она стоит уже второй год оголенная; итак, угрожает опасность разрушения зданию, которое держалось с XII столетия. Стыдно покидать таким образом старину и было бы желательно внушить кому следует, чтобы, по крайней мере, прикрыли торчащие камни новой штукатуркой, дабы предохранить все здание от разрушения.

Еще замечательное здание во Пскове, — это так назыв. Поганкины палаты, сохранившиеся, надо полагать, от XIV или от XV столетия. Это громадный дом, принадлежавший богатому купцу, может быть, еще Ганзейской эпохи. Стены необъятной толщины, лестницы, окна, двери — все цело; расположение комнат очень любопытное; громадные помещения для склада товаров, внизу — следы бывшего монетного двора. Эти палаты в прошлом столетии куплены в казну и ныне обращены в склад провиантского ведомства; это обстоятельство, может быть, и предохранило их от разрушения.

В воскресенье случилось мне присутствовать на трогательной церемонии, которую только в нашей церкви и у нашего народа можно видеть. В соборе понадобилось перелить большой колокол, который уже около 200 лет знаком был всем жителям; в последнее время он треснул — и звук его испортился. И вот в воскресенье, после торжественной вечерни, которую служил архиерей, происходило прощание с колоколом. Собралось великое множество народа. После вечерни кафедральный протоиерей сказал прекрасное слово, в котором пояснил, что значил этот колокол, 200 лет призывавший на молитву псковичей. После того все вышли на площадь и на прощанье ударили в колокол три раза торжественно, затем отвязали язык и спустили его с колокольной.

Во Пскове приятно было мне встречаться с людьми приятными, добрыми и симпатичными, начиная с губернатора. Особливо приятное впечатление произвели на меня земские начальники Псковского уезда, которые к этому случаю все собрались в город, — все местные дворяне помещики, коренные русские люди, из здоровой партии псковского земства, которое в прежнее время отличалось либеральным настроением.

Целый приятнейший день провел я в Псковско-Печерском монастыре, который давно

желал видеть, как древнейшую в том крае твердыню русского православия и русской державы, подобную Троицкой лавре. Дай Бог, чтобы довелось когда-нибудь Вашему Величеству ознакомиться с этим монастырем и вообще со Псковом. Благоволите прочесть несколько страничек о Печорской обители, при сем прилагаемые. Они очень интересны и изображают всю историческую важность этого места. Монастырь в последние годы пришел в крайнее запустение, и потому еще желательно было осмотреть его. Теперь, когда его взяли из-под управления епископов и поручили новому архимандриту, человеку хозяйственному, он приходит в порядок; а новая Псково-Рижская жел. дорога приблизила его к городу и облегчила путь богомольцам.

В окрестностях монастыря надо было посмотреть поселения так назыв. «полуверцев» и посетить некоторые школы. Это племя полуверцев очень интересное: потомки Чуди, поселившиеся здесь около монастыря и под кровом его с XIV столетия. Они сохранили свой язык, отличный и от латышского, и от эстонского, и, быв окрещены издавна, сохранили непоколебимо православие и любовь к Печерскому монастырю, несмотря на усилившийся около них наплыв лютеран-латышей с кирками, пасторами и школами. Здоровое, рослое и красивое племя; женщины носят оригинальные костюмы — на груди большие серебряные бляхи, увешанные старыми монетами. По-русски знают они плохо, особенно женщины, и теперь особенно нужны для них русские школы, которые и заводятся. Между русскими детьми полуверческие скоро научаются языку, и двоих, очень способных, я наметил для приема по их желанию в духовное училище.

Окрестности Пскова очень интересны, очень живописны. Когда стоишь на развалинах древних стен, за собором, на так назыв. Детинце, открывается со всех сторон обширный живописный вид на р. Великую и на даль, со множеством церквей. Их теперь до 50-ти в городе, а во время осады считалось 366, и иностранцы изумлялись богатству города, считая его одним из знаменитейших в Европе.

Другая, столь же интересная моя поездка была по р. Великой на Чудское озеро и на острова, числом три, где живет на маленьком пространстве, без пашни, большое население рыбаков, живущее ловлею снетков, которыми изобилует Чудское озеро. На каждом острове все население со всею мелюзгою мальчишек и девочек провожало нас и в рощу, и в церковь, и в школу.

Слава Богу, в нынешнем году Псковская губерния принадлежит к числу счастливых, в надежде на хороший урожай — и все в этой надежде веселы. Но из средней России, особливо из степной полосы, приходят отчаянные, страшные вести. Во многих уездах Самарской, Пензенской, Симбирской губерний уже теперь голод, хоть и страшно произнести это слово, а цены на хлеб повсюду растут с каждым днем.

Вернувшись в Петербург, я попал прямо на скорбные похороны. Скончался, после тяжелой болезни, инспектор Добровольного флота Бахтин. Это большая потеря, и трудно будет заменить ее. Бахтин был в этом деле с самого начала, и на нем держалась вся его хозяйственная организация. Он был человек честный, опытный и усердный. Дай Бог, чтобы выбор ему преемника был по крайней мере удачный.

Этою краткою реляцией о своей поездке смею утруждать Ваше Величество, в той надежде, что во время путешествия по шхерам может найтись для нее досужная минута.

Господь да хранит Ваше Величество со всеми спутниками до благополучного возвращения.

Вернопреданный

Константин Победоносцев

Петербург. 22 июня 1891

Решаюсь писать к Вашему Величеству о предметах неутешительных.

Если б я знал заранее, что жена Льва Толстого просит аудиенции у Вашего Величества,

я стал бы умолять Вас не принимать ее. Произошло то, чего можно было опасаться. Графиня Толстая вернулась от Вас с мыслью, что муж ее в Вас имеет защиту и оправдание во всем, за что негодуют на него здравомыслящие и благочестивые люди в России. Вы разрешили ей поместить «Крейцерову сонату» в полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением воспользуются. Полное это собрание состоит из 13 томов, кои могут быть пущены в продажу отдельно. 13-й том — небольшая книжка, в которой помещены вместе с «Крейцеровой сонатой» мелкие статьи такого же духа. Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное ее издание. Теперь эта книжка в руках и у гимназистов, я у молодых девиц. По дороге от Севастополя я видел ее в продаже на станциях и в чтении в вагонах. Книжный рынок наполнен 13-м томом Толстого. Мало того, — он объявил в газетах, что предоставляет всем и каждому перепечатывать и издавать все статьи из последних томов своих сочинений, то есть все произведения новейшего, вредного, пагубного направления. Недавно, когда ему возражали против этого заявления, он отвечал, что ему дела нет до того, какое действие произведут его статьи, так как убеждение его твердо. Толстой — фанатик своего безумия и, к несчастью, увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей. Сколько вреда и пагубы от него произошло, — трудно и исчислить. К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, одержимы так же, как и он, духом неукротимой пропаганды и стремятся проводить его учение в действие и проводить в народ. Таких примеров уже немало, но самый разительный пример — кн. Хилкова, гвардейского офицера, который поселился в Сумском уезде, Харьковской губ., роздал всю землю крестьянам и, основавшись на хуторе, проповедует крестьянам толстовское евангелие, с отрицанием церкви и брака, на началах социализма. Можно себе представить, какое действие производит он на невежественную массу! Зло это растет и распространяется уже до границ Курской губ., в местности, где уже давно в народе заметен дух беспокойный. Вот уже скоро 5 лет, как я пишу об этом и губернатору, и в министерство, но не могу достигнуть решительных мер, а между тем Хилков успел уже развратить около себя целое население села Павловки и соседних деревень. Он рассылает и вблизи, и вдалеке вредные листы и брошюры, которым крестьяне верят. Народ совсем отстал от церкви: в двух приходах церкви стоят пустые, и причты голодают и подвергаются насмешкам и оскорблениям. В приходе 6.000 душ, и в большие праздники, напр., в Покров, было в церкви всего 5 старух. Под влиянием Хилкова крестьяне для общественных должностей отказываются принимать присягу. Такое положение грозит большою опасностью, и, по последним известиям, я убедительнейше прошу министра о высылке Хилкова, который уже хвалится перед народом: «ничего мне не делают, стало быть, я учу правильно». Теперь надеюсь, что в министерстве сделают должное распоряжение.

Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстого и угрожает распространением странных, извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и обществе; направление вполне отрицательное, отчужденное не только от церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы. К Толстому примкнул совершенно обезумевший Соловьев, выставляя себя каким-то пророком, и, несмотря на явную нелепость и несостоятельность всего, что он проповедует, его слушают, его читают, ему рукоплещут, как было недавно в Москве. Кружки этого рода сгруппировались особенно в Москве и, к сожалению, около университета, где три общества: юридическое, любителей словесности и новое, психологическое, собирают публику, большею частью из неопытной молодежи, для распространения самых извращенных идей; все они имеют свои издания такого же направления. В Москве же развелись ныне либеральные богачи-купцы и купчихи, поддерживающие капиталом и учреждения духа эмансипации (вроде женских курсов), и журналы вредного направления. Так, на счет одной купчихи издается журнал «Русская Мысль», к сожалению, самый распространенный из всех русских журналов; он в руках у всей молодежи, и множество голов сбито им с толку. Так, купец Абрикосов (конфетное заведение) поддерживает журнал: «Вопросы философии и психологии», служащий ареною

для Соловьева и отчасти для Толстого. В этих-то кругах ходит легенда о том, что вся эта вредная литература может рассчитывать на защиту у Вашего Величества против всякого стеснения речей и писаний, и эта легенда усилилась особенно после того, как принята была Вашим Величеством графиня Толстая.

Теперь у этих людей проявились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границею ненавистники России, коим имя легион, социалисты и анархисты всякого рода основывают на голоде самые дикие планы и предположения, — иные задумывают высылать эмиссаров для того, чтобы мутить народ и восстанавливать против правительства; немудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это легкое дело. Но и у нас немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру и свои социальные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую, конечно, не пропустят в журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках. Недавно одна богатая московская купчиха являлась к И. Н. Дурново, предлагая 300.000 р. на пособия, с тем, что для раздачи их она будет посылать своих агентов. Когда ей было в том отказано, она объявила, что все-таки пошлет их без всякого разрешения. Ей было отвечено, что в таком случае агентов ее будут арестовывать. Она ушла с негодованием, а через несколько дней в лондонском «Daily News» явилась телеграмма из Петербурга, что министр внутр. дел приказал арестовывать агентов общества для раздачи пособий...

Все это показывает, сколько нужно осторожности. Год очень тяжелый, и предстоит зима в особенности тяжкая, но с Божией помощью, авось, переживем и оправимся.

Простите, Ваше Величество, что нарушаю покой Ваш в Ливадии такими вестями и такими мыслями; но мне казалось нелишним доложить Вам о некоторых обстоятельствах, которые могли бы и не дойти до Вашего сведения.

Константин Победоносцев

Петербург. 1 ноября 1891

1892 ГОД

88

Смею утруждать Ваше Императорское Величество настоящею своею заботой, так как она относится и до церковных дел.

Сегодня услышал я о предположении взять из Ревеля князя Шаховского и перевести его в Курск. Это известие смутило меня и смутит, несомненно, всех русских деятелей в Прибалтийском крае. Я уверен, что это перемещение отразится неблагоприятно на русском деле в этих окраинах.

Направление кн. Шаховского давно уже обозначилось и было весьма важно, что для тамошнего немецкого населения он был олицетворением неуклонных начал новой русской политики. К нему начали уже привыкать и, при самом раздражении, отдавать ему справедливость. Тем не менее известно, что представители эстляндского дворянства всячески желали именно от него избавиться и не раз хлопотали об этом распускаемыми об нем слухами в разных слоях общества. Теперь перевод его, несомненно, будет истолкован в Остзейском крае, как победа над русскою партией и как поворот в политике правительства, а всех русских деятелей обескуражит. Переводом Синягина в Москву было уже несколько расстроено дружное действие администрации в трех губерниях, а перевод кн. Шаховского еще более расстроит его, ибо он считался до сих пор главным, в русском смысле, деятелем. Думаю, что осторожнее было бы дать ему еще докончить начатое. На окраинах России еще нужнее, нежели внутри, прочные администраторы. Не могу не опасаться, что с устранением его и дело, которое он вел 7 лет, будет расстраиваться: несомненно, что люди, которых он с

самого начала привлек к делу и собрал около себя (и в этом немалая его заслуга), после него разойдутся. Придут новые люди, которых, не знаю, сумеет ли прибрать и направить его преемник. А опыты, к сожалению, показывают нам, что преемник, но большей части, старается не продолжать дела своего предшественника, а напротив, приступает к нему с критикой и старается поставить новое свое на место прежнего. И этого в особенности надо опасаться в деле, едва лишь устанавливаемом, остзейской администрации.

Но в таком деле, какого требует Остзейский край, мало еще сделает администрация, если ограничится одними приказами, распоряжениями и решениями. Необходимо насаждать в крае такие, учреждения, которые могли бы в местном населении явить образцы русской православной и национальной культуры и возбудить к себе сочувствие. В этом отношении кн. Шаховской, совместно со своей женою, положили доброе начало учреждению, которое обещает принести обильные плоды, но, начав развиваться, может без них заглохнуть. Я имею в виду женскую общину, основанную кн. Шаховского в Чевве и теперь переносимую в Пюхтицу, где из нее должен возникнуть монастырь. Эта община успела уже привлечь общее сочувствие и богослужением, и больницею, и школою с приютом для детей; княг. Шаховская, при содействии покойной матери Марии и других лиц, успела привлечь к этому учреждению женщин усердных и деятельных и сама составляет душу его. Дело удалось вполне и до такой степени, что владелец Пюхтицы Дикгоф, прежде сильно враждовавший против общины, теперь настолько полюбил ее, что пожертвовал ей даром лютеранскую недостроенную церковь, которую прежде едва соглашался уступить за 10 т. руб. Итак, если супруги Шаховские выедут из края, — и это важное для русского дела учреждение должно будет пошатнуться, так как и собранные княгинею Шаховскою монахини и учительницы едва ли останутся без нее...

Прошу прощения у Вашего Величества, что все эти соображения осмеливаюсь представить на Ваше благосклонное усмотрение.

Константин Победоносцев

Петербург. 5 мая 1892

89

Завтра, по всей вероятности, министр внутренних дел будет докладывать Вашему Императорскому Величеству об исходе прискорбной истории, которая разыгралась в Варшаве по духовному ведомству.

Для разбора дел по просьбам о принадлежности лиц, происшедших от прежних униатов, к православной церкви или к католической, существуют смешанные комиссии, коих постановления восходят на утверждение духовной консистории.

В недавнее время открылось, что в среде чиновников консистории образовалась шайка мошенников, которая в связи с некоторыми польскими адвокатами и ксендзами брала с просителей деньги за успешное по желанию их окончание дела. Брались деньги по обыкновению и с правых, и с неправых. Главным орудием этого беззакония был дьякон замковой церкви Родкевич, заведовавший производством этих дел в консистории, а члены, по доверию к нему, подписывали иногда без рассуждения, что он представлял им. Генерал-губернатор признает неудобным направлять это дело к судебному производству, т. е. к огласке, и предполагает покончить его административным порядком, именно выслать виновных из тамошнего края в распоряжение административных властей.

Св. синод сделал уже в пределах своей власти возможное распоряжение. Именно. — все члены варшавской консистории за небрежение к своему долгу уволены от должностей и заменены новыми. Что касается до главного виновного, дьякона Родкевича, уже низведенного варшавским духовным начальством в причетники, то он по распоряжению синода будет выслан в крепость Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря и там лишен сана.

Константин Победоносцев

Два квакера, подавшие адрес Вашему Величеству, мне известны. Они были у меня еще 16 октября и истомили меня длинною беседой. Это — мономаны, от времени до времени являющиеся просвещать Россию.

Один из них явился из Австралии. Он говорит, что, живучи в Сиднее, однажды ночью услышал глас: «Иди в Россию проповедовать Христа». И немедленно отправился. В Англии присоединился к нему Другой квакер, из Глочстера. Этот последний говорит о себе, что он состоит при своем товарище, как верная собака. «Нет, возражает на это другой, ты для меня гораздо более, чем собака».

Напрасно объяснял я им, что в России живут не дикие люди, что у нас есть церковь и Христос проповедуется; что у нас не дозволена свободная пропаганда всяких сект и всяких учений. Они все стоят на своем. Что же вы стали бы делать, как бы стали проповедовать в народе, не имея об нем понятия и не зная языка? И на это они не дают определенного ответа, а только говорят, что желают водворить свободу проповеди и отвратить от преследований за веру.

Освободившись от них, я отослал их к Саблеру и к кн. Кантакузену, коих они томили подобными же разговорами. Кажется, они были у Плеве.

Конечно, писание их к Вашему Величеству не требует никакого ответа. Я советовал им уезжать отсюда как можно скорее, но вижу, что они все еще проживают здесь. Не сомневаюсь, что они вошли уже в беседу с графиней И. А. Толстой, которая охотно принимает всяких чудаков из Англии, и с разными дамами пашковского круга, ведущими здесь безумную пропаганду между бедным населением.

Константин Победоносцев

Петербург, 10 ноября 1892

1893 ГОД

Зная, как занято время у Вашего Императорского Величества, воздерживаюсь просить разрешения явиться лично.

Долгом почитаю доложить, что нынешнее состояние митрополита Московского не подает надежды на скорое выздоровление. Он не в силах сознательно распоряжаться, и в делах уже оказывается застой. Посему сегодня от синода послан указ старшему викарию, епископу дмитровскому Александру, вступить временно в управление епархией.

Из Америки получают довольно часто любопытные известия. Слава Богу, в первый раз там явился епископ разумный и заботливый, и потому дело оживилось. Но его положение тяжелое, ибо людей надежных почти совсем нет, и трудно найти здесь охотно желающих туда ехать. Много приходится распутывать и улаживать ошибок и упущений прежнего времени. Очень сожалею, что новый наш посланник не повидался со мною. Зато нахожу я большое подспорье в умном, образованном и любезном американском посланнике Уайте, с которым нередко вижусь.

Между тамошними русскими галичанами возникло сильное движение к православию и все усиливается. Затруднение наше в том, что приходится назначать жалованье священникам новых приходов. В последнее время образовался новый приход в Стритторе, близ Чикаго, где присоединилось 600 человек. Любопытно, что они, никем не побуждаемые, придумали 6 декабря послать наследнику цесаревичу поздравление с днем ангела и очень были обрадованы ответною телеграммой Его Высочества: «Most happy to hear such good news.

Thank new converted orthodoxes».
Константин Победоносцев
14 января 1893

По приказанию Вашего Императорского Величества я имел объяснение с протоиереем Павловским, и вот сущность того, что я услышал от него.

«По завещанию покойного И. В. Рождественского, — говорит Павловский, — я был назначен его душеприказчиком, по особому его ко мне доверию, что означено и в самом завещании, где сказано, что мне поручается исполнение всех распоряжений по словесному или письменному заявлению покойного, причем сказано, должен я помнить, что единственный в том отчет отдам перед Вечным Судиею. Еще при жизни своей покойный вручил мне особую, на двух листах собственноручную записку о его распоряжениях, где особое было постановление и о дневнике, после него оставшемся. Об этом дневнике И. В. очень заботился и при жизни говаривал мне, что он никаких мемуаров не вел, а записывал кое-что коротко, отходя ко сну, и то не для сохранения, а для того, как говорил он, чтобы предостеречь себя на будущее время от прежних погрешностей. Он заботился, чтобы по смерти его дневник этот (всего около 30 тетрадей) не попал в посторонние руки, и потом в особой записке выразил свою волю, чтобы эти тетради послужили мне для его биографии, которую предоставил мне писать, а затем настоятельно требовал, чтобы я сжег их.

По кончине И. В.-ча я немедленно приступил к исполнению завещания. Приходилось передать некоторые вещи, иконы и т. п. великим князьям. Для сего я явился к в. кн. Сергею Александровичу (в 1882 г.). При этом свидании в. князь спросил меня: правда ли, что после Ив. В. остался дневник, и когда я отвечал утвердительно, в. кн. пожелал — нельзя ли дать ему его на прочтение, причем выразил, что особенно интересуется тем временем, когда И. В. был с малолетними князьями в Гапсале. Вернувшись домой, я отобрал 10 тетрадей, относившихся к этому времени, и передал их вел. князю.

Прошло более года с того времени, но тетрадей мне не возвращал вел. князь, а без них я не мог приняться за составление биографии. Тогда я просил Веру Перовскую напомнить о них вел. князю. Через несколько времени Вера Перовская передала мне ответ, что вел. князь поручил Арсеньеву объясниться со мною о тетрадях.

Вслед за тем я получил от Арсеньева приглашение явиться к нему, в морской корпус. Это свидание привело меня в крайнее недоумение. Арсеньев заговорил со мною каким-то решительным тоном и стал от меня требовать все тетради, говоря, что я обязан отдать их по долгу верноподданного. Я ответил ему, что не ему учить меня о долге верноподданного, которому я учил целое поколение и его еще могу поучить. Если бы Великий Князь обратился ко мне сам, или Вы (обращаясь ко мне) спросили у меня, я не затруднился бы отдать, но Арсеньеву я отказался отдать именно потому, что он мог прочесть, что там писано, а я обязан был скрывать тетради от всех посторонних, притом я знал, что в тетрадях есть места, относящиеся к Арсеньеву.

После этого объяснения я решился прямо исполнить волю завещания, и сжег все остальные тетради».

«Прошло с тех пор около 10 лет. Меня беспокоила мысль, что остаются еще у в. князя тетради, не уничтоженные. Тогда (в декабре прошлого года) я решился через фрейлину Козлянинову опять напомнить о них Великому Князю. Козлянинова потом сказала мне, что на это напоминание в. князь только изменился в лице и отошел в сторону».

Вот содержание того, что я слышал от прот. Павловского; он удостоверяет, что объявил сущую правду, и просит меня оправдать его перед Вашим Величеством. Если бы, говорит, Государь тогда спросил у меня эти тетради, хоть через вас, я немедленно отдал бы их.

Я просил его принести мне подлинную записку И. В. Рождественского и его завещание. Я видел сегодня и то, и другое и, зная рукопись И. В., убедился в подлинности. Прилагаю

при сем выписку из подлинной записки относительно дневника. Эта записка передана была Павловскому в конверте, на котором рукою И. В. надписано: «Душеприказчикам моим, — протоиерею Павлу Васильевичу Лебедеву (он умер раньше смерти завещателя) и Леониду Андреевичу Павловскому, — распоряжения мои по духовному завещанию».

Павловский говорит, что и сам он не читал всего дневника, за многие годы состоявшего из кратких заметок, а лишь пробежал кое-что (так как не приступал к составлению биографии). И. В. был человек сдержанный и потому уже, по словам Павловского, не позволил бы себе распространяться.

По предложению моему Павловский принес мне письмо, в коем удостоверяет, что дневника этого никто не читал и копий с него не снималось.

Константин Победоносцев
Петербург. 27 апреля 1893

Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Константин Петрович!

О судьбе дневника протоиерея Иоанна Васильевича Рождественского, скончавшегося 10 октября 1882 года, имею честь сообщить Вашему Высокопревосходительству следующее: Десять тетрадей этого дневника представлены мною 7-го декабря 1882 года Его Императорскому Высочеству Великому Князю Сергею Александровичу, по настоятельному его желанию. По прошествии некоторого времени я обратился с покорнейшей просьбою возвратить мне эти тетради, необходимые для биографии протоиерея И. В. Рождественского, составлением которой я предполагал заняться, но вице-адмирал Арсеньев заявил мне, что тетради дневника не могут быть мне возвращены. Поставленный в невозможность воспользоваться для биографии протоиерея И. В. Рождественского тем источником, который указан им самим в его собственноручной записке душеприказчикам, я, согласно той же записке, которую я имел честь представить Вашему Высокопревосходительству в подлиннике для прочтения, и копию с которой при сем прилагаю, все оставшиеся у меня тетради дневника протоиерея И. В. Рождественского уничтожил. Свидетельствуюсь своею иерейскою совестью, что дневника этого никто не читал и никто никаких копий с него не снимал.

Имею честь быть Вашего Высокопревосходительства всепокорнейшим слугою и усердным богомольцем.

Протоиерей Леонид Павловский

Копия
27 апреля 1893

Из собственноручной записки протоиерея Иоанна Васильевича Рождественского душеприказчикам.

Записки мои (дневник) и сохранившиеся письма разных лиц, как не имеющие интереса ни для кого, кроме меня, — все уничтожить. В письмах архиерейских найдется кое-что, достойное памяти впоследствии, равное и в дневнике моем есть заметки, не лишённые общего интереса и годные для моей биографии, но у кого достанет досуга и усердия разбирать весь хлам и делать серьёзный выбор?

(Писано 2 апреля 1872)

По поводу дневника И. В. Рождественского приходит и мне на мысль заранее заявить пред Вашим Императорским Величеством, что я, с тех пор, как переехал сюда из Москвы и вступил в непрерывную и разнообразную работу, не имел обычая записывать все то, что со мною случалось, и чему я был свидетелем. И не потому, чтоб я считал это ненужным или опасным, а просто потому, что не находил к тому досуга и времени и не могу понять до сих пор, как успевают люди занятые делами записывать еще дневные происшествия, разговоры и

суждения. Днем занят, а к ночи такая усталость, что нет сил записывать о себе. Я записываю каждый день только имена, кто был у меня, у кого я был, какие были заседания, только для практической цели, то есть, чтобы вспомнить, когда нужно имена и числа. Следовательно, нет повода опасаться, что после моей смерти останется что-либо подобное.

Правда, в последние годы, особенно с 70-х годов, я был свидетелем, отчасти и участником, многих важных событий и мог бы многое интересное записать, но никогда не успевал это делать, притом, чем важнее события, тем труднее описывать их, а в последние годы прошлого и в первое время нового царствования все, что я видел, производило во мне такое сильное возбуждение, что не было бы силы с пером в руке вести какую-нибудь хронику.

Это же возбуждение, при сердечной боли о многом, не позволяло мне передать кому-либо свои впечатления, конечно, кроме жены моей, которая одинаково со мною хранила их в душе глубоко. Был один только человек, очень близкий по душе нам обоим — это покойная Катерина Федоровна Тютчева. К ней одной писал я по душе в тревожную эпоху 1880–1881 года, и эти письма составляют единственный материал моих впечатлений. После ее смерти переписка эта возвращена мне, и я намерен когда-нибудь, запечатав ее, отдать на хранение в Публичную Библиотеку.

Вашему Величеству памятно, что в первые годы Вашего царствования Вы оказывали мне близкое доверие. Следы его действительно хранятся у меня, но не в виде каких-либо записок. Это — разного рода бумаги, которые характеризуют эпоху с ее волнениями, отчасти все, что от Вас мне присылалось, и записочки Ваши. С своих писем ничего у меня не остается, ибо я пишу все прямо набело. Все эти материалы никому, кроме меня, неизвестны, но я собирал их по годам в папки, коих имею несколько, с надписью: «*Novum regnum*». Вот — одно, что после меня останется, в качестве исторического материала, — и все это я готов буду хоть теперь же сдать в безопасное место.

Пишу об этом вот с какою целью. Я уже стал стар и вероятно недолго уже останусь, — да и вообще слишком 3/4 жизни уже прожито, а человек может умереть внезапно, и не хотелось бы мне, чтобы после меня жену мою тревожили розысками бумаг, имеющих политическое значение.

Константин Победоносцев
28 апреля 1893

94

В дополнение к прежде изложенному, спешу к отъезду курьера прибавить, что следствие о покушении на меня производится. Молодой человек возбуждает крайнюю жалость, весь больной, истомленный и, как видно слабоумный, расстроенный нервами. Запиравшись вначале, он сознался на другой день в беседе со следователем, но на вопросы о том, что побудило его к такому поступку, дает странный ответ: его так истомили болезни, что он искал смерти и способом к тому выбрал это покушение, которое могло привести его к казни.

Такое объяснение — или указывает на крайне расстроенное воображение, если оно искренне, в чем можно сомневаться, если же оно придумано, то должен быть другой мотив. Пролежав 2 1/2 месяца в больнице, он прямо оттуда пошел на покушение. Если он служил притом орудием сторонних внушений, то, спрашивается, откуда они явились и где они явились, — во Пскове ли еще или в больнице?

Константин Победоносцев
Петербург. 23 июня 1893

1894 ГОД

Ваше Императорское Величество.

Вчера, приехав в комитет, я застал всех г. г. министров в величайшем смущении по поводу нового указа, присланного к опубликованию.

Сегодня только мог я ознакомиться с содержанием этого указа, и в силу своей верноподданнической преданности, не могу удержаться, чтобы не исповедать перед Вашим Величеством и мое величайшее смущение и опасение.

Что касается до общей мысли указа, — т. е. до учреждения инспекторского департамента, — никто не счел бы себя вправе возражать против воли Вашего Величества, коль скоро она выражена.

Но в редакции этого указа есть статья 8-я, придающая всему учреждению особое значение, которое трудно понять. Трудно понять, чтобы эта редакция выражала и подлинную мысль Вашего Величества. Не могу не подивиться, что лица, подносящие указ к подписанию Вашему, не доложили Вам каждое слово, каждую фразу, дабы могло быть взвешено значение и смысл каждого слова, долженствующего получить силу закона, подлежащего исполнению.

В самом деле, вот что означает редакция 8-й статьи: что Император, оставляя на месте избранных им министров, выражает в самом законе прямое недоверие к ним, ограничивая их в существенном условии всякого управления, то есть вправе избирать и назначать подчиненные орудия исполнительной власти, и всякое назначение подвергает проверке особого трибунала, по докладу коего всякое назначение, во всей необъятной России, до последних низших чинов, может быть лишено утверждения. Таким образом, министры превращаются из духовного орудия правительства, облеченного монаршим доверием, в механического приставника, лишённого власти и неразлучной с властью ответственности. В таком положении для министра становится невозможным самое отправление власти, и в государственный механизм вносится страшное начало безвластия.

Не может быть, невозможно и немислимо, чтобы такова была мысль Вашего Величества. Дерзаю сказать: не то написано в этом указе, что вы приказали написать. Не может быть, чтобы сама верховная власть перед лицом народа устанавливала начало безвластия.

Дело представляется мне столь важным, что смею еще сказать: вся Россия придет в смущение от этой редакции 8-й статьи указа. Смею уверить Ваше Величество, что ни в одном государстве, ни в каком законодательстве не бывало такого закона. И когда эта 8-я статья огласится в Европе, она произведет изумление: в одних — крайнее смущение, в других — злорадство.

В России же и ныне отовсюду несутся сетования о том, что власти расшатаны, что пружины их ослабели. А предполагаемым правилом 8-й статьи произведено будет решительное колебание властей.

Благоволите, Ваше Величество, обратить внимание на практические последствия этого правила.

Все подчиненные чины, назначаемые министрами и местными начальствами, призываются, каждый в кругу своем, к деятельности со властью, которою облечены. Силу свою получают от санкции высшей власти и прежде получения ее не могут действовать с уверенностью власти. Теперь каково же будет положение хотя бы полицейского чиновника, назначаемого в Сибири губернаторскою властью, доколе, может быть через год или долее, не придет из Петербурга приказ об его утверждении? А что, если вместо утверждения получится из инспекторского департамента (как бывает с наградами) бумага о том, что Высочайшего соизволения не последовало? Как разуметь тогда и в какой силе признать те действия, распоряжения, приговоры, которые от него последовали? И если он послан был своим начальством на службу в дальний край, на чей счет возвращать его? Может случиться и ныне, что чиновник назначен с нарушением правил о чинах и формах, и назначение может

быть признано недействительным; но до того времени он все-таки был законною властью, и его действия сохраняют свою силу. Что сказать затем о назначениях, которые ради государственной безопасности требуют немедленных уполномочий, — а нужда в этом ныне часто встречается. Положение министра внутренних дел, в особенности, станет при действии нового правила поистине безотрадным и просто невозможным.

То же прилагается и к увольнению от службы. Ныне закон предоставляет начальству спасительное право освобождаться от негодных чиновников, от нерадивых, от негодных, от взяточников, коих нельзя прямо обличить. Они увольняются приказом или по прошению. Теперь и увольнение подобных людей до утверждения из Петербурга тоже остается в неизвестности. А что, если и в подобных случаях получится бумага, что утверждения не последовало? Тогда весь авторитет начальства окончательно подорван.

Что сказать еще затем о назначениях в сфере педагогической, по учебным заведениям, где беспрестанно приходится одного учителя, директора заменять другим и увольнять немедленно учителей неблагонадежных и вредных в нравственном и политическом отношении? Какая смута произойдет в этой сфере, когда назначения и увольнения во всей России подойдут под то же правило!

Смею указать и еще на одну великую опасность, угрожающую крайнюю деморализацией всего дела. По идее все назначения, увольнения и пр. исходят от Высочайшей власти. Но ведь это одна фикция, ибо, без сомнения, о личностях в необъятной массе чиновников со всей России Ваше Величество не может иметь отдельного соображения. Доклады будет представлять управляющий, но ведь и он относительно этой массы почти в том же положении. Однако, он имеет право возражать, представлять свое veto противу предположений министерств и местных начальств. На чем же он будет основываться? На докладах своей канцелярии? Но и эта канцелярия, подобно всем канцеляриям, не застрахована от своей свойственной всем язвы — пристрастия, покровительства, кляузы и, наконец, взяточничества. Что, если в промежуток между предположением и утверждением станут обращаться в канцелярию эти ходатайства, заискивания, сплетни, нарекания, обвинения и, — обычное дело, — приношения? В этом месте может развиваться самая губительная эксплуатация назначений на места, и канцелярия инспекторского департамента может обратиться в страшилище министров.

Простите, Ваше Величество. В прежнее время Вы удостоивали меня доверия, когда я смел обращаться к вам с предупреждениями о том, что, по моему глубокому убеждению, грозило недоразумением или ошибкою в сознании Вашего Величества. Не погневайтесь и теперь за мое писание, — думаю, что Вы не сомневаетесь и ныне в его беспристрастии. Прикажите, ради правды, ради блага общественного, — смею сказать, ради славы имени Вашего, — отсрочить опубликование указа, доколе не будет строго пересмотрена вся редакция оного, особливо в 8-й статье. Если эта статья появится, как она есть, в виде закона, трудно будет уже потом дать ей приличное истолкование в ином смысле!

Вашего Императорского Величества

вернопреданный

Константин Победоносцев

Петербург. 11 мая 1894

Вот буквально текст 8-й статьи указа: Никакое должностное лицо гражданского ведомства не может считаться назначенным на должность или уволенным от нее до воследования Высочайшего о том приказа. Но подлежащим начальствам, от коих зависит определение к должности и увольнение от нее, представляется и впредь замещать вакантные места по своему усмотрению, в пределах предоставленной им власти, а равно освобождать от исполнения обязанностей по должностям (?) и допускать к сдаче дел, с тем, однако, что назначенные указанным порядком лица считаются назначенными в том только случае, ЕСЛИ назначение будет подтверждено Высочайшим приказом, причем назначение это следует считать с того времени, когда состоялось распоряжение о возложении на данное лицо

исполнения обязанностей по должности; лицам же уволенным изъясненным порядком может быть выдан аттестат не ранее воследования об увольнении Высочайшего приказа.

96-97

Вашему Величеству известно уже, что в Уральском войске поднялось в последние годы сильное движение к соединению с православною церковью на началах единоверия. Движение это не останавливается, благодаря разумным мерам атамана и деятельности миссионера Ксенофонта Крючкова. Дар Вашего Величества — походная церковь, сильно возбудил к тому же население Уральской области. Описание бывшего по сему случаю торжества в Уральске распространено в казачьих войсках, особливо в Терском, и повсюду возбуждает сочувственные толки.

Приятно мне доложить Вашему Величеству, что ныне подобное же движение возникает и в Терском войске, которое через конвойных ближе поставлено ко дворцу. А Терское войско отличалось всегда упорным фанатизмом, даже в лице станичных атаманов и самых генералов.

У нас уже давно, очень давно, с 1816 года, ведется дело о построении православной единоверческой церкви в станице Червленной, где горсть ново-православных была подавлена массою фанатических раскольников, имевших там свои 2 церкви с колоколами. Место для церкви давно уже отведено, но оно заросло травой и бурьяном; кресты, поставленные на нем с 1817 года, давно сгнили и три раза были заменяемы. Все усилия разбивались о грубое противодействие, не столько со стороны казаков, сколько со стороны станичного начальства; а терские атаманы, в силу какого-то суеверного страха перед массою раскола, отказывали в своем содействии. Но сооружение там православной церкви было крайне важно именно в этом месте, а денег не было. Православные казаки бедны, а все мои усилия выпросить деньги у военного министра из войскового капитала оказались тщетными. Но, слава Богу, в прошлом году добрый человек, князь Николай Петр. Мещерский, прислал в мое распоряжение 10.000 руб. на построение церкви, там, где в ней крайняя нужда. С весны дело закипело, слава Богу, без инженеров, которые довели бы цифру расхода до невероятных размеров. План был готов, и я поручил дело тому же Крючкову, который закупил лес и все материалы в Астрахани и за 500 верст с великими трудностями доставил все это в Червленную. Теперь церковь почти совсем готова и обойдется тысяч в 8. Только что началась стройка, как все население оживилось и приняло в ней сердечное участие, не исключая даже раскольников.

Примечательно, что передает мне Крючков, только на днях приехавший оттуда и из станицы Прочно-Окопской, служащей главною твердыней и центром раскола в Терском войске. Именно там поднимается сильное движение к соединению — необходимо и там строить церковь. До сих пор у них действовал лже-епископ Силуан, простой безграмотный мужик, но чрезвычайно наглый. Переезжая из здешних станиц на Дон и оттуда сюда, встречаемый с почетом станичными властями, он открыто служил с собором 12-ти попов и даже имел наглость украшать себя лентою Анны I степени. К счастью, ему перестают верить, и раздаются уже голоса, особенно из среды конвойных, что лучше быть в одной церкви с Царем и под правильным епископом.

Константин Победоносцев
(Вез даты)

Приложение

ПИСЬМО К НИКОЛАЮ II

Родился я в Москве, в семье профессора моек. университета. У отца моего было 11

человек детей, кои все устроены трудами отца. Воспитан в семье благочестивой, преданной царю и отечеству, трудолюбивой. Меня, последнего сына, отец свез в Петербург и успел определить в 1841 году в училище правоведения. Я кончил курс в 1846 году и поселился в родном доме в Москве, на службе в сенате.

По природе нисколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не просился, довольный тем, что у меня было и своей работою, преданный умственным интересам, не искал никакой карьеры и всю жизнь не просился ни на какое место, но не отказывался, когда был в силах, ни от какой работы, и ни от какого служебного поручения. В 50-х годах московский университет, оскудев профессорами юристами, обратился ко мне, и я не отказался, оставаясь на службе в сенате, читать там лекции, по 8 часов в неделю, в течение 5 лет.

Когда начались реформы по кончине Императора Николая и в Петербурге закипела работа разных комиссий, меня перезывали туда, но я отказывался пуститься в неведомое море новой работы, которая пугала меня.

Но, наконец, нельзя было уклониться. В 1861 году граф Строганов стал вызывать меня для преподавания юридических наук цесаревичу Николаю Александровичу. Из чувства патриотизма я не мог отказаться и переехал на целый год в Петербург.

Это решило дальнейшую судьбу мою роковым образом.

В 1863 году меня пригласили сопутствовать цесаревичу в поездке по России.

Я стал известен и двору.

По окончании поездки я вернулся в Москву к своим занятиям и мечтал остаться тут.

Но Богу угодно было иначе. Цесаревич скончался, оплаканный всею Россией. Новый цесаревич, слышав обо мне доброе от покойного брата, пожелал меня иметь при себе для преподавания. Я не мог уклониться и переехал в Петербург в 1866 году на жительство и на службу. Тут довелось мне последовательно вести занятия и с в. кн. Владимиром, и с цесаревной Марией Федоровной, и с в. кн. Сергием, и даже с в. кн. Николаем Константиновичем. Я стал известен в правящих кругах, обо мне стали говорить и придавать моей деятельности преувеличенное значение. Я попал, без всякой вины своей, в атмосферу лжи, клеветы, слухов и сплетен. О, как блажен человек, не знающий всего этого и живущий тихо, никем не знаемый на своем деле!

Цесаревич сочувственно относился ко мне и показывал мне доверие. В Аничковом дворце я стал привычным лицом. Но в ту пору из министров и правящих лиц никто не имел общения с цесаревичем, и эта среда питалась всякими слухами и сплетнями об его характере и настроении. Меня они тоже не знали и питали себя подозрениями о каком-то моем влиянии на цесаревича, а Государю тогдашние временщики — гр. Шувалов, Валуев и пр. — внушали такие же подозрения. С другой стороны, в силу того же мнения обо мне, люди, осуждая и браня меня на стороне, старались быть со мною любезными.

Без всякого ходатайства с моей стороны и без всякого участия цесаревича я был назначен членом Госуд. Совета и тут получил возможность высказывать вслух всем свои мнения по государственным вопросам, — мнения, коих никогда ни от кого не скрывал. Так, мало-помалу приобрел я репутацию упорного консерватора — в противодействии новым направлениям и веяниям государственных либералов.

К концу царствования эти влияния и направления приобрели господственное значение. Началось, в виду общего недовольства, безумное стремление к конституции, то есть к гибели России. Это стало в умах какою-то заразой: русские люди, сохранившие еще разум и память прошедшего, ждали в страхе, что будет, ибо покойного Государя склонили уже совсем к этому гибельному шагу.

Таково было настроение, что и катастрофа 1-го марта никого не образумила. Напротив, кучка людей, державших власть в руках, спешила тем более в первые же дни после катастрофы достичь своей цели. Молодой Государь, захваченный врасплох страшным событием, казалось им, не мог воспротивиться, — никто из них не знал его, и все они надеялись захватить его в свои руки и управлять им.

Положение его было ужасное, — он не знал, как поступить и что делать, чтобы из него выйти. Я видел, до чего разгорались страсти, и прямо боялся за его безопасность, — нечего и говорить, как боялся за судьбы России.

И, правда, чтобы выйти из этого положения, я убедил его сделать решительный шаг — издать манифест 29 апреля 1881 года. Всем было более или менее известно мое в этом деле участие.

И вот с этого рокового для меня дня начинается и продолжается, разгораясь, злобное на меня чувство, питаюсь и в России, и всюду за границей всеобщим шатанием умов, сплетнею, господствующею ныне во всех кругах общества, невежеством русской интеллигенции и ненавистью иностранной интеллигенции ко всякой русской силе.

К несчастью, и у нас, и там существует закоренелое мнение, что в России при самодержавной власти есть непременно тот или другой — один человек всесильный, который всем распоряжается и от которого все зависит. И вот этим человеком все и всюду стали считать меня и доныне считают, — человека, всегда уклоняющегося от всякого исключительного присвоения себе какой-либо власти.

Естественно, что молодой Государь на первых порах, чувствуя себя одиноким, растерянным, стал обращаться ко мне, — к человеку, ближе ему известному и преданному. Он советовался со мною о людях, и мне довелось в немногих случаях указывать ему на людей: на барона Николаи — для народн. просвещ., на графа Дмитрия Толстого — для мин. вн. дел, и, к счастью, я не ошибся. Когда ко мне обращались, я отвечал; когда государь поручал мне работу, я ее исполнял. Но вот и все. Ни разу я не позволял себе ни выпрашивать для кого-либо милостей или назначений и тому под.

Но люди воображали обо мне иначе, и тут пришлось мне видеть много людской пошлости в нашем обществе. Ко мне обращались за милостями и назначениями; а когда я отвечал, что не вмешиваюсь в эти дела и ничего не могу, кроме того, что касается до порученного мне дела — мне не верили и бранили меня. С другой стороны, возбуждалась ко мне ненависть иных людей из придворной и других сфер, которым иногда случалось мне помешать в осуществлении разных своекорыстных планов.

Я видел очень ясно свое положение. Несмотря на все доверие ко мне Государя, я мог предвидеть, что и оно может поколебаться, и знал, какими внушениями оно колеблется у государей. Стоит только заподозрить человека в том, что он ищет преобладания над волею и решением государя. Зависть и интрига — дело обычное в придворных сферах. Люди, составлявшие обычное общество Аничкова дворца, не зная меня, не имея прямого со мною общения, слышали только разговоры и анекдоты обо мне в гостиных и, передавая их, успевали производить впечатление и на Императрицу Марию Федоровну, и на Государя отчасти. Я продолжал исполнять его поручения, но уже чувствовал в последние годы, что на меня что-то насажено. Не мешаясь ни в какие дела других ведомств, я вел жизнь уединенную; однако, при всем том всюду — и в России и за границей — я продолжал считаться всесильным человеком, от которого все исходит в России, и на мой счет ставились все и всякия распоряжения правительства, о коих я даже не имел понятия. Из разных углов России, из Европы, из Америки сыпались мне злобные, угрожающие письма то от нигилистов, анархистов, либералов всех оттенков, то от жидов, приписывавших мне лично все ограничения, все распоряжения об их высылке и проч.

Настало новое царствование, и все противоправительственные, лже-либеральные элементы оживились новою надеждою. Оставаясь едва не старейшим из старых слуг трех царствований, я готов был на службу новому Государю в чем мог. Но уже настало другое время — люди вокруг меня и в кругах правительственных все переменялись: люди нового поколения, чуждые прежних преданий, прежних порядков, минувших событий. Я сам ослабел. На первых порах нового царствования я считал своим долгом говорить иногда молодому Государю о делах и людях, но этому надо было вскоре положить предел, и я ограничился только делами порученного мне звания, а люди вокруг меня и около престола стали все новые — люди нового поколения, многие знавшие и меня только по слухам обо

мне и толкам.

И, несмотря на все это, не только не замолкли, но еще разгорелись и усилились нелепые обо мне слухи, будто я всесильный человек в России. Они не затихли и в высших кругах общества, судящих о положении дела только по газетам да на основании болтовни в гостиных, а в разросшихся кружках анархистов, социалистов, радикалов — и за границей и в России — я стал, более чем когда-либо, человеком, стоящим на дороге против всего прогресса и главным виновником всякого стеснения, всякого преследования, гасителем всякого света. Таково ощущение всей обезумевшей теперь молодежи и в столицах, и во всех углах России: толпа людей, не имеющих никакого понятия о ходе государственных дел, о пружинах администрации, о делах и о людях, выставляет меня виновником всех, — что у них слывет, — злоупотреблений, насилий, ретроградных мер, и кричит, что во имя свободы надобно меня уничтожить. От этого предрассудка, от этого злобного ко мне представления я, неповинный ни в чем, что мне приписывают, не в силах отделаться и принужден по необходимости терпеть его. Можно судить, как оно разлилось повсюду, когда представителем его явился из небольшого кружка самарского несчастный Лаговский, стрелявший в меня. В своем показании он прямо объясняет, что хотел истребить меня, как главного виновника всяких стеснений, мешающих прогрессу и свободе. Любопытно, что на первом месте в указании вин моих он ставит: «распространяет в народе суеверие и невежество посредством церковноприходских школ». Из этого уже видно, в каком невежестве и в какой дикости ума и сердца растет и развивается эта масса недоучек или пролетариев науки, воспитанная на статьях либеральных газет, на нелепых прокламациях, на подпольных памфлетах, на слухах и сплетнях, из уст в уста передающихся. И мне ставится в вину дело, которое я считаю в нынешнее время самым важным и нужным для России делом, — ибо в народе вся сила государства, и уберечь народ от невежества, от дикости нравов, от разврата, от губительной заразы нелепых возмутительных учений — можно уберечь только посредством церкви и школы, связанной с церковью.

Вот — судьба моей жизни. И я верю, что руководит ею провидение, которое, помимо моей воли, нередко вопреки ей, ставило меня в положение видное на дело, от коего я не вправе был и не мог уклониться.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)